



SHOUT
SHARE IT

Annotation

Документальные рассказы автор условно разделил на три части. Первая - это новеллы о людях, переживших трагические события первой половины XX века. Во второй части - рассказы из жизни российской глубинки, записанные автором в 70-х гг. В третьей части - воспоминания о двух замечательных людях старой русской эмиграции; это епископ Григорий (граф Юрий Павлович Граббе) и княжна Вера, дочь великого князя Константина Константиновича.

- Матушка Надежда
- Часть вторая
 -
 - Толковитый мужик
 - На паперти
 - На толкучке
 - Понедельник
 - В предбаннике
 - Витек и Юрка
 - Миллион двести тысяч
 - Клязьма тронулась
 - Пастораль
 - Бульдозерист Федя
 - Прогулка по городу
 - До основания, а затем...
 - Курячий доктор
 - Старина
 - Девяностолетняя
 - Отец Михаил
 - Барыня, барыня...

Матушка Надежда

- Вот он наш Батюшка... Это уж самые последние годы. Можно сказать, перед смертью... Вот они с Матушкой картошку копают в огороде. Тут еще он помоложе... Вот - хороший снимок. Он вообще у нас фотографий не любил, а про эту сказал: "Пусть останется. Тут я похож". У него и на могилке такая... Он нам так сказал: "Здесь у вас маленькая обитель". Эту избушку для Батюшки Матушкина сестра купила, Вера Владимировна. Когда они после второй ссылки вернулись. В тридцать третьем году. Батюшкина Матушка была Ольга Владимировна... Сколько-то минус ему тогда дали, сколько не помню... Им тогда родные в Воронеж советовали, а кто-то еще куда-то... Не помню. Ну, вот, а я как раз тут из Туркестана приехала в Москву. Мама у меня умерла, захотелось на могилке побывать. И вот сюда заехала, в деревню к Батюшке. А он мне строго так говорит "Сестра Зинаида, как ты мне скажешь? Куда мне ехать? В Воронеж или здесь оставаться?" Или еще спрашивает какой-то город... А я: "Почему вы, Батюшка, меня спрашиваете?" - "Нет, - говорит, - ты скажи. Как ты скажешь, так и будет". - "Здесь, - говорю, - Батюшка..." - "Ну, - говорит, - так тут и остановимся..." Вот этот портрет - Матушка наша Великая. Великая Княгиня Елизавета Федоровна. Это она еще в миру... Красавица была, талия как осина. Мне еще, помню, лет всего двенадцать было, а родные у меня - дядя - охотники были, егеря... Так вот придут к отцу с матерью и рассказывают. На охоте такой-то князь были графиня такая-то... И вот как-то рассказали они про Великую Княгиню Елизавету Федоровну. Что она такая, что строгая... Так меня тогда эти слова поразили. Я-то, девчонка, и подумала: вот она - настоящий человек... И, дура была, написала я ей письмо. Так и написала: "Я думаю, что Вы настоящий человек..." Заклеила и отослала... На конверте так и написала: Великой Княгине Елизавете Федоровне... Ну, конечно, никакого ответа, ничего... Да и я все позабыла. Училась я тогда в прогимназии Лепешкиной, на Пятницкой улице. Хозяйка была Варвара Лепешкина. Там на домашнюю учительницу кончали. И родилась я, и училась, и работала в Москве. Сорок лет прожила, потом попросили об выезде. Отец у меня работал бухгалтером. Да... И вот как-то журнал такой был - "Искра" или "Искры" - не помню... Раз приносят нам этот журнал домой, и в нем на первой странице Великая Княгиня Елизавета Федоровна. И тут у меня опять все всколыхнулось. Уж она открыла обитель на Большой Ордынке... Поглядела я фотографии, а потом опять все ушло

куда-то. Я маму очень любила. Все хотела скорей зарабатывать, да деньги ей отдавать... Вот это фотография - тоже Батюшка, только он молодой совсем. Еще только в священники посвятился. Красивый был Батюшка... А у Батюшкиной Матушки носик был курносенький. Уж старые они тут были, а она все говорила: "Какая же я уродина! Вон у Батюшки носик прямо точеный..." А вот они мои Папа с Мамой... Мама была очень строгая. После гимназии поступила я счетоводом в частную контору Селитринова. На Ильинке. А жили мы за Покровкой, в Гавриковом переулке... Потом меня хозяин сделал бухгалтером, и получала я семьдесят пять рублей. Золотом.. Так и бегала через Покровку на Ильинку. А раз, году уж в девятьсот девятом, после работы побежала я в Замоскворечье. Спрашиваю у городского: "Где тут Марфо-Мариинская обитель?" Он мне показал. Бегу по Ордынке. Собора еще не было, собор в десятом году выстроился... Еще только одна была больничная церковь - Марфы и Марии, маленькая. Вхожу я, а у них всенощная. Все в белом. Великая Княгиня в белом, сестры в белом... Батюшка в голубомоблачении. Ну, думаю, это мне видение. Не помню, как стояла... Видение это мне... Кончилась всенощная, а я никак не приду в себя... Приложились и добежала домой через Покровку... Бегу и всю дорогу слезами обливаюсь... Дома спрашивают "Где ты была?"

- "Где я была, - говорю, - вы не можете себе представить..." И опять все забыла... Вот фотография мы здесь - сестры. Белые апостольники, платья серые туалъденоровые... Одевали, кормили, поили... Одежда зимняя, весенняя... Летние пальто - серые. Осенние - черные... Чулки, все до самых мелочей... До зонтиков... А вот эти, это уже крестовые сестры. У них крест деревянный, и на Кресте - Марфа, Мария, Покров... Это уже - не послушницы. Они уже замуж не выходили. По одной в комнате жили. Там квадратные кивоты светлого дерева. Иконы - Покров обязательно (собор у нас Покровский был), Марфа, Мария... В комнате столик, кресло соломенное - мягкое, с подушкой, гардероб, стульчик, кровать пружинная с волосяным матрацем... Портреты бывали, картины. В келью никто из посторонних входить не имел права, не пускали даже родителей... А для гостей комнаты были... На окнах у всех занавески - белое полотно с розами. Три рубля вроде бы жалованья полагалось - на марки, на письма... А в одиннадцатом году переехала я с отцом, с матерью на Якиманку в дом Толдычина. И все я еще на Ильинке работала, и ничего такого в голове не держу... Замуж тогда собиралась. За вдовца мечтала с двумя детьми, чтоб сирот пожалеть... Раз мне подруга и говорит: "Пойдем на Ордынку, в Марфо-Мариинскую обитель". Как раз под Покров... Все собрались мы, братья, подруга моя...

Только я вошла в собор, все у меня воскресло. Едва на ногах устояла. Брат потом дома говорит: "Вы бы посмотрели на Зинаиду, что с ней сделалось..." Ну, тут уж я стала в обитель как следует бегать. Стала к Батюшке проситься на исповедь, причащалась... "Да, - говорит, - нам нужно... Мы сейчас набираем сестер". А про родителей моих не спросил. Я так обрадовалась, скорее к Маме. "Мама, я поступила в обитель!"

- "Что?!" - Мама властная такая была. - Ничего подобного! Этого не будет!.."Вот те раз... А ей, конечно, жалко было. Семьдесят пять рублей я приносила, золотом платили - горсточку получишь. И все до копейки я ей отдавала... Я опять к Батюшке. "Не пускают меня".

- "Нет, - говорит, - против родительской воли мы не можем..." Ну, я думаю. Великую Княгиню спрошу, саму хозяйку... В Больничной церкви вечером она стояла, народу никого не было.

Кто-то читал правило, сестра какая-то. И вдруг смотрю: над Алтарем иконка маленькая - Богородица Скоропослушница. И от нее луч прямо на Матушку Великую... Я тогда не очень это понимала, в церковь мало ходила... "Ваше Высочество, я хочу к вам поступить, а родители не пускают". Она посмотрела на меня - а я хорошо одета, в шляпке - и говорит: "У нас трудно. Знаете, какая работа, в больнице... Ну, я поговорю еще с Батюшкой..." Обнадежили. А потом опять говорят "Нет, без родителей не можем. Нам старцы запретили принимать без родительского благословения..." И вот семь лет я к ним бегала, семь лет меня не брали... А тут, как я маме сказала, что поступлю, мы тут же с Якиманки переехали подальше от обители. Она подыскала тогда квартиру на Малой Бронной... И я с Малой Бронной пешком на Ордынку. Не могла я у мамы просить на трамвай, она не хотела. Все спят, а я натошак утром в обитель на молитву бегу. Часть обедни отстою и бегу на работу уже на Мясницкую. Там Селитринов новое дело открыл... А жалованье я все целиком, до копейки маме отдавала... Несколько раз к Великой Княгине подходила: "Когда же вы меня возьмете?" - "Ты не умеешь маму просить". Как же еще ее просить, думаю. У нее один ответ:

"Иди, пожалуйста, ты мне не дочь". Семь лет бегала. Уж тут, в деревне, последний самый год перед смертью Батюшка у меня прощения просил: "Ты меня, Зиночка, прощаешь?" - "Что вы, Батюшка?"

- "Да вот мы тебя семь лет не принимали... Ты бы только сказала тогда, что мама тебя не пускает из-за того, что ты много зарабатываешь. Великая Княгиня платила бы за тебя, сколько надо... А так мы не могли тебя принять. Старцы нам запрещали". Был такой у нас старец Алексей из Зосимовой пустыни. Я к нему

тогда пришла, а он с кликушами занимался. Думаю, что это он с ними возится...

У меня тут дело важное такое... Ну, потом "Батюшка, я к вам..." Еще ничего не успела сказать, он как взглянет на меня: "Ишь чего захотела - в обитель? Сначала послужи родителям, а потом в обитель!" Я иду на обратном пути, и вот ругаю его, вот ругаю... Что это за старцы такие? Не понимают ничего! Тут у человека горе, а они не понимают... Богородице я тогда молилась... А у нас в доме икона - Казанская Божия Матерь. Я, бывало, к ней стул подставляю: "Что же Ты меня не слышишь, что ли"? Вот дура-то была...

А вот этот снимок - Валентина Сергеевна, наша вторая настоятельница. Как Великую Матушку увезли, так она у нас стала. Ее Патриарх Тихон ставил. Тут она еще крестовой сестрой сфотографировалась...

Верила твердо. Чуть что: "Что ты, душенька? А Марфа и Мария? Марфа и Мария нам помогут..." Это у нее первое слово... Прямо детская вера была: чуть что - Господь, Марфа и Мария... Господь, Марфа и Мария... Великая Матушка молитвенница была, а Валентина Сергеевна для обители трудилась. Та была Мария, а эта - Марфа...

Нас с ней в Туркестан выслали в двадцать шестом году... Пришли, обитель заняли и всем велели убираться. Только что взять личные вещи. Солдаты там стояли - охраняли... Им-то что - им только приказали. Одна сестра свою швейную машинку выносила - проходи, не тронули. А еще одна часы такие огромные, апостольником накрыла и несет. И аккуратно когда она мимо солдата шла, часы-то у нее и забили... Да, а нас семнадцать человек сочли за администрацию. Всех крестовых сестер да нас с Фросей... Какая мы с ней администрация?... Только что близкие были. И слушались. Как нас попросят что - так и летали на крыльях любви к обители и к начальству...

Прислали нам такие билеты. Приезжайте на вокзал, с этими билетами бесплатно, отдельный вагон. И отправились мы до Кызыл-Орды, столица Казахстана. Это было как раз на Взыскание Погибших, пятого февраля. Приехали туда - десятого. День Ангела нашей настоятельницы Валентины Сергеевны. Купила она нам плюшек... Мы ведь были тогда самые первые ссыльные, на нас все с удивлением смотрели... Двадцать шестой год. Пошли в НКВД. Приходим туда, нам говорят: "Будете все здесь работать. Нам здесь хорошие работники нужны". А мы и поверили.

На другой день пришли, уже говорят: "Мы вас здесь всех не можем оставить, должны вас отправить в пять городов. Вы, - говорят, - сговоритесь, кто с кем хочет и поедете..." Мы и

сговорились. Настоятельница выбрала тогда нас четверых - Фросеньку мою, меня и еще двух сестер...

Опять приходим к ним. "Сговорились?" - "Сговорились". - "Я - с ней". - "Мы - с ней..." - "Так, - говорят. - Вы с ней? Поедете отдельно! И вы - отдельно!..." Так никому и не дали ни с кем.

Тут всех нас и меня с Фросенькой разлучили. Ее - в Туркестан, а меня в Чимкент назначили. "Никаких разговоров! Поменьше говори, а то на верблюдах тебя в степь загоним!" С Валентиной Сергеевной мне потом все-таки разрешили... И вот стали мы разъезжаться в разные стороны - Алма-Ата, Козолинск, Туркестан, Чимкент... Фро- син поезд отходил в четыре дня, мы с ней прощались так ужасно. Я на площадку зашла, плачу. Вдруг смотрю, Валентина Сергеевна такая печальная стоит... "Ты только меня не бросай..." Старенькая она уже была...

И вот поехали мы с ней в Козолинск. Город ужасный. Домики с плоскими крышами, ни деревца, ни кустика никакого... Только один, смотрю, хорошенький домик - с крышей, деревянный. Вот бы, думаю, нам снять... Я пошла туда, вышла какая-то старуха, испугалась нас... Потом выходит старик, красивый такой... "Пожалуйста, - говорит, - у меня только что жильцы уехали, могу вам сдать".

- "Мы, - говорю, - ссыльные..."

- "А для меня это не имеет значения. Десять рублей в месяц..." У них там икона, диван, столик, полы крашеные... Только устроились, мне Валентина Сергеевна говорит: "Иди в финотдел". А мне боязно...

Ну, иду на другой день. "Ничего, что ссыльные, - говорят, - нам работники такие московские очень нужны. Приходите". Жалованье мне опять - семьдесят пять, только уж не золотом... Устроились мы там замечательно. Когда нас из Москвы-то попросили, старушка одна на вокзале Валентине Сергеевне корзинку сунула. А там - одеяло вязаное, Великая Княгиня ей сама вязала, на шелку, потом матрасик волосяной, белье и занавески, главное, наши - у всех в обители были одинаковые, с большими розами... Ну, это я все приладила... А тут и Валентина Сергеевна моя пошла работать к нам в финотдел. Она математик была, кончила какой-то математический факультет... Ее тогда взяли в налоговый отдел. Так начальник говорит: "Я не напасусь на нее работы". Она за два часа все сосчитает и идет ко мне: "Пойдем домой, душенька". А мне нельзя, я работаю... "Неужели, душенька, нельзя уйти домой?" Но только она недолго проработала. Через месяц начальник говорит: "Не могу я двух ссыльных в отделе держать". Пришлось ей уйти, а я осталась.

И в НКВД так любезно нас приняли. Все смеялись. "У нас, -

говорят,-такое доверие к ссыльной, у нее все секретные бумаги на руках". Это - у меня, в финотделе. И каждую неделю мы должны были приходить к ним расписываться. Я им говорю, что Валентина Сергеевна старая, больная. Ну, говорят, пусть раз в месяц приходит.

Раз я прихожу расписываться, а жена этого главного НКВД выходит из квартиры: "Зайдите, у меня горячие пирожки, чаю попьем". Неудобно не пойти... Только зашла я, села - входит начальник. Я испугалась. А он: "Сидите, сидите. Пейте, пожалуйста, кушайте..."

И так хорошо мы жили... Только что Валентина Сергеевна у меня на табуретке сидела... И задумала я ей кресло сделать...И человек нашелся такой, сделал ей кресло. С прямой спинкой, так подлокотники... И в День Ангела я ей поставила...

Она у меня чуть не заплакала. "Ну, вот, - говорит, - опять я - настоятельница". Так и жили мы с ней до двадцать восьмого года.

И тут снится мне Святитель Филипп. На небе. Солнце светит, и он там стоит. А в Пятницу на Страстной повестка в НКВД. Я прихожу.

"Вы, - говорят, - свободны. За вас мать хлопотала". - "Мне одной?" - "Да, - говорят, - только вас освободили". - "Я никуда от вас не поеду". Они там прямо поразились. "Ты что, праведница?"

- "Нет,- говорю, - не поеду". - "Гляди, она с ума сошла..." Прихожу домой. Даже не хотела говорить Валентине Сергеевне. Она сама спрашивает: "Ну, что там?" - "Да вот, - говорю, - мать за меня, оказывается, хлопотала... Освободили меня". Она так поглядела на меня: "К Фросе теперь поедешь?" - "Нет, - говорю, - я вас не оставляю".

Да... Так и дожили до двадцать девятого года. А тут нам всем прощение вышло. Только минус Москва и область. И мне так же. Не уехала я тогда, и опять вроде мне прибавили. Валентина Сергеевна говорит: "Сейчас же пиши Фросе, пусть все готовятся ехать в Ростов. К Святителю Дмитрию, к Святителю Дмитрию". Фрося нам отвечает: "Дорогая Валентина Сергеевна, не ездите в Россию. Здесь у нас в Туркестане так хорошо, приезжайте к нам..." А Валентина Сергеевна ни в какую! "Душенька, она с ума сошла! Не ехать в Россию! Сейчас же пиши, чтобы все собирались!.."Так и поехали мы в Россию, в Ростов... Приехали - Валентина Сергеевна,

Катя, Фрося и я... Тут, в Ростове, много сестер было, они все потом в тюрьму пошли. Нашла я хозяйку дома, она нам сдала: платить пятнадцать, кажется, рублей. Зала метров двадцать и маленькая комнатка. Она торговала сама, в Ярославле с лотком ходила...И недолго мы тут пожили.

Помню, праздник был, под Успение... Поехали с Валентиной

Сергеевной в церковь, а Фрося не пошла. Приходим от всенощной, а она лежит у нас с мигренями.

"Приходил, - говорит, - человек из НКВД, свой. Что вы, говорит, наделали? Зачем вы все сюда приехали? На вас теперь опять дело завели и опять вас всех сошлют, только уж теперь всех врозь. Немедленно уезжайте!" Так мы все и уехали от Святителя Дмитрия. А которые не уехали, все в тюрьму пошли...

Фрося сначала поехала одна в Туркестан, а уж потом мы с Валентиной Сергеевной к ней...

Вот она - моя Фросенька... Тут с цветами сфотографировалась. Она цветы так любила, так любила... Все, бывало, их целует. Ей наш зосимовский старец Алексей, как постригал ее в рясофор, дал имя - Любовь. И благословил тогда, чтобы так это имя и в монашестве осталось. Монахиня Любовь...

Бывало, когда к нам в обитель сестры шли, он, старец Алексей, всегда говорил: "Идите в Марфо-Мариинскую. Там одна Фрося чего стоит..." В голодное время всю нашу обитель спасла. Пошла в деревню Семеновку, это за Калужской заставой, познакомилась там с крестьянами. Ну а потом они нам и помогли в революцию... А мы детей у них крестили...Я и сейчас, в Москве когда, у крестника, у семеновского живу...

Девочки их, семеновские, в обители воспитывались. Одеждой им помогали, а они нам хлебом, картошкой... Церкви у них там не было, так им церковь построили по благословению патриарха Тихона...

Вот фотография, как ее закладывают... Вот Батюшка наш - в митре, в облачении... А в обитель Фросю Преподобный Онуфрий привел. Она жила в Харькове, сама харьковская... И вот приснился ей сон - Преподобный Онуфрий... Вот его икона, с длинной бородой... Явился он ей во сне и провел ее по всем местам, и где грешники в огне мучаются, и в снегу замерзшие мучаются, потом показал, как праведники ликуют... И благословил ее преподобный Онуфрий идти в Москву, в Марфо-Мариинскую обитель... А она тогда ничего еще не знала. Проснулась и стала всех в Харькове спрашивать, есть ли такая Марфо-Мариинская обитель в Москве?

"Есть", - говорят. Так она в обители и появилась... Фросенька моя... Он и потом ей много являлся во сне, преподобный Онуфрий. Посты ей назначал...

Один раз она ровно тридцать семь суток не ела, не пила ни капельки... А как работала! Из Семеновки по два мешка картошки - восемь верст - несла, всю обитель кормила... А мне Батюшка поститься не благословлял. Я его прошу, а он мне: "Твой пост - ешь досыта!" Слабой меня считал... А я вот, видишь, всех и пережила....Ты уж меня прости, старуху, я так бестолково

говоря... У меня вечно одно за другое цепляется... Да...

И вот поехали мы тогда обратно в Туркестан. Сняли у хозяйки одной, в каменном доме - две комнаты... Там к ссыльным тогда еще очень хорошо относились - узбеки, киргизы, бухарские евреи. И квартиры нам давали, и все... Церкви там в городе две были - в центре Святителя Николая, и еще два часа ходьбы - Покрова... Хорошенькая такая церковь, маленькая... Там все ссыльных хоронили. Одного киевского архимандрита, помню, рядом с Алтарем положили...

Я поступила тогда в продснаб. Рублей шестьдесят-семьдесят - неплохо получала. Счетоводом была. Люди там -замечательные. Прижились мы там...Двух девочек я грамоте учила. Потом одну на почту устроила, а другую - себе в помощники... А Фрося моя - там палатку открыли мороженым торговать - вот она и пошла. Потом одеяла стали шить.Фрося, прямо как художник, такие рисунки, такие узоры выдумывала... Заказы так и полетели...Словом, хорошо жили...

Фрося вечером придет, я вернусь... Валентина Сергеевна спрашивает: "Сколько сегодня продала? Сколько заработали?" В церковь ходили в апостольниках, как в обители. На клиросе пели... У Фроси голос был изумительный, Апостола она читала бесподобно... А потом Валентина Сергеевна наша бедненькая слегла. Очень мучилась, мучил ее "враг" перед смертью. Мы дежурили по очереди... Ночи не спали. Вот сидим раз около нее, а она в полубессознательном состоянии. Потом повернулась: "Фрося, Фрося, погляди - преподобный Серафим...Тянет меня туда... А там так высоко, высоко..."

А на другое утро спрашивает: "Что у нас сегодня - не суббота? Будет всенощная?" - "Зачем вам суббота? - говорим. - Зачем вам всенощная?" - "Мне надо..." И теряет сознание. А это было в июле,как раз восемнадцатого числа... Как раз под преподобного Серафима...

И вот только всенощная кончилась, она у нас и скончалась... Священник только пришел. Тоже, конечно, все ссыльные священники...

Какое переживание было ужасное... Вынесли мы ее в церковь... Жара, скорей, скорей... И похороны такие были - Боже мой. Хоронили возле той церкви Покрова, рядом с архимандритом этим...Народу было... Это, значит, тридцать первый год... А к нам туда все шлют и шлют, все едут ссыльные... А Фрося моя всех устраивала их и на квартиру, и на работу. В НКВД так и говорили им, ссыльным:

"Идите в трудовую контору Журило". Это Фросина фамилия - Журило.

Она всех устраивала, всем все доставала... Раз сижу я в своем продснабе на работе. "Иди, - говорят, - тебя там поп какой-то спрашивает". Я выхожу, думаю, как это поп?.. Батюшки мои! Архиерей! Высокий такой архиепископ Амвросий Виленский. Его выслали и с ним монахинь шестьдесят человек... Отпросилась я, идем домой... А монахини у нас в саду сидят. Ну, тут моя Фрося развернулась... Соседи - кто муку, кто крупу несет... Суп мы им наварили - шутка ли обедом накормить шестьдесят человек... А Владыку мы определили в комнату Валентины Сергеевны. Ей как раз сорок дней было.

И стал он нам рассказывать. Я плачу, смотрю, и Фрося моя плачет и платком слезы вытирает. А она увидела, что я реву, разорвала платок пополам и дает мне. А Владыка поглядел и говорит: "Сколько лет живу да свете, первый раз вижу такой раздел имущества". А на другой день услали его в Сузак. Сто двадцать километров на верблюдах, по самой жаре... Фрося ему, правда, тележку раздобыла. Корзинку мы ему с собой дали, зонтик от солнца и письмо в Сузак к врачу одному, к нашему знакомому... Собрали мы его, не знаю, уж как он, бедняга, ехал... А только прислал нам врач наше письмо, что Владыка через два дня в Сузак умер. Не выдержал... Царствие ему Небесное... А на этом снимке тоже наша Матушка Великая. Это она тут в черном апостольнике сфотографировалась и тоже - настоящий крест. Она власяницу носила и вериги, да только мы никто не знали, после уж стало известно.

Она даже картошку в подвале перебирать ходила. Раз сестры заспорили, не хотят никто туда идти. Она ничего не сказала, только оделась и пошла сама... Тут уж все за ней побежали... А то еще раз пошли мы в собор, там в подвале места нам были приготовлены, чтобы сестер хоронить... А Матушка Великая тут нам и говорит: "А я хочу, чтобы меня положили в Святой Земле". Сестры тут удивились:

"Как это?.. А мы тут как же?" А она больше ничего не сказала...

А последний раз я ее видела в восемнадцатом году, я еще в обители не была, все бегала. После службы. В соборе уже никого не было. Она меня подозвала: "Подойди ко мне. Как жаль, что ты не можешь упросить маму... Но мы с Батюшкой поговорили и решили тебе дать послушание, как нашей сестре. Пока твое послушание - послужи родителям. А в обители ты будешь. Будешь! Ты веришь мне?"

"Ну, ладно, - тогда думаю, - что мне с вами делать?" А на тот год сестры наши собрались ехать в Зосимову Пустынь, к старцу Алексию, и меня с собой зовут. Ну, думаю, лучше мне не ехать.

Он, говорят, прозорливый, сразу узнает, как я его ругала тогда, когда первый-то раз от него шла... Но все-таки они меня уговорили. И вот стоим мы перед обедней, ждем его, как он в церковь пойдет, чтобы взять у него благословение... А была у нас сестра Татьяна, княжна Голицына, высокая такая, большая... Вот я за нее и спряталась... Не заметит, думаю... И вот он идет... Подходит, сразу рукой ее отстраняет, увидел меня и говорит: "А...Зинушка пришла..." А на другой день принял он нас... И меня принял.

Села я у него, и стал он мне все мои грехи говорить - от самой юности, каких я и не помнила... И вот сижу я и плачу... В жизни так не плакала - слезы прямо по всему лицу, все лицо омывают... А он мне своей бородой их вытирает и говорит: "Как бы я хотел, чтобы ты сейчас умерла".

- "Что ты, - говорю, - батюшка, я не хочу умирать. Я в обители хочу потрудиться". - "Ну, в обители ты будешь, сама не заметишь, как там очутишься..." А ведь он это всю мою жизнь тогда предвидел... Да... А тут как раз отпуск мне - две недели. С восьмого июля, в Казанскую как раз. Я маме говорю: "Хочу провести отпуск в обители. Я уже с Фросей договорилась, с Батюшкой, с Валентиной Сергеевной".

- "Как?! Это что такое? - говорит. - Какой тебе там отдых будет?" Я говорю: "Дай мне хоть в этом волю"...

Нет, это уж был девятнадцатый год, Великой Матушки уже не было... Прихожу я в обитель к Батюшке: "Вот я в отпуск к вам".

- "Правильно, - говорит, - давно бы так..." Ну, а кончился мой отпуск под преподобного Серафима. Иду к Батюшке в кабинет, он: "Ну, отдохнула, теперь, значит, на работу пойдешь?"

А я говорю: "Не пойду! Я теперь не пойду!" А Батюшка так удивленно говорит: "Как же так?" - "Как хотите, сяду вот на лестнице и не пойду никуда. Не пойду домой..." Он прямо удивился очень:

"Да, - говорит, - давно бы тебе пора к нам... Все-таки сходи еще раз к маме, попроси благословения..."

Я побежала пешком с Ордынки на Тверскую... Бежала, такая жара была ужасная... А сестра младшая меня встречает, девятнадцать лет, замужняя уже была...

"Соня, я в обитель поступаю!" - "Ну и что?" - "Я вот маме боюсь сказать..." - "А ты скажи и все!..."

Я села за стол... Мама сидит у самовара, чай разливает. Чувствую, она беспокойная. Вообще-то она со мной не разговаривала почти. Я прямо и бахнула: "Мама, я поступаю в обитель!"

Как она вскочит, всплеснула руками: "Так я и знала!"

Доканали! Иди на все четыре стороны! Ты мне не дочь!" А я и не знаю, что ей сказать. Я говорю: "Мама, все-таки надо меня пожалеть. Сколько лет я вам служу и никому... Братя все женились, сестра вышла замуж. И никто тебе ничего не говорил, разрешения не спрашивали, сами устроились и все. А мне уж пора подумать о своем будущем. Вы же знаете, замуж я не пойду...А если бы я и пошла, разве бы я вам так могла служить, как буду вам служить в обители?.."

- "Я тебе сказала: ничего мне от тебя не нужно, иди на все четыре стороны. Я тебя не знаю..."

Вдруг папа приходит. Я к нему тогда: "Папа, ну когда же вы меня отпустите? Я вишу между небом и землей: ни у вас я, ни там я..." Папа говорит: "Мать, надо отпустить..." Только он это сказал, схватила я икону - Скоропослушницу - встала на колени перед мамой: "Благословляй!" Заставила ее в руки икону взять и ее руками себя крещу... А папу и забыла... И кубарем с лестницы, так и убежала. Только икону под мышку...

Прибежала к Батюшке красная как рак. Целый час я бежала по Садовой улице. "Батюшка, благословила!" (Уж не сказала ему, как она меня благословляла.)

"Ну, слава Богу, теперь ты - наша сестра..." Так и поступила... А вот этот снимок - патриарх Тихон. Он нашу обитель любил. И Батюшку нашего с Батюшкиной Матушкой Ольгой в монахи постригал, так что уж Батюшка стал архимандрит Сергей, а Батюшкина Матушка - монахиня Елизавета...

Любил Патриарх нашу обитель. Бывал часто. Встречали его... Девочки наши воспитанницы в ряд выстраивались и розы ему под ноги бросали. У нас двадцать две девочки круглые сироты воспитывались и среднее образование получали... Одинокие старухи жили, за ними сестры ухаживали. Мальчик один, помню, был расслабленный, калеки, бедные всякие... Великая Матушка снимала еще специальные дома - один для чахоточных женщин, а другой для фабричных девушек. Обеды были в обители бесплатные. Каждый день пятьсот обедов для бедных. Больница на тридцать кроватей тоже бесплатная. Амбулатория, самые известные профессора принимали...

И все сами сестры обслуживали, и на кухне, и всюду. И аптека была, давались бесплатные лекарства. Сестры ходили по домам на окраины города, где подвалы. Искали бедных. Кому что нужно. У одних, например, отец безработный - работу находили. У других мать шить может, а машины нет. Машину покупали. Одежду раздавали, детям обувь. Великая Княгиня переодевалась и даже на Хитров рынок ходила, оттуда людей вытаскивать... А к Рождеству у нас устраивали в амбулатории елку громадную для

бедных детей. На елке игрушки, сласти; а главное - теплая одежда, сестры сами шили. И валенки для девочек и мальчиков. А последнее дело Великой Матушки, уж она его не кончила, начала строить пятиэтажный дом кирпичный. Для бедных студентов, чтобы все для них общее. И все бы это свои бы сестры обслуживали... А сестер у нас принимали всех званий и состояний: княжны у нас были Оболенская, Голицына - и самые деревенские. И всем вначале одинаковое послушание давалось. Княжна ли ты, графиня или самые крестьянки полевые...

Это уж потом, по уму-разуму, кто на что способен. А вначале хоть ты княжна, а мой пол, мой посуду. Это Батюшка назначал. Он у нас был духовник и настоятель... Великая Княгиня тоже всех принимала сестер. К ней все идут жаловаться. К ней с такими делами, скоторыми скорее идти к матери, чем к отцу. Она как мать была, а Батюшка как отец... А это - белый-то, клобук - митрополит Елевферий. После двадцать третьего года, как нашего Батюшку в первый раз сослали, он у нас в обители служил. Тогда был отец Вениамин.

А потом видишь, архиереем стал, был Ленинградский Владыка. Санкт-Петербургский... А после войны мы с Фросей тетку его навещали, совсем уж старенькая она была. Плачет горькими слезами:

"Фросенька, Веничку-то моего как обидели... Назвали-то как - Елиферь какой-то..."

Да... А в Туркестане мы с Фросей хорошо жили. До тридцать восьмого года. А тут приходит моя Фрося с базара и приносит открытку, а на ней так - домик и дорога. Показывает мне и говорит: "Поедем-ка мы с тобой в Москву. У Батюшки побываем..." А Батюшка наш после второй ссылки опять тут, в деревне был... Ну, сели и поехали. И у Батюшки тут побывали... А только присылают нам из Туркестана письмо, что арестовали там Надежду Эммануиловну, нашу сестру (она княжна была) и Агафью Александровну, старосту церковную... А церкви в это время уже обе закрыты были... И вот Агафья Александровна ездила все хлопотала, чтоб хоть одну на весь город открыть. Открыто хлопотала. И когда мы уехали в Москву, их забрали и обеих расстреляли...

Шофер НКВД знакомый был, он потом рассказывал. Княжна очень кричала, ей тряпкой заткнули рот. Так она, говорит, наверное, задохнулась. А Агафья Александровна ехала - только молилась. Ее тоже поставили, она молча встала... Они выстрелили, она упала... Стали ее землей засыпать. А она кричит: "Я жива! Жива!" Так ее и засыпали... Мученица великая, Царствие ей Небесное... Только за церковь хлопотала. И у нас с Фросей на

квартире был обыск, так что нам написали, чтобы мы пока не ехали. Пока это все не уляжется...

И вот приехали мы сюда, к Батюшке. Смотрим, старенький уже такой старичок в синей курточке... А сюда не позволяли к нему ездить власти. Чтобы никакого общения с ним не было. И церковь тут уж не служила, она в тридцать третьем году кончилась. Он тут сидел - ни шагу, никуда... Так только в магазин ходил... Да... А в Москве у моего брата нас не прописали. Сказали: "Мы не прописываем сейчас никого".

Туда мы сунулись, сюда... Фрося говорит "Поедем в Харьков". Там у ней много родственников было - племянников, племянниц, что-то такое семьдесят человек. Вот мы поехали туда. Нас в Москве мои родные снабдили. Громадный узел дали: там дадите своим, что же вы так приедете... Шали, платки, отрезы.... Приняли нас хорошо. Там у одних племянников, там у других. А мы, по глупости, рассказали, отчего нам в Туркестан нельзя ехать. И вот все стали бояться нас прописывать. А там ловили которые без прописки. И на машинах отправляли на какие-то работы.

Потом предстояло время выборов. И перед выборами такое волнение - всюду искали непрописанных... Прямо шкафы открывали. А тут мы уже жили у одной Фросиной племянницы. Молодая вдова, племянница. Хорошая такая женщина, простая... Домик собственный. И Фросе снится преподобный Онуфрий и говорит ей: "Какая ты малодушная. Ничего не бойся!"

И вот Настенька, эта племянница, говорит: "Пойду последний раз попрошу, чтобы начальник вас прописал". А Фрося дала ей с собой иконку преподобного Онуфрия. Приходит она в милицию, а там прям плач стоит - никого не прописывает. Он всех гонит. Орет на многих. Ну, тут Настенькина очередь доходит, а уж она ни жива ни мертва... Вдруг он улыбнулся: "Ты, - говорит, - что так волнуешься?"

- "А вот, - говорит, - ко мне тетя из Туркестана приехала, боюсь, не пропишете". И прописал! На две недели или на месяц. И мы спокойно восседали в зале выборов. И даже выбирали кого-то...

Кончились наши две недели, и поехали мы опять в Москву. И опять без прописки мыкались... А тут приснился мне наш Батюшка. Будто я стою на лесенке, а там наверху икона Божией Матери, а он мне говорит: "Молись, молись... Это - Одигитрия, Она все дела устраивает..." И вот одна знакомая старушка профессорша Боборыкова говорит: "Около нашей дачи школа новая строится. Поезжайте туда, живите у нас на даче. Может быть, на работу в школу вас возьмут и пропишут". Поехали мы туда, поговорили с директором. "Давайте, - говорит, - давайте!

Нам очень нужны работники! И счетный нужен, и технический. По хозяйственным делам человек". И прописал он нас постоянно. А потом в Тайнинку его перевели, и мы с ним туда. Комнату нам дал большую, и жили мы расчудесно. Всю войну там прожили. Только бомбили там ужасно. Там вагонный завод со школой рядом, все в него метили. Но так и не попали. А как бомбежка, мы с Фросей сидим в коридоре и молимся. И все учителя к нам жмутся. Тут все за Бога взялись... Директор очень Фросю ценил. Во всем с ней советовался и в какую краску классы красить. Всюду ее с собой возил. Была она у него правая рука... Четыре года нас в отпуск не отпускал...

Так там мы и жили до сорок шестого года вместе... А вот тут, в рамке, это - наша обитель. Какая она была... Ворота, тут куполок... Видишь, под ним икона... А там дальше - собор. Его в десятом году освящал митрополит Трифон... А жили вот в этих, в соседних домах. Их Великая Княгиня в восьмом году, когда они с Батюшкой обитель открывали, купила у одной старушки. Так все пять домов. Сначала у них одна всего с Батюшкой сестра была, Батюшкина какая-то сотрудница, а потом понемножку стали набирать сестер. К восемнадцатому году уже нас сто пять было...

Тут в соборе беседы были духовные, митрополиты, архиереи участвовали... Ставили стулья в соборе, по лавкам народ и сестры... После вечерни воскресной... И тут проповеди читались, объяснения молитв... Такая у нас была духовная жизнь, это в честь Марии. А больница и все прочее - это в честь Марфы... А здесь Батюшка сфотографировался на своей квартире обительской. В скуфье вот на этом самом кресле сидит. Вот как-то уцелело кресло его и еще один вот этот молочничек. ММOM - Марфо-Мариинская обитель милосердия... У нас вся такая посуда была... А кресло это так тут у него и стояло у окна. Сидит он на нем, бывало, старенький, а скуфья упадет и в ногах где-нибудь лежит. "Батюшка, - скажешь, - скуфья упала".

- "Ну, вот, - скажет, - хоть скуфья смиряется, коли я не смиряюсь...

"А это - церковь здешняя деревенская, какая она была. Сейчас-то вон погляди в окно, теперь что осталось - уголок один. Вон там в нише-то, ты, наверно, разглядишь, я-то уж не вижу, там икона еще - Деисус... Как ее не выбили? Это чудо. Как тут престольный праздник - на Покрова и на девятую пятницу, так ребята пьяные начинают с утра в нее кирпичи швырять. А выбить не могут. А за ними и мальчишки маленькие... Только она пока не поддается... И так вот два раза в год тут празднуют. А ведь она - красавица была, погляди-ка. По проекту Казакова. До тридцать третьего года тут служили. Только уж тогда Батюшке ходить в нее

запретили...Говорят, дескать, вы приходите, благословляете всех. Чтобы этого не было. Народ вас тут встречает, вы опасный человек... Он только что ходил по будням, лишь бы причаститься и помолиться. Чтобы никто его не видел.

А народ к нему ходил всеравно. У кого корова телится, у кого - что. Почитали его. Вот и на могилу к нему до сих пор все идут и идут. Уж мы и не знаем, кто, а все идут. А тогда ему НКВД тут и шагу ступить не давали... Они ведь, было дело, и меня вербовали. Еще в Тайнинке, в школе ко мне явились. Раз приходит ко мне директор школы и говорит: "Вам надо зайти в Красный уголок". Я удивилась, иду. Там сидят двое. Иван Тимофеевич и Николай Александрович. "У вас фамилия, - спрашивают, - немецкая?" - "Наверное, - говорю, - немецкая. Только у меня вся родня русская. И бабушка была русская. Не знаю, почему такая фамилия".

- "Ну, - говорят, - как вы здесь живете? Может быть, вам трудно? Мы могли бы вам комнату в Москве дать. Картошкой вас обеспечим. А то ведь сейчас голодно".

- "Спасибо, - говорю, - у нас все есть. Живем очень хорошо. Всем довольны".

- "А то, - говорят, - вы для нас самый подходящий работник..."

- "Нет, - говорю, - я и тут на хорошей работе". - "Ну, - говорят, - мы вам еще будем звонить". И позвонил мне этот, Иван Тимофеевич. Назначил мне свидание в метро "Дзержинская". Встретились мы с ним, и ведет он меня прямо на Лубянку. "Куда вы меня ведете?"

- "А вы, - говорит, - не бойтесь". Входим в парадное. Там у них ковры. Зал, стол во всю длину, стулья. Роскошь - зеркала, красивая обстановка. И виден ряд комнат. И там слышу крик. Кричит кто-то на кого-то. Ну, думаю, сейчас мне тоже будет...И у меня тут со страху сделалось расстройство желудка...

Ну, а потом открывается дверь, и выходит Николай Александрович, этот - в военной форме. Приглашает в комнату. Там кровать такая аккуратенькая. Сели. "Вы знаете что-нибудь о Марфо-Мариинской обители?"

- "Не только знаю, я там жила". - "Что же вы нам об этом не сказали?" - "А вы не спрашивали". - "Вот вы и напишите нам, что знаете об обители, о Батюшке, о Великой Княгине".

- "Это было такое дело, так людям помогали, - говорю. - Жаль теперь нет..."

- "Мы сами знаем". - "Ну, а знаете, так чего же вам писать?"

- "А вы все-таки напишите..." А потом стали меня таскать, стали назначать дни. "Вот вы работаете в школе, последите за учителями, что они говорят".

- "Что я - шпионка?" Обиделись: "Что это значит - шпионка?!"

А потом он, главный -то, уехал куда-то, который меня допрашивал. И он говорит: "Будет у вас Иван Тимофеевич временно".

Один раз назначил мне Иван Тимофеевич свидание в Александровском саду. Сели на лавочку. "Мы вас, -говорит, - еще не спрашивали про деревню Семеновку. Какое у вас знакомство с семеновскими?" Ну, я и говорю: "Они наши благодети были.Близкие нашей обители..." А он: "Почему вы все молчите? Все из вас надо выжимать..." Ну, а потом я уже уехала сюда, к Батюшке. А они долго в школе интересовались, куда я делась...

А вот это фотография - Великая Княгиня. Тут уже она вдовой. Это Батюшке был подарок: "Елизавета. Память совместных трудов. 1904/5".

Она ведь была принцесса Гессенская, внучка королевы Виктории... А когда еще совсем молоденькой девочкой была, там у себя в Германии, с детства она все стремилась помогать бедным. Ее прапрабабушка была тоже Елизавета совершенно необыкновенная. Она нищих любила, чудеса творила. А наша Великая Матушка очень много слышала об этой прабабушке, и вот с детства она тоже хотела служить бедным, главное, больным. А тут она девушкой еще была, и во дворце у них там мальчик, брат ее маленький, из окна выпал и разбился на смерть. Так она первая подбежала и на руках его окровавленного несла... И вот уж тут она окончательно себе обет дала не выходить замуж, а помогать бедным... А Государь наш был друг ее отцу, Федору. И вот говорит он своему брату Сергею Александровичу: "Поезжай, сватай у герцога Федора дочь Елизавету". А СергейАлександровичтоже уже решил не жениться, но он не имел права отказаться от воли Государя. Поехал он туда. Он приехали поговорилс отцом. А герцог ему говорит: "Это я не могу решать, поговорите с ней самой". И вот они решили, Сергей Александрович с Елизаветой, чтобы не обидеть Государя и не разбить их дружбу с Императором всероссийским, и она, жалея отца, согласилась на то, что они будут муж и жена только для дома Романовых и для народа... А так будут хранить жизнь девственную.

Она приехала сюда, и брак этот был совершен... Теперь они поселились во дворце в Кремле... А он был московский губернатор назначен. Тогда существовало это подпольное, у которого было решение убить Сергея Александровича. Его почему-то не любили... Или уже начиналось это, чтобы уничтожить весь дом Романовых? А Великая Княгиня получала такие письма, чтобы она с ним не ездила... Потому что ее убивать не хотят, она делала много добра для народа. А она все время

нарочно с ним ездила, оберегала его. Ну, в один прекрасный день - как раз они должны были куда-то поехать в коляске, две лошади, кучер их постоянный - и уже сели в коляску... Вдруг она говорит: "Ах, я забыла что-то..." Платочек там или еще какую-то мелочь... И побежала. И в это время случилось... Был убит и кучер, и лошади. Она только кусочки подбирала... И палец с обручальным кольцом нашла. Потом ходила к этому, который взрывал-то, в тюрьму. Говорит: "Зачем вы это сделали? Убили человека..." А он ей ответил: "Это не мое дело. Это мне приказали". Она тогда написала Николаю, просила простить. А Государь ответил ей, что помилование никогда не дается убийцам, кто убил из дома Романовых, и он ничего не может сделать...

Его повесили, потом или там - не знаю. И тут уж она сразу решила, что нужно начать какое-то дело... Вот поехала она в Орел. А она была шеф Черниговского полка, который-там стоял, в Орле. А Батюшка наш был военным священником этого полка. И он уже был священник знаменитый, он там особенно отличился. Родился-то он в Воронеже, в Воронежской губернии в семье сельского священника. Потом, кажется, на врача учился, а потом сразу повернул на священника. И вот он уже был в Орле, как-то во сне ему явился Святитель Митрофаний и ангел.

Святитель говорит ему: "Стои и жди. Сейчас, придет к тебе Божия Матерь". Он, конечно, на колени, и явилась ему Богородица и говорит: "Ты должен выстроить церковь во имя Покрова..." И все ему подробно объяснила, какое устройство должно быть, где какие иконы... И вот он сделал все, как ему Божия Матерь приказала. Денег-то у него не было, не хватало средств. Но он все сам-один собрал... И чудеса там тоже были. Там женщина в Орле жила, у которой кирпичный завод. И вот раз снится этой хозяйке сон, будто приходит к ней Прекрасная Женщина и говорит: "Как тебе не стыдно. Тут церковь строят, кирпича им не хватает... А ты каждый день два раза мимо едешь и не догадываешься дать кирпич... Не видишь, что у меня нет кирпича?"

- "А кто вы?" - спрашивает.

"А я, - говорит, - Хозяйка этого Дома..." Наутро она скорей бежит к Батюшке: "Сколько вам надо кирпича? Берите!.. А я-то по два раза в день мимо ездила и не соображу, что кирпича у вас нет..." И вот построил он церковь и стал служить, и столько всего у них было. И облачения неизвестно откуда взяли, шестьдесят облачений было. Я спрашиваю его: "Что вам, Батюшка, жертвовали?" - "Не знаю", - говорит. А при церкви он библиотеку устроил, школу. В этой школе законоучителем стал. Сейчас храм, говорят, давно сломан, а школа так и стоит... Он вот и в Орле уже

такие дела делал, обительские... А потом Великая Княгиня попросила его устав написать. В каком виде это будет обитель. Он и написал ей. Она тогда говорит: "Вы должны там быть настоятелем". А он не хотел из Орла, из своего храма уезжать. Очень любили его в Орле. Почитали. Вот и сейчас сюда еще из Орла его дети духовные приезжают... И вот было. Только он отказался ехать в Москву, обитель строить, у него страшно рука распухла. Врачи говорят: "Это что-то очень серьезное". Чуть не отнимать руку. Он тогда думает: "Может, мне это наказание?.." И согласился. Сейчас же рука прошла. Он опять отказался, опять распухла... И так до трех раз. Тут уж ничего не поделаешь...

И вот устроили они с Великой Матушкой обитель такую, в которой можно было бы делать все виды добра, милосердия. А особенно больным помогать... Мы ведь там не монахини были, сестры милосердия главным образом. В монастырях вся жизнь внутри сосредоточивается, а у нас было служение миру. Это уж потом монашество приняли. Фрося приняла монашество тайное - наше тайное считается - по благословению старца Алексия в девятьсот пятом году... Это - в рясофор. А меня тогда не постригли. И уж в сорок седьмом году, за год до своей смерти, выходит Батюшка отсюда из комнаты. Видно, молился. "Скорей, скорей, - говорит, - я должен вас постричь. Готовьтесь..." Один день меня в рясофор, а потом в мантию вместе с Фросей. Фросю-то Любовью еще старец нарек... "А тебя, - Батюшка спрашивает, - как назовем?" А Фросе преподобный Онуфрий сказал во сне: "Надежда". Так и стала я - монахиня Надежда...

А после, когда уж постриг, я в форме монашеской сидела за этим вот столом, Батюшка и говорит: "Ка кэто ты так говорила обеты? Их надо твердо говорить, а ты мямлила..."

Вот за этим самым столом. Батюшка, бывало, как что поставит, так унего стоит годы - не меняется... И вот прислал он тогда после войны уже письмо. Не нам с Фросей, а своим родственникам, своей Матушки родственникам... у Матушки Батюшкиной случился паралич, а у него - жаба, и вот они вдвоем в этой избушке. Мы как узнали, Фрося загорячилась: "Бросай работу и сейчас же поезжай к Батюшке!" И сама отпросилась на день в школе. А мы у них только еще совсем недавно были - на именины, двадцать пятое сентября. А тут - пятое октября. Батюшка сидит на скамеечке около дома. Задыхается, беденький, у него приступ жабы. И вдруг мы идем. "Что такое? Что это вы приехали? Что это значит?"

- "А мы, - говорим, - прочли письмо". Фрося говорит: "Я к вам Зину определяю, пусть вам поможет". - "Что ты, Фросенька... Она

сама больная, а мы такие тяжелые..."

- "Ну, пока. Батюшка, позвольте. Дверь вам буду открывать... (А к нему народ целый день - все идут и идут, а он всебежит, дверь открывает.) Матушке помогу, сготовлю... А обратно я не поеду, если не выгоните. А так прошу благословения мне тут пожить..."

- "Но я так боюсь, ты ведь тоже больная... И Фрося там одна..."

- "Нет, - говорю, - теперь вы у нас тут один, я должна вам тут послужить..." И вот Фрося уехала, а я осталась.

Сначала ничего не знала, в деревне ведь никогда не жила. Как печки топить. Батюшка говорит "Ты и самовар поставить не сумеешь, в трубу воду нальешь..." И так осталась я тут. Прожила недели две и привыкла. Уборку произвела у них тут, это я любительница. И к Батюшкиной Матушке яуже привыкла. Она лежащая больная была. Надо ее умыть, посадить, приготовить ей еду, завтрак дать. Только чашечку кофею с молоком и кусочек хлеба маленький с маслом, яичко... И все. Больше она целый день ничего не ест. А в постный день вообще есть не станет. Только, может, хлеба кусочек и чашку чаю без молока...

И вот говорит Батюшка Матушке: "Олюшка, как хорошо нам с Зиной..." Вот так вот стояла его кушетка, а я на печке спала... И вот утром строго он мне так говорит: "Сестра Зинаида, пойдите сюда..." Я испугалась, сейчас гнать будет. А он мне говорит "Здесь у нас маленькая Марфо-Мариинская обитель. Я - старый настоятель... Матушка моя - больная монахиня. Можешь ты нам послужить?" А я: "Батюшка, как благословите. Если вы меня называете сестрой, я буду рада вам послужить. Я себя считаю недостойной..."

- "Ну, тогда, - говорит, - ты здесь останешься до смерти. Только вот что я тебя с Фросей разлучил... Ну, ничего, и Фрося здесь будет..." Тут я и осталась.

Бывало, Матушку вымою. А он сам моется. Посадит меня сюда к окну: "Ты сиди тут и смотри в окно, не поворачивайся. Нельзя..." А Матушка с постели: "Можно, можно! Скорей можно!..." Это чтоб он оделся скорее, не простудился. А потом чай ему приготовлю, воду уберу. И он у меня чай пьет после бани. И так это хорошо мы зажили, то есть мне особенно хорошо... Фрося приезжала к нам часто. Крупы всегда привезет, сахару и всего - от семеновских, да и так. А я себе на печке обклеила, иконы, устроила себе уголок...

Батюшка заглянет: "Тут у тебя келья"... А потом еще наша сестра - Поля - к нам приехала. И стала она по хозяйству и в огороде, и с печкой, а я при Батюшке... И вот заболел он у нас. И Матушка его болеет, и сам заболел - простудился, крупозное

воспаление легких. Уже не вставал. Раз мы с Полей молились преподобному Сергию, акафист читали. Батюшка очнулся: "Что это вы такое там делаете? Благоухание какое-то?"

- "А это мы, Батюшка, акафист преподобному Сергию читаем".

- "А-а. Я и гляжу: Старец стоит..."

А другой раз плохо ему стало: "Зина, читай отходную..." Я читаю, боюсь, а он и говорит: "Вот святитель Митрофаний подходит, благословляет..." А потом уж со всем плохо: "Надо причаститься... Дай мне Святые Дары..." Они у него тут хранились... Потом попросил зеркальце. У нас тут зеркала не было. Батюшка говорил, что у монаха зеркала не должно быть... Взял зеркальце, поглядел и говорит "Еще жизнь есть..."

А последние минуты днем наступали.

"Давайте, - говорю, - Батюшка, переоденемся..." Переодели мы его, сел он поперек кровати. А я посуду мыла чайную. А он так тяжело дышит и на меня смотрит... Глаза такие большие... И вдруг как откинулся об стенку головой и... готов. Я схватила свечку, скорей молиться... А Матушка из-за занавески: "Что там такое?"

- "Ничего... С Батюшкой плохо..." Тут она встала и поглядела: "Что это? Все?.." Скорее узелок свой схватила и на кровать... А ей когда-то сказали, что она в один день с ним умрет. Было это двадцать третьего марта, на день Лидии. Народ к нему, конечно, шел. Платочки ему в гроб клали, полежат они там, и опять берут себе. Гроб такой громадный был, широкий... А так легко вынесли в эту дверь - все удивлялись. Погода была ужасная, дождь лил прямо на него. И Матушка тогда ехала, лошадь сзади шла. А его до кладбища на руках несли...

Одна деревенская речь говорила: "Как нам не плакать? Кто это говорит, чтоб мы не плакали?.. Все мы к нему прибегали, всем он нам советовал..." И так громко кричала, на все кладбище... Пришли мы с похорон. Матушка легла, забылась...

И вдруг как закричит: "Что? Два года? Два года!..." - и заплакала. Это ей еще, значит, два года смерти ждать... "Так долго, так долго..." И прожила она у нас еще два с лишним года. Мы-то думали, она скоро за ним пойдет. А на вторую годовщину опять узелок свой взяла, ждала смерти... Потом расплакалась: "Скоро ли?"

Умерла в сентябре, в день своего Ангела. Ночью очень мучилась. Я Псалтырь ей читала... Глядит на стенку, а тут этот портрет Батюшки и висел, она и говорит: "Скоро?! Скоро?! Скоро?!..."

И схоронили мы ее в Батюшкиной могиле, рядом гроб положили... И вот после ее смерти Фросе во сне является

Батюшка. И как стукнет посохом: "Сейчас же бросай работу; езжай живи к Зине!" Она ему: "Батюшка, мне пенсию надо отработать". - "Никакая тебе не нужна пенсия. Езжай к Зине!" И стали мы тут жить с Фросенькой. А потом и ее я схоронила. Она свою смерть предчувствовала. Ко всем за десять даже километров прощаться ходила. Насчет похорон все распорядилась, как поминки, как что... Это она нашим деревенским, а мне не велела говорить, и сама ничего не говорила. Жалела меня... Сердцебиение у нее было ужасное, врачи удивлялись... А все что-то делала, не могла без дела...Что-то делала в огороде, упала - сотрясение мозга... Потом простудилась - воспаление легких.Я ей вот тут кровать поставила, она так и лежала. И все, все терпела. Это как наш Батюшка говорил: "Не просто терпение, а благодарное и радостное терпение..." Первого марта - Антонины праздник был - пришли к нам две имянинницы Антонина и Евдокия. Блинов принесли, рыбы жареной... Масленица была. Фрося моя так хорошо блинков поела... Ну, ушли гости. Она лежите "А ты, - говорит, - читай вечернюю молитву..." Я читаю, и все оначто-нибудь видит. "Смотри, - говорит, - сколько ко мне гостей пришло... Марфа, Мария, преподобный Онуфрий, преподобный Сергей, Матушка Великая... Что это они тебя благословляют, а меня нет..."

Ах, вот и меня благословили... Батюшка, пришел Батюшка... А Зина как же?..." Тут она и заплакала. Это он, наверное, ей сказал, что я еще тут останусь... А на утро поднялась в шесть часов. Ходит по комнате, смотрит... Я ей: "Ну что ты встала?" Она - ни слова. Потом: "Зина, ты все хорошенько убери. Чтобы на комоды порядок был..." Подошла ко мне, к комоду, поглядела на меня и повалилась... Похоронили мы ее тоже с Батюшкой, гроб в гроб...

Вот и осталась я тут одна... А Батюшка еще при жизни говорил: "Я после смерти вас не оставляю. Буду иметь дерзновение у Господа. Буду о всех о вас заботиться..." Это ему Матушка Великая всех поручила, когда ее арестовывали... В восемнадцатом году. Приехали они в обитель во Вторник, на Пасху, в третий день. "Мы должны вас увезти". Тут сразу вся обитель узнала, все сбежались. Она попросилась у них помолиться. Разрешили. Пошла она в больничную церковь.Батюшка к ней пришел. Сестры окружили... "Ну, - эти говорят, - надо ехать". А сестры тут: "Не отдадим,мать!" Схватили ее руками. А они говорят Батюшке: "Мы ведь посланные. Мы должны это сделать, чтобы хуже не было..." Посадили ее и сестру с ней, келейницу ее Варвару... Она говорит Батюшке: "Оставляю вам моих цыпляток..."

Была она и мать, и друг, и настоятельница была мудрая. И молитвенница особенная. Стояла, как изваяние, не шелохнется.

Сколько раз в церкви заплаканную ее видела... И повезли ее... И сестры бежали за ней, сколько могли... Кто прямо падал до дороге... А я тут как, раз пришла к обедне. Слышу, диакон читает ектенью и не может, плачет... И увезли ее в Екатеринбург, с каким-то провожатым и Варвара с ней. Не разлучилась...

Потом письмо нам прислала, Батюшке и каждой сестре. Сто пять записочек было вложено и каждой по ее характеру. Из Евангелия, из Библии изречения, а кому от себя... Она всех сестер, всех своих детей знала... И потом еще посылка от нее пришла - булочки какие-то нам всем. Говорят, потом их всех в шахту бросили. А Варваре сказали: "Вас мы не хотим бросать. Вы к ихней фамилии не принадлежите". А она им: "Как с Матушкой поступаете, так и со мной..."

Не разлучилась... А еще говорят, что в Святой Земле, в монастыре нашем, русском, есть гроба их серебряные - Матушки Великой и Варвары... Там она и легла, где хотела... А Батюшка еще Фросе во сне говорил: "Не тревожьтесь ни о чем. Все у вас будет в достатке". Я вот пенсию не получаю, хоть у меня стаж сорок лет... А живу - и никакой нужды". Дрова мне добрые люди бесплатно привозят... Огород копают, все сажают... За электричество с меня денег не берут... Хлеба всегда принесут, молока... И деньги присылают... Мне тут один из города, из собеса, пришел воды напиться:

"Что-то, - говорит, - я вас не знаю. Вы пенсию получаете?"

- "Нет", - говорю. "Как так?" - "А вот так..." - "Я вам могу выхлопотать".

- "А мне, - говорю, - она не нужна..." Так и живу тут, как Батюшка мне благословил, до смерти... А летом тут у меня народу много... Сестры бывают наши - Даша, Мария, Нина, Анна... Приезжают хоть на денек к Батюшке на могилку. Дети его духовные из Москвы, из Орла - каждый год... Да мало уж нас в живых сестер-то осталось, штук, наверное, двадцать... Батюшка нам так сказал: "Здесь у вас маленькая обитель. Всех, кто приходит к вам, принимайте..."

Господи, до смерти моей не дай мне забыть - курчавые облака, небо, распахнутое над лугами и дальним лесом, речушка Малица, толпа старых берез с тучей птиц над ними, грачиное "Р" над полуброшенной деревней, развалины церквушки, избушка Батюшки, его огород, где он копал картошку, его ель, которая так разрослась, его обительское кресло с потертой бархатной подушкой, кивот с безыскусными украшениями, лампадки, бумажные сытинские иконки, Святитель Митрофаній, Преподобный Онуфрий с бородою ниже колен, Преподобный Серафим согбенный и в такой же полумантии, как у Батюшки, и

фотографии, фотографии - удивительное Батюшкино лицо, Великая Матушка с прямым носом и тонкими губами, Валентина Сергеевна, Батюшкина Матушка, Фросенька с цветами, и вечером тоненький голосок: "Се Жених грядет в полунощи..." и самая Матушка Надежда, и как она провожала меня, как мы шли с ней через рожь, и как она потом стояла возле кладбища, где Батюшкина могилка, худая и прямая, со своим посохом, и как смотрела мне вслед, и как я, уже не различая черт ее лица, все еще чувствовал на себе ее взгляд несказанной доброты и кротости - все, что осталось в этом мире от Марфо-Мариинской обители милосердия.

июнь-июль 1971 г.

Часть вторая

Рассказы, помещенные ниже, были написаны мною в семидесятых годах прошлого века и впоследствии составили значительнейшую часть сочинения под названием "Цистерна". Критика в свое время не удостоила эту вещь вниманием, но зато на нее откликнулся великий филолог и уникальный человек – Михаил Леонович Гаспаров. Его открытку с весьма лестным отзывом о "Цистерне" я бережно храню до сего дня.

Толковитый мужик

Домик у нее аккуратненький, и стоит он, отступая от порядка, на окраинной улице. Грядки перед тремя окнами фасада на загляденье ухоженные и ровные. В сенях стоит неповторимый запах деревенского жилья. Пахнет своим квасом и еще непонятно чем, совершенно домашним. Задняя изба - так называется первая комната, где она и принимает гостей, - сияет чистотою. На столе светится самовар, который от времени и усердных чисток с песочком и кирпичом почти потерял никелировку и теперь показывает свое желтое медное тело. Лавки, бок печи, на полу настланы клеенки. Всюду мелкие груши и яблоки в корзинах и тазах. В углу - Царица Небесная, Владимирская, и перед Нею - лампада. Сама хозяйка маленькая, кругленькая, ужасно подвижная и живая. Возраст при этом разобрать затруднительно - не то под пятьдесят, не то за семьдесят. Усадивши гостя под божницей, она и сама присаживается к столу и уже не умолкает ни на секунду. Слова сыплются, как горох, но пулеметная эта речь звучит напевно. Говорит она всегда об одном и том же - рассказывает о своем отце.

- Соков его звали Василий Прокофьевич. Соков толковитый был мужик, он все Библию Евангелию читал, все пророки изучил к нему, бывало, и наши мужики и богатые купцы специально приезжали, он со всеми беседовал и всем объяснял, помню, все приходил к нему из города здоровый мужчина, толстый такой, потом земский начальник приезжал, он ведь один такое толкование имел все разъяснял вот бывало и этот говорит и этот и у меня есть Библия и я читаю а растолковать как Василий Прокофьевич не могу, и вот придут к нему Василий Прокофьевич говорят расскажи нам мы с тобой посидим он сейчас Библию с полатей снимет за стол сядет раскроет и говорит, первое дело говорит придет время не будет у нас царя и денег этих не будет сахару не будет и соли не будет, а они ему говорят этого говорят не может быть, а он им я говорит читаю у пророков я и сам не верю ведь и у самого деньги пропали и вправду не верил а только говорил им не будет у нас царя и денег этих не будет, а они ему дескать не может такого быть как же мы можем без царя и без этих денег как на камне трава не растет так и этого быть не может, а он все читал и рассказывал только по Библие придет время и храмы овдовеют как вдовы вдовицы потом осиротеют как сироты потом обнищают как нищие, как это так говорят овдовеют, а это, говорит значит колокола снимут, а как же говорят так осиротеют, а это священника говорит из храма

возьмут, а как это говорят обнищают, а это значит разорят церкви и будут они как нищие, а я как увидела разоренный-то храм и грязный он и весь стоит черный так я заплакала и говорю прав был отец-то, а потом говорит придет время храмы разбогатеют пуще прежнего но не много их будет не все они будут придет время будет гонение на христиань пойдут винные с невинными всех под одну гребенку, нет говорят не может такого быть, а он говорит эти которые невинные будут всех грехов прощенные в тюрьмах наполнятся число с военными наравне священники первые пойдут в тюрьму а за ними и мы пойдем будут дети юноши в тюрьмах за прегрешения родителей а грех родительский обязательно взыщется, вот при мне мальчишку судили за шесть кило картошки в войну это было он им в суде объяснял пришел к матери а ничего у ней нет где-то он работал в городе пойду говорит в лес гриб найду какой увидел люк открытый а там картошка и набрал он сумчонку пойду говорит в лес испеку картошки да поем и вот дали ему два года за шесть кило картошки уж милиция и та ему вся сочувствовала говорят неужели человек ихний колхоз разорил мы говорим кто в суде-то сидели можно ему поесть а милиция говорит давайте все я ему хлебца дала и кто чего в сумке было все давали а девчонку при мне судили послали ее в ФЗУ работать она поработала да и не пошла не пойду говорит а отец-то ей и говорит не ходи с ребенком посидишь не помню у них мальчишка ли парнишка за это ее судили отец помню стоит и плачет значит говорит я теперь не хозяин своим детям я говорю работаю конюх жена у меня работает а с ребенком некому я ее и не пустил в ФЗУ и присудили ей шесть месяцев уж так она плакала плакала и все плакали я думала у ней сердце разорвется я вышла с суда и плачу сама-то и тут-то я его вспомнила отца-то говорил он придет время дети невинные юноши пойдут в тюрьмы, а потом говорит придет время на печи будете спать а тюрьму выпсите и будут в тюрьмах невиноватые, ему говорят как это дескать так мы в тюрьму-то попадем коли ни воровать ни котовать не будем, а он говорит я грешил а дети мои за мой грех пойдут на печи говорит будете спать и выпсите тюрьму на печи, а пришло время и вон племянница моя на работу десять ли пятнадцать ли минут проспала и на год ее в тюрьму она хоть и не на печи спала а на кровати а все одно тюрьму себе выпсала вот тогда-то я его и припомнила как он говорил придет время на печи будете спать а тюрьму выпсите, и еще говорил придет время в домах не иконы будет а музыка, все говорят не может говорят этого быть как это говорят так не иконы а музыка, а вот поехала я в столовую в Ковров и заиграло там радио я тут прям и прослезилась вот

думаю икон не стало а стало радиво и пока ела она все играла и пошла она все играет и так это мне не пондравилось знала бы думаю и не пошла бы туда обедать вот и помянула отца-то, и еще он говорил придет время богатый обнищает и взалкает и спознает нищенскую жизнь, а они говорят быть говорят того не может как это так богатый обнищает и взалкает и спознает нищенскую жизнь как это он может обнищать сгорит что ли так у богатого и сын и дочка богатые он к ним перейдет и уж не дадут они ему по миру-то пойти, а они говорит придет время и позавидует богатый бедному и все богатство их пойдет по бедным, и удивились все и говорят как уж это оно пойдет о ногами что ли оно, а он мужикам и сказал да говорит ворота только будете отворять встречать да принимать, а как раскулачили у нас-тона селе так они богатые ходили по всей деревне и кому чего пристраивали кому чего думали потом дескать попользуемся мне их старая дева богатые они были мне помню говорит Клавдя говорит только до вашей говорит улицы не дошли а то по всей деревне в каждом доме наше добро вот тогда-то я его и помянула, и еще он говорит не берите ихнего ничего не покупайте и пусть дешево оно будет не прельщайтесь когда будут продавать их-то добро, у нас в деревне раньше ставили наряд на нищих на нослещиков сегодня твоя очередь тебе стучат и нищего ведут нослещика на ночь и тут уж не откажешь мы не отказывали уж какой бы он ни был нослещик и вшивые было у нас стояли и всякие уж у меня таки кровать была для нослещика и вот раз приводят мне его ночевать, Клавдя говорят ваша очередь пришел он это у порога сел на приступочках я и говорю ему иди говорю на лавку говорю есть может хочешь он говорит не против собрала я ему покушать, потом и муж мой приходит ваши говорит документы поглядел он так-то удивился и говорит как же говорит это ты доставщик его величества государю был и мог в нищие попасть, а у него двадцать две кондитерские были в каждом городе ведь у него кондитерская была и государь только что брал у него в магазине и был он кум ему царю-то крестил он у царя не помню только мальчишку ли девочку, в гостях у него был у царя-то я говорит милушка вон на каких перинах спал и так-то показывает а муж и говорит как же ты говорит в нищие-то попал, а он и говорит как пришло время люди стали в Америку уезжать я прихожу к отцу и говорю папаша и нам надо ехать ведь все отберут, а отец-то говорит полно говорит сынок что у нас доброго и люди возьмут и нам останется и не поехали, а когда нас шаркнули оставили нас только в бане отец-то тут от расстройства не помню чего и получилось и с женой а дети-то от него отписались и сам-то он как их шаркнули от расстройства оглох и вот рассказал он так-то,

а я и вспомнила что отец-то говорил придет время богатый обнищает и взалкает и спознает нищенскую жизнь, и вот еще говорил придет время и все это говорит приближается такое время что поле все соединят в одну полосу не будет нигде ни меж ни рубежей, а они говорят быть этого говорят не может, а он говорит и все говорят будут тогда работать вместе и сначала люди будут получать много и будут плясать и веселиться а потом получат со дна меры вот это как ведро-то перевернуть да сюда насыпать много ли оно выйдет, и правда когда колхоз-то настал они все на машину сядут да катят да баба одна подпрыгивает да ура кричит тыфу думаю а сестра у меня раньше-то получала в колхозе тридцать пудов а потом получила три пуда вот те и со дна-то меры уж она ревела ревела и что поделаешь с тремя-то детьми, а потом говорит придет времени будут они получать одни только единицы, так оно и вышло у них только палочки им всем и писали а ничего на них не получали, и говорит придет время будут ссоры и зоры и неприятности уж они там в колхозе-то бывало грызутся, а потом говорит придет время и петух на дворе не пропоет нечем его будет накормить-то и брат брата своего не познает и придет и не накормят его, вот голод-тобыли опять я отца помянула, и еще говорит придет время даже такое найдут люди лошадиное копыто подкову и не будут знать что это такое, вот теперь-то в городах лошадей и нет, и даже говорил коровий рог найдут и будут спрашивать другу дружки что это такое вот какое время придет, а как я стала с мужем дом строить не этот еще в деревне так только мы его покрыли не отделанный он был а отец-то ко мне и приходит доченька говорит доченька какой ты дом-то затеяла ты бы говорит на курьих ножках бы поставила ведь вы не будете как мы жить вы будете бежать с места наместо, и вот ведь правильно пришлось мне бежать, а легонький говорит домишко или перетащишь куда или продать так тебе не так-то тяжело будет и еще говорит не запасайте говорит хорошей одежды запасайте походячей вам в гости-то некуда будет ходить да запасайте побольше обуви а то скоро говорит обувь-то будете носить без заботы от пятницы до субботы швы-то развалятся вот она какая у вас обувь-то будет, я вот давя видала на остановке женщина сидела сапоги резиновые на ней новые а подметка отрывается я ей говорю сапоги-то говорю на тебе новые а подошва-то отвалилась она ах батюшки я ведь только одну неделю их ношу вот тут-то я его и вспомнила, придет говорит время хлеб будете есть все из одной печи, а они говорят нет говорят не может этого быть как уж это оно будет все из одной печи, а вот теперь-то уж и в деревнях никто хлеба не печет все едим из одной печи, испрашивают его Василий Прокофьевич

когда ж это время-то будет, а вот говорит когда шпили-то на домах станут это время уже приближается а так-то он на меня на девчонку рукой показывает и говорит вот они будут матери горе горе их будет великое пусть говорит эти матери одеваются в ретище и усердно молятся за своих детей если умолят они то будут их слушать а если не умолят никаких их слов дети понимать не будут, придет время такое что люди не будут бояться ни зверей ни чертей а только будут бояться людей мы говорит раньше коли увидим человека сзади идет поджидаем а вы будете жить бежать будете от человека, и еще говорит придет время человека не знали и не узнать бы а вам придется с ним ругаться, а вот очереди-то настали так-то нам и приходится ругаться не знаешь человека не узнать бы а ругаешься приходится ругаться опять я его покойника помянула, придет говорит время будут девицы бестыжие лица, и такое время придет что семь жен поищут одного мужа, нет говорят не может чтобы семь жен искали одного мужа, а вот я сама видала под Свет-номерами бабы дрались из-за мужика штук их пятьбыло и все они дрались да ругались ты что у меня его отбила а ты что у меня отбила нет ты у меня отбила уж я смеялась смеялась, а бабы-то и говорят хоть бы мужик был а то ведь и мужичишка у них плохонький, а потом придет время и у девушки закроются уста от песен так что какое-нибудь тяжелое время это будет что уж девкам будет не до песен, а то я-то еще девчонкой и говорю ему отцу вон говорю богатые как живут больно хорошо, а он говорит на завидуй придет время будете на печи лежать да манну с неба получать придут вам деньги-то на дом, вот мы ныне пенсию-то получили, и еще говорит придет время скажут вам бумаги у нас нет примите скажут печать на челе или на руке но вы не принимайте это будет говорит какая-то третья печать первые-то две мы и не заметили кто говорит примут эту печать эти люди все отойдут к сатане а кто не примут спасутся услышат с неба голос не тужите вы будете живы и сыты, а эти с печатями-то придут откроют склады а хлеба не будет будут склады пусты и тогда они зашумят и пойдут к правителю а он к ним выйдет на балкон весь в белом и скажет ти-и-иха! что вам? а они закричат хле-е-ба! а он им на небо укажет дождя скажет нет земля не родит где я вам возьму, и тогда они все разойдутся и воды даже им не будет бежать будут искать воды и будет валяться серебро они подумают это вода блеснит а это серебро побегут и дальше - увидят блеснит подумают вода а это валяется золото пятами будут топтать не выжмут ли чего из земли водички кто где выжмет тот попьет потом побегут к горам горы падите на нас задавите нас а смерть от человека убежити смерти они себе не найдут это запечатанные-то так-то будут переживать,

и придет время земля растрескается так что человек может войти в эту щель и придет время Господь уменьшит птиц плодов рыб и реки обмелеют а болота осушатся и будут сдвигать гора с горою...

Так вот и вижу: изба, на лавках купцы да земский начальник качают головами, на приступочках притихшие мужики, с печи с полатей свесились любопытные русые головки. А толковитый мужик Соков Василий Прокофьевич сидит за столом под образами в свете керосиновой лампы, сидит над раскрытой Книгой и вещает:

- Придет время...

- Придет время...

- Придет время...

август 1970 г.

На паперти

- Скоро уж откроют?
- Должно, скоро...
- Уж пошел отец-то Евгений.
- Да ты сядь, посиди...
- Что Клавдя-то в церкву не ходит?
- Хворает. Простыла, да все чишет, все чишет...
- Чишет? Так ведь это надо котовым хвостом.
- Хвостом?
- Бывало у нас как кто чихнет, бабушка сейчас спросит: "Кот-то дома ли?" Вот сюды прям в нос хвостом сует, да и приговаривает: чихота, чихота, иди на кота... С кота-то на дякона, а с дякона на всякого... И проходило.
- Вот ведь и хвораешь и все, а помирать-то не хочется.
- Кому охота?
- Да уж мне-то вон пора. Пожила. Вот тут бы в ограде и лечь. У меня отец тут, мать. Муж сорок второй год лежит... У ж я рядом-то лягу, хоть тут с ним поссорюсь... Ох, наподдам ему, ох, наподдам!
- Да будет тебе!
- Чего говоришь-то?
- Уж он и затылок, поди, протер, лежавши...
- Чего, скажу, рано ушел? Не ходи рано! У тебя уж вон и кости сгнили, а я по сею пору тут маюсь... Наподдам!
- Чего ты выдумала? Чего выдумала? И в мыслях этого не держи!
- Нет, пока еще держу.
- Да... Хорошо, как сразу умрешь, в одночасье. А то вон как моя-то соседка... Хуже нет. Заболела раком, четыре с половиной года мучилась. И сестру замучила. Сестра-то раньше ее умерла. Тридцать восемь лет...
- Когда не помирать, все день терять...
- Тридцать-то восемь, это еще что... Вон у нас, в Бутырах, еще тридцати годов ей не было... Тоське-то. Дело, конечно, оно чужое. Май был, а муж-то ее у порога топор положил, припас. Да веничком вот так-то прикрыл. А девчонка маленькая и спроси: "Зачем, тятя, кладешь?" А он говорит: "Надо". А как стали дом-то запирасть, гулять идти, он тут-то ее и оглоушил. Топором. И ножом, ножом-то в грудь. А она только все: "Хватит... хватит..." И себе вот тут маленько на горле порезал. Дескать, драка, мол, у них была. Привезли их в больницу-то вместе. А потом его в тюрьму. Три года дали такого, что уж он и не вышел... А как

Тоську с моргу брали, мать-то больно убивалась. Хошь она и не родная ей, мать-то, а уж больно убивалась. "Праздник, - говорит, - мы все выпиваем, а он только на стол поставит. Не пьет". Он трезвый это дело-то делал. Двое детей...

- А им - что дети, что не дети...

- А то. я еще в девках была. До войны. Так-то под вечер с парнем шла. Идем рощей. Он мне тогда и говорит: "Как у вас в деревне-то хорошо поют". Подошли мы, а это не поют - режут, плачут. Дуню Горохову муж застрелил. От четверых детей. Разрывной пулей полоснул в живот. Милиционер был...

- Этого сколько хочешь. Вот и у нас в улице, на Чайковским прям все с ножевого завода. Кто с молотком, кто с топором. В угловом-то доме уж он жену бил, бил... Она и убегла хуш бы к соседям. Он - за ней. А они ему и не рассказывают, что, мол, она у нас-то. Спряталась-то. А он возьми, да и подожги дом. Соседям. К окну опять подошел, да и говорит: "Горите". Они не верят. Он опять: "Горите". А они не верят. Так и спалил подчистую. Потом выплачивал...

- У нас в улице - все покойники. То девку схоронили, то женщина одна угорела...

- Вон у нас Ольга-то летось мужа схоронила. Я ее и спрашиваю. "Небось, жалеешь его?" - "А чего, - говорит, - мне его жалеть? Мало я с ним, - говорит, - мучилась?.. Раз корову гнала, да под кустом его застала с одной... Уж я дойницей и была ее, ох и была... Так ведь он и не заступился за свою... А как взялся помирать, так говорю ему: "Василий, хоть бы ты извинился передо мной, да покайся..." - "Пошла ты, - говорит, - от меня на три буквы". И давай всех своих, прости, Господи, б... считать. Штук их одиннадцать. Вот с этой я еще, да вот с этой... Больно погано помирал... Я ему, дескать, что ты делаешь? Ты ведь отходишь, не сегодня завтра там будешь... А он смеется да считает их... "Покайся, - говорю, - покайся!" Ни за что не покайся... Так чего же, говорит, мне теперь его жалеть?.."

- Они, мужики, сейчас такие...

- Сейчас и бабы-то такие, прости, Господи...

- Кто как отходит. У меня вон папа в тридцать третьем году помер. Скоротечная чахотка у него получилась. Все приходили к нам золото искать, да револьвером у него под носом крутили. Пугали... Видно, оно со страху-то... Вот в канун смерти приходим мы все к нему прощаться. А уж он лежит вроде как без памяти. А мама тут охапку дров принесла да возле печки бросила, со стуком-то. Он как вскочит! С кровати ноги спустил... "Что это?" - "Это, - говорим, - папа, дрова..." - "Ох, - говорит, - зря вы это сделали. У нас уж была, - говорит, - вербовка. Кому сегодня

помирать, те в правую сторону, а в левую, кто завтра в семь часов... Теперь мне, еще целую ночь мучиться". Так вот, поверишь ли, ровно семь часов бьет, а он помирает. Я говорю: "Папа, папа, ты помираешь?" Он только сказал: "Ну и что ж".

- У меня вон напротив бактисты живут. Они не нашей веры. Покойников своих в церкву не носят. Так-то сами попоют. И песни все такие чудные: спокойной ночи, брат... Да и зарюют...

- А то еще в Москве, говорят,какая-то крематорь. Там покойников огнем жгут.

- Сожгут, как гнилое полено, нажрут, напьются, да и дело с концом...

- У нас тоже пьяных сколь хочешь. Вон отец-то Евгений, тот еще ничего. А Лонгин, ежели кто в церкви пьяный, он отпевать тебе не будет. Выйди и все...

- А вот соседка моя сюда к нам в церкву не ходит. В Никологоры ездит. Тут, говорит, поп ваш поляк и католик...

- Это Лонгин-то?

- Какой же он католик, когда он - благочинный?

- Теперь все перемешалось...

- Вот старые-то люди говорят, близок уж конец. Ох,близок... Все, дескать, совершится в этой сотне...

- Уж какой нынче народ пошел... Один мат, одно вино... Я говорю, хоть на волю не выходи, чтоб не видеть этого народу...

- Да вот хоть и у меня зять с дочкой. Как к ним не придешь, телевизор ли, радио, чего-нибудь у них да брямчит. Ужя говорю: неужто вы семь недель, постом-то не можете без этого Содому? Ничего не скажут. Только что выключат, пока я, значит, тут у их... И едят чего ни попадя. Хоть бы вы, говорю, мясо не ели. Хоть бы одно молоко. Ну хоть бы какое воздержание. А то ведь как скотина живете... Да еще и хуже...

- Теперь чего не жить? Махнул полый, да и стыд долой...

- Купят жабу за две, за три тыщи и глядят на нее...

- Нам еще отец-покойник, Царствие ему Небесное,говорил...Настанет, дескать, такое время, что из тьмы один мужчина будет верующий, а из тысячи одна женщина... Вот сейчас в городе-то пятьдесят ведь тысяч народу, а много ли нас в церкву-ту идет?

- А и то сказать - одна церква на весь город... Раньше-то их вон сколько было...

- И эта-то как осталась удивительно... И то ведь разоряли ее.

- Да, вера им что нож острый...

- Мы раз так-то шли, монахиню хоронили... Идем за гробом улицей, Святый Боже поем... А навстречу председатель горсовета. Он как услышал, кричит: "Это что такое? Прекратить! Замолчите!"

А мы на него не глядим, идем себе да и поем... Так уж вот он разозлился - видит, ничего не сделаешь, повернулся, да и пошел обратно...

- Это им - что нож острый...

- Так-то сказывают, вольный свет будет существовать, пока три праведника останутся... И два останутся, все еще будет существовать. А когда один останется праведник, то уж на нем вольный свет не устоит. Погибнет вместе с грешным народом.

- Я так слышала, дескать, пока еще дети есть от венчанных матерей и пока поют Христос Воскресе...

- А вот говорят, ежели под Светлое Христово Воскресение в двенадцать часов прийти на кладбище, к родным-то могилам... А часы поставить по-церковному... Ровно в двенадцать часов приложи ухо к земле, к могиле, да и скажи: Христос Воскресе! И вот услышишь, какой гул пойдет под землей-то... Как мертвые-то тебе ответят: Воистину Воскресе!

- А то я еще слыхала, как идешь через кладбище, погостом...

- Погоди. Уж открывают?

- Открыли.

- Ну, поднимайся...

- Вставай.

- Пойдем с Господом.

- Ох, грехи наши...

- Господи Иисусе Христе, Царица Небесная, помилуй нас, грешных...

март 1971

На толкучке

- А-а-а... Сегодня это что за базар? Вот в прошлое воскресенье...

- А куда она мне?

- Бери, бери! Чего смотришь?

- Ну и нечего глядеть!

- Вы говорите такую цену и не стесняетесь?!

- Это ведь шуба, не пальто...

- Дырявая шуба.

- Сам ты дырявый!

- Кругом одна дырка!

- Постыдились бы бесстыдство свое показывать!

- Это что это у вас лохматое? Шиньон?

- Шиньон.

- Ну, и сколько?

- Тридцать рублей... Его расчесать можно.

- Да ты померяй, померяй... Самый сейчас модный сапог!..

- В прошлое-то воскресенье тепло было...

- Бог-то, видать, совсем уж старый стал. Все путает - когда дождь надо, когда чего...

- У меня была ротонда на лисьем меху...

- Ротонда? Это что за ротонда?

- Все я продала, все у меня было. Какие у меня были сережки с бирюзой и с аметистом. Я работала в поликлинике, и лучше меня из сестер никто не одевался. Потому что мне сестра из Москвы присылала. Эх, всего я поносила, всего покушала. Икорку кушала и рыбку...

- Рыбка-то вон и сейчас есть. Треска...

- Да и той нет...

- Если бы у меня был жив зять, я бы так не бедствовала...

- Вот, бери одеяло...

- Нужно оно мне, как на Петровку варежки!

- Да ты мне ее так отдай, впридачу...

- У меня давалка-то не на палке, была бы на жерде, совал бы везде! -

- Это сестрина кофта. Болела она крепко. Теперь схоронили... Осталась я одна, как куст обкошенный...

- А деньги-то на поминки приготовила ли? Припасла?

- А куда они мне? Я уж есть не захочу... Заваняю - придут, похоронят...

- Поверх земли-то не положут...

- Где этот цыган-то тут вертелся? Не видали? Я ведь ему

полтинник за двугривенный сдала!

- Уж он убег...
- Вы скажите, какая ваша цена?
- Ну, рублишку я дам...
- Рублишку? -
- Это же рухлядь, рвань!
- Ведь это - бывалочная вещь...
- Ей, может, сто годов!
- Самому тебе - сто годов!

- Вот всегда так. Пойдешь на базар, какая-нибудь очередь прицепится. Ну и стоишь...

- Я себе в питании не отказываю. Я тогда только себе отказываю, как придет пост. А в мясоед я себе ни в чем не отказываю.

- Я всех схоронила. Одним раком. Семь человек умерли одним раком.

- Меня все лечил еврей, да пользы никакой. Он терапеи лечит.

- У вас, говорит, рак в шестом, в седьмом поколении в крови.

- Вот она - хозяйка.

- Шапка беличья. На нее дождь пойдет, высохнет, и опять она такая же...

- Да больно дорого...

- Купи в магазине...

- Бульдозер на Луну запустить - это мы можем, а чтоб шапки свободно были, это мы не можем...

- Видал у галки свигалку...

- Он уж, почитай, с третьей живет...

- А чего тут дивного? Как раньше у цыгана лошади, так теперь у мужиков бабы...

- Америка нас не боится. Она нашей войны боится.

- А мы боимся ее техники. У нас таких орудиев нет.

- В Америке дамы с собачками гуляют, с веерами на лавочках сидят. А у нас этого нету.

- Он вчера бушевал. Он вчера был выходной.

- Нечего смотреть да разглядывать... Она ни разу не стиранная.

- Он у кого-то стянул велосипед. У него сроду велосипеда не было.

- Вы возьмете, другой возьмет, вот она и грязная!

- Он потому уехал, что он жену убил. Не жена она ему, а наложница...

- Дорого просите...

- Тут жила татарка. У ней муж порезал Бориса и тоже

скрылся...

- Чего там дорого? Эти деньги теперь, как мясо в жару...

- Мне на ремонт три ведь тыщи надо...

- Три тысячи?

- Старыми три...

- Тыфу!.. Что ты все старыми считаешь?

- Мы ведь его, дом-то, ставили на старые...

- Да, бери, бери, не бойся! Она шунчовая. Дочка с фабрики принесла. Они там все чистое такое работают - полотенца фланелевые, ш у н ч у...

- Хы! Все бывает. И у девушки муж помирает, а у вдовушки живет...

- Сама-то ты на гуще, а любишь на дрожках.

- У нас в улице как взялось гореть... В понедельник дом сгорел. Во вторник. В среду - три дома... И чего горят?..

- Все, подчистую! Вор-то ворует, хоть стены оставляет, а пожар-то нет.

- Не говори. Вон у нас хозяева-то хоть вытащили так кой-чего, а квартиранты их и на работе были. В чем ушли - в том и остались. Одни фуфайки - ни ложки, ни плоски...

- Покажь, покажь! Сегодня - не Казанская!

- Что? Денег жалко?

- Вон на вино им не жалко!

- Дуют, как квас в покос!

- Старая ты, а дура.

- Дура?! Это я - дура?! Скотина ты! Скотина и есть! Скотина безрогая! Я те дам - дура! Умная! Твоими бы мозгами мне задницу подмазать!

- У Клавди-то слыхала, чего было? Она своєю на пятнадцать суток оформила. Он отсидел, вернулся домой и говорит ей:

"Я, говорит, там пятнадцать суток все парашу выносил да нюхал..." Взял горшок-то ночной, дети напрудили, налил ей полстакана... "Пей!" - говорит. Она не хочет. А он взял кочергу. "Башку, говорит, отшибу!" Ребятишки-то и говорят: "Пей, говорят, мама, ведь убьет". Ну, она и глотнула. И теперь милиция не знает, каким его судить судом. По какой такой статье...

- Что делается...

- Твой-то работает?

- Как же, заставишь его. Ходит к пристани кой-что выставя...

- Я снохе купила, да вот не хочет носить... Немодное!

- Плохо живете?

- Можно бы хуже, да некуда. Я ведь и то им говорю: вот придете к холодным-то ногам...

- Хуже нет, как брать коммунальных-то этих, каморочных.

И по дому ничего не сделает, и в огороде от ней проку нет...

- А с ними разве можно ладить? Это - змеи. У нас в улице их много. Летом выйдут, я смотреть не могу! Я их еще зову - вешалки. Они на мальчишек-то вешаются. Прямо вешалки и змеи шипучие!

- Ну и молодежь пошла! Плюнешь в рожу - драться лезут!

- Разве это - базар? Вот в прошлое воскресенье...

декабрь 1970 г.

Понедельник

- Раздевайтесь! Кому говорю, раздевайтесь!

- Да мы не сядем...

- Не отпущу, не отпущу, не отпущу! Это вам кафе - не забегаловка!

- По одной кружке...

- Ни по кружке, ни по полкружки! В пальто ни одного не обслужу!

- Вот ведь какая вредная... Люди на работу спешат...

- Перед работой и пить нечего.

- Подержи-ка пальто.

- Привет, блудные сыны!

- И ты уж здесь?

- Чердак болит - надо чего-то делать...

- Небось баба-то деньги на обед дала, а ты - на стакан.

- Тут тебе обед, тут тебе и завтрак.

- Пиво-то не больно хорошее.

- Вроде бы как подсолненное.

- Эх, вот я в Костроме был - там и пиво! И палатка на каждом шагу, прямо из цистерны дуют. И вино тут под видом пива, и бутерброды... Пивовар у них хороший - вкусо в самую точку попадает. И пьяных-то у них не видать, не как у нас - валяются. Выпьешь за углом два стакана, да без закуски... Вот тебе и все. А там этого нет. Там чинно, благородно. Пару кружек да бутерброд...

- Еще по одной?

- Вали!

- Не опоздаем?

- Ничего не сделается...

- А вот я в Саратове летом был. Там тоже пиво - сколько хочешь. Приезжает прям в улицу железная бочка, как у нас квасом торгуют. И все валят - кто с ведром, кто со жбаном, кто с чем...

- Это что... Тут в шестьдесят третьем, кажись, году - морозы-то зимой были сильные... И вот у нас на межрайонной базе все красное вино - вермут там, портвейн - все замерзло. Да бутылки и полопались... Ну, чего?.. Списали все... А мужики, кто на базе работает, достали чан, развели костер и давай их греть прямо с осколками. Потом через решето процеживали... Тоже ведрами домой таскали. Вон у меня брат в ГАИ работает, рассказывал. В Чудинове на шоссе машина с водкой перевернулась... Все до одной бутылки побились... Ну, водка вся в канаву стекла и так-то

лужей стала... Милиция еще только едет, а мужики чудиновские уже на четвереньках ползут... Ведь что удумали?.. Тряпки в луже мочили и в ведра выжимали. Откуда-то у них тут и тряпки, и ведра сразу взялись... Еще милиция только едет, а уж они на четвереньках ползут...

- Привет.

- Трешь, мнешь, как живешь? Яйца катаешь, как поживаешь?

- Живем по-херовски, курим папироски...

- Раздевайтесь, так неотпущен!

- Давай пальто поддержи.

- Ты чего так пьешь?

- У меня баба заболела. Рот открыла, закрыть не может. Орет, орет... Совсем сбесилась.

- Ну, да. Вальс - плиз! Две коленки вверх, две вниз...

- Ты чего пьешь, не торопишься?

- Пускай мастер торопится. Мне - чего?

- Эх, работа...

- На той-то неделе мы хорошо работали. Четыре дня энергии не было. Асфальтовый завод, вторчермет, сельхозтехника - три предприятия стояли...

- Ну и чего?

- А ничего. Крановщик, видно, пьяный на машине ехал, да провод и оборвал. Они в тот же день его уделали, а потом три дня начальники спорили: ты плати! - нет, ты плати, нет, ты... Четыре дня. Акт не подписывали. А всего-то дела - надо было монтерам на литровку дать...

- Вот где смех, килограмм двадцать...

- Смех смехом, а она все кверху мехом.

- А ты - чего? На больничном был?

- В командировку ездил, елки зеленые...

- В Москве побывал...

- Да ни хера я ее не видел, Москву-ту!

- Пьяный был?

- И то бы лучше... Дачу одному уделывали...

- Дачу?

- Вот, елки зеленые, чего бывает. Вызывает меня мастер. Говорит: "Надо на несколько дней в Москву съездить".

- "Не могу, - говорю, - я сейчас крышу крою".

- "Нет, - говорит, - я больше такого человека не найду. Не подходит больше никто к этому делу..." Ну и поехали. Начальник, мастер, шоферия. На пульмане, ЗИЛ-150. Полный был загружен. Я после-то узнал. Нашей конторе плиты бетонные во как нужны. А этот, чья дача, он в Москве плитами заведует... Дескать, вы мне дачу уделайте, а я вам-плиты... Сам начальник конторы поехал,

елки зеленые... Работал у меня - я как за бригадира был. Мы там все четверо вкалывали, будь здоров - по шестнадцать часов. У нас в пульмане - кольца бетонные, трубы, тес. Колодец ему вырыли, насос поставили, бочку для душа на три метра захерачили... Доволен, гад, был. Все рыбкой сушеной угощал, лещиками... Начальник-то с мастером пить боялись, а я - мне чего? Наливай! Чудеса, елки зеленые!

- Вот.

- Вот. Дали ему год, отсидел он двенадцать месяцев и вышел досрочно...

- Айда, ребята...

- А ты чего?

- Я еще посижу. Ничто им... Башка трещит...

- Здорово!

- Ты чего?

- Я ногу сломал...

- Вот елки зеленые!

- Если бы ты ногу сломал, ты б сейчас здесь не был.

- Пошли, ребята!

- Не, честно... Я, понимаешь, ногу сломал. С воза упал. Я сейчас в отпуске. В деревне, у матери. Дочку привез в интернат. У меня жена в девятый раз с ума сошла. Она у меня у тещи, у своей матери. Девчонка все понимает, двенадцатый год... Не хочет в интернат. Я тут близко над стеклянным магазином живу. Мне две комнаты от фабрики дали. Я сейчас в город от матери ехал, со мной кондукторша знакомая попалась. Моя первая любовь. В армию меня провожала. Плакала. Теперь замужем, двое детей. Денег с меня не взяла. Я теперь сам не свой. С воза свалился, ногу сломал... Я там в совхозе подрабатываю. Я с вилами наверх залез, а тракторист дернул. Вот до сих пор все болит. К врачу надо идти. Я у матери утром курице голову оттяпал. Суп сегодня будет. Я сам - в отпуске. Жена у меня, понимаешь, в десятый раз с ума сошла... Слушай, парень, будь друг, купи мне пачку "Прибоя"? Спасибо, друг... А может, еще по одной выпьем?.. Не хочешь? Ну, не хочешь - как хочешь...

декабрь 1970

В предбаннике

- Ну, чего? Еще разок? С веничком?

- Погоди ты... дай отдышаться... Больно горячо...

- Да разве это пар? Из трубы хера ли это за пар? Мокрый да вонючий...

- А тебе б в Раю жить, да чтоб у святых ноги не потели...

- Вот в Ульяновской губернии, там они так не парятся...

- Какая тебе Ульяновская губерния? Балда ты огуречная... В Симбирской губернии... Это теперь она Ульяновская. Область...

- У меня вон дедушка восемьдесят шесть лет, а сам еще в баню ходит. И обязательно парится...

- Это и у меня дедушка ходил. Восемьдесят девять было...

- А что? Помер?

- Год уж ему... Так тихо, спокойно умер. Только вздохнул разок, и все... А день-то был, пенсию носили... Только он умер, минут пятнадцать почтальонка пенсию несет... Я-то уж в окно вижу, она идет. Она где чай выпьет, где кофий выпьет, где ей двадцать копеек за пенсию дадут, где - что... Вот и шляется, долго не идет. И вот, гляжу, она идет, а он еще тепленький... А я его так на бочок положил. Так-то сделал, будто он спит. Она заходит. Я его за плечо подергал: "Дедушка, дедушка!" Он, будто, ничего... Говорю ей: "Может, вы без росписи выдадите?" - "Нет", - говорит. Такая вредная попалась. Ну, я еще его подергал: "Дедушка, дедушка, вставай!" Он - ничего... Я говорю: "Болеет он у нас...Может быть, дадите?" - "Нет", - говорит. Ну, что делать?

Дернул я его еще разок. "Ах, ты, - говорю, - ведь он умер..." - "Ах", - говорит. "Ну, ведь, - говорю, - он ведь только что умер". "Не могу, - говорит, - дать". - "Ну, - говорю, - может, вас пять рублей устроит?" Пять рублей ее устроили...

- Да, как помрешь, так уж тебе ни пенсии не надо, ничего...

- А может, ему чего и надо, да ведь уж он не скажет тебе...

- Душа-то, ведь она куда-то девается... Может, не в Рай и не в Ад, а все ж куда-то...

- Или вот еще толкуют, говорят: кто был раньше - яйцо али курица?.. Так ежели она, курица, будет, она сколько тебе яиц наладит?..Или вот страус... У него яйцо - во! - с твою голову...

- Да, природа, она есть природа...

- А вот ты мне скажи, из чего комар создался? Он тут у уха пищит, пищит, так и лезет...

- Он пищит, по-своему визжит. Своих созывает.

- Да, каждый по-своему кричит. Бык по-своему, курица по-своему, и вон петух - по-своему... Пошли, что ли?

- Погоди, дай взвеситься... Это с какой же руки тут считать? Это что же у меня - девяносто?

- У тебя-то девяносто?

- Известное дело - бараний вес...

- А он пол-литра выпил, вот тебе и полкило весу...

- Он у нас не пьет.

- Что ж он татарин, что ли?

- Это раньше татары не пили. Теперь жрут больше русских...

- А ты чего молчишь?

- Вон у нас татарин-то...

- Вино Пророк запретил. А он почему запретил? Он туда шел, видит, люди пьют, веселятся, песни... "Вот, - думает, - хорошо. Дети мои делом заняты". А обратно он шел, смотрит: кто где - кто в озере, кто в луже, кто на голове стоит... Безобразия такое. Он и запретил...

- У нас один в улице бросил пить, как цена на водку поднялась. "Все!" - говорит. Так и не пьет.

- А! Какая цена на нее ни будь, все хватают...

- За любую цену возьмут. Нас, дураков, еще угол непочатый...

- А есть, кто по здоровью не пьет...

- Есть чудачки...

- Это со мной случай был... Мы с училища летели, с Алматы. Летим - три курсанта... А там у них был пленум ЦК, ихней там компартии. Ну, летим втроем. Две бутылки коньяку тогда взяли да красного. Ребята впереди двое сели, а я сзади. А рядом со мной мужик у окошка. В костюме. Ну, взлетели... Я стюардессу - раз: "Тащи четыре стакана". А он тут сидит у окошка. Ну, я разливаю своим и ему: "Давай, мужик!" - "Нет, - говорит, - я не пью. Желудок, - говорит, - не позволяет..." - "Да брось ты, - говорю, - чем заболел, тем и вылечишься". - "Нет", - говорит... И все... Ну, мы выпили, летим. А видимость так хорошая. Он все в окно глядит: "Ах, сколько земли пропадает..." - "Да брось ты, - говорю, - мужик! В союзе земли много..." - "Нет, - говорит, - это моя стихия". - "Ну, - говорю, - у меня другая стихия". Наливаю опять. "Ты лучше выпей". А он все: "Сколько земли пропадает". - "Да брось ты, - говорю, - расстраиваться, мужик..." Яуж тут по плечу его хлопаю... "Давай выпьем!" Нет и все... Ну, тут мы уже обе их раздавили и красное... Ладно. Прилетаем в Москву.

Гляжу, ему - особый трап. Он шляпу надел и в "Чайку"... У меня глаза на лоб полезли... Спрашиваю стюардессу: "Кто это мужик летел?" - "А, - говорит, - это министр сельского хозяйства всего союза". А я его по плечу...

- Это он, может, в самолете не пьет. А так-то дома, под икорку...

- А чего? Я тоже без закуски не пью...
 - Налью тебе стакан, пить не будешь?
 - Не буду.
 - Ну, это ты скажи тому, кто не знает Фому, а я - дядя ему.
- июль 1971 г.

Прошное воскресенье у меня с утра трещала голова, и я решил пройтись по городу. Сначала потолкался на барахолке, ходил мимо развешанного на заборе тряпья и разного старого хлама, разложенного прямо на снегу. Потом вошел в самый базар. Не выдержал - с жадностью съел у прилавка замерзший соленый помидор и такой же ледяной огурец. Больше было тут нечего делать, и ноги понесли меня по направлению к столовой "Заря", где, как я знаю, изредка бывает пиво.

В просторном и неопрятном зале было немногочисленно. Посетители сидели строго разбившись на два лагеря - поближе к кухне те, что пришли поесть, поближе к буфету те, что пришли выпить пива или портвейну. Я купил у буфетчицы кружку и пошел к столику у окна. За ним сидел в одиночестве крепкий тридцатилетний паренек с красной физиономией и оттопыренными ушами. Одет он был почти щегольски - шерстяная рубашка и добротный синий костюм. Пиво пил важно и сосредоточенно.

- Разрешите? - сказал я.

Он молча кивнул, и я уселся. Говорить и мне не хотелось. Каждый из нас был занят своей кружкой. Моя кончилась быстрее, я встал и подошел к буфету.

- Повторить? - услужливо спросила буфетчица и налила мне новую порцию.

Я вернулся за столик.

В зал вошли еще три человека. Оглядевшись, они приблизились к моему соседу и молча пожали ему руки. Потом, очевидно решив, что мы с ним собутыльники, поздоровались и со мною.

Один из них - личность примечательная. Высокий, худой.

На лице и на переносице несколько глубоких царапин. Нос опух, и нельзя разобрать, природная на нем горбинка или благоприобретенная. Глаза совершенно заплыли. Пестрый бумажный свитер, под которым скорее угадывается, чем виднеется расстегнутая черная рубашка...

Двое других - шестерки. Один такой серенький с припухшими губами, а другой - белобрысая челка и носик выемкой.

Эти двое принесли пиво и стаканы, куда немедленно был налит цвета марганцовки портвейн. Мне тоже предложили, но я отказался. Они осушили стаканы, запили пивом.

Сначала заговорил Юрка - тот самый, солидный, в синем

костюме, к которому я подсел.

- Прихожу, понимаешь, с работы - матери нет. Я в гардероб. Смотрю, нового пальто тоже нет. Я - к соседям. Говорят, не бывала. Я - к снохе. И тут нет. Я туда, сюда... Иду в больницу.

Точно, говорят. В Горький отправили. В больницу. Рак у нее. Желудка. Мы со старшим братом к врачу ходили. Говорим, нам-то хоть скажите. Рак, говорит, желудка. Ей-то не говорят. Хронический, дескать, гастрит у тебя. И есть ничего не может. Только молоко, сметану... Тут недавно прихожу, говорит: "Юрка, чего-то пельменей хочется". - "А чего? - говорю, - мясо у нас есть. Много ли нам вдвоем-то надо? Давай накрутим". Ну и накрутили. И вот, поверишь, только что четыре штуки съела - вырвало. Шестьдесят два года. Сколько еще протянет?.. И младший брат вернется, чего будет делать?..

- Толька? - сказал Витек, худой с разбитым лицом.

- Ну! - подтвердил Юрка, - Это ведь какой жук! Он в зоне, мне ребята говорили, он там работает, как лось... А выйдет - все. Ему какая хочешь зарплата, хоть шестьдесят рублей, только бы ему не работать. Только бы ему ни х... не делать. И, главное, хитрый ведь какой. Вот ты ему говори - он тебе поперек ни слова. Как будто соглашается. Знает, старший брат. Будет спорить, я же на него наору. А отойди ты на два шага, все по-своему сделает. В зоне вкалывает, а тут не хочу - и все!

- Он вообще чужак, - сказал Витек. - Вот он мой ровесник. Двадцать семь ему, а уж он почти червонец сидит. Только выйдет, его обратно в зону тянет...

- И там он работает, как лось, - сказал Юрка. - Чего теперь будет делать, не знаю. На мать уж надежда плохая. Старший брат - у него семья. Сестренка у нас в институте учится. Хочешь не хочешь, а каждый месяц - тридцатка. Ему бы какая ни зарплата, только бы ничего не делать. Я в Прибалтику уезжал, на асфальтовом заводе работал. Говорю мастеру: "Возьми братишку на мое место". Там три дня в неделю работаешь, остальные на Клязьме лежишь загораешь. И меньше ста восьмидесяти не получается. Если ты там два дня прогулял, бригадир никогда тебе ничего не скажет. Ноне пятнадцать же дней. Тут тебя уж никто не покроет. А мать у меня такая. Никогда денег не спросит. Сколько ей в получку принес пять рублей - пять. Сто семьдесят - сто семьдесят. Никогда не спросит. Положил на швейную машину и все. Утром говорю: "Мать, мне похмелиться надо, дай два рубля". Без звука...

- У меня такой характер, - сказал Витек, - сколько денег есть, только стакан попал - все! Все пролетят. Ты вот ухитрялся три раза в день напиться? А я почти каждый день так... Лечиться

думаю.

- Мне лечиться ни к чему, - сказал Юрка. - Я захочу - не пропью. Тут мать приходит, говорит, в ателье материал есть по двадцатьчетыре рубля метр. "Цвет, - спрашиваю, - какой?" - "Черный, - говорит, - без полоски". - "То что надо". А денег ни копейки. Так вот, веришь, я из аванса три рубля пропил, а из полочки - два. Нет, и все! Или вот я в Прибалтике жил. Двести сорок зарплата, девяносто командировочные. И все подчистую пропьешь. Иной раз на питание не хватает. Придешь к семейному: "Дай десятку, на питание не хватает". Вот дочего доходил. А тут отпуск. Ну, думаю, мне деньги будут нужны. Целый месяц тут надо гулять. И как отрезал. Говорю: "Не высылайте мне зарплату. Только командировочные". На питание хватало - во как! В воскресенье бутылку возьмешь, и нормально...

- Нет, у меня все летит, - сказал Витек. - Характер такой... Слышал? Казбек из особого в строгий перешел? "Через четыре года я, - говорит, - опять тут буду". Понял?

- У него ведь побег отсюда, из нашей зоны был, - сказал Юрка. - Я тогда в милиции на "Победе" работал. С автоматчиком его вывели, посадили в машину. С тех пор я его не видал.

- Не, ты соображаешь, особый на строгий? - сказал Витек.

- Значит, он чего-то там думает...

- Таких артистов сколько хочешь, - сказал Юрка. - К нам, помню, прокурор по надзору приезжал, рассказывал. До 1 ноября шестьдесят девятого года в "крытке" легче было, чем в строгом. Так такие есть артисты. Он тебе такое нарушение сделает, что срок ты ему не добавишь, а в крытку перевести надо. Таких артистов сколько хочешь. Или вот симулянты. У нас в зоне многие на аппендицит косили. Скажет все признаки, ну, его и режут. Каждый день - операция. Полбарака резали. Ну, одного они все ж поймали. Он все признаки сказал, а его врач и спрашивает: "На каком, - говорит, - ты боку спишь?" А он и скажи: "На левом", - говорит. "Иди - говорит, - отсюда, симулянт". А там оказывается, на левом спать - он еще хуже болит. Кишки как-то там натягиваются. "Иди, - говорит, - отсюда, симулянт".

- Тащи еще пиво, - сказал Витек белобрысому с выемкой на носу. - У тебя вроде червонец был?

"Выемка" неохотно вынул аккуратный бумажничек.

- Я его разменял.

Я вынул рубль и положил на стол. Рубль взяли не сразу, и "выемка" с "сереньким" пошли за новой бутылкой марганцового портвейна.

- А помнишь, у нас война была? - сказал Витек. - Поверишь, по шестьдесят человек выходило с ножами, с палками, с обрезам

- кто с чем. Ярцевские на городских. Драка была - что ты. Шесть человек в больницу отвезли.

- Тут у нас как, - сказал Юрка, - в Ярцеве парк и в городе - парк. Там танцы и тут танцы. Ярцевских поймают в городе - бьют. Городских в Ярцеве бьют. Городские меньше чем по семьдесят человек в Ярцево не ездят. Вдесятером там делать нечего. И те так же... Ну и драка же тогда была. На суде потом только спрашивали: "Видели, как этот дрался?" - "Видели".- "Три года". - "А этого видели?" - "Видели". - "Два года". Так гребли, за милую душу...

- А помнишь, - сказал Витек, - парк хотели закрывать?

- Это из-за студента, - сказал Юрка. - Студента одного тогда ножом пропороли и в пруд скинули.

- На смерть? - сказал я.

- Нет, просто так порезали, - сказал Юрка. - Ну, девчонки из общежития вызвали скорую помощь. И пошло дело. У него мать оказалась партийная. Шум подняла. Из области понаехали. Думали парк закрывать,

- Да, было время, - сказал Витек, - я тогда без ножа из дома не выходил. Всегда с ножом. А теперь вот боюсь. Как пьяный "мусора" увижу, так бежать. Не хочу опять в зону. Надоело. Я ведь в пятнадцать лет первый разряд по баскетболу имел. И по плаванию. Меня в техникум без экзаменов брали. Знаешь, какой парень был... А потом стал закладывать, и пошло...

"Выемка" и тот, "серенький", притащили еще одну ноль восемь. Я опять отказался от стакана и купил себе еще пива.

-Давай познакомимся, - сказал Витек, когда я вернулся с кружкой. - Я ведь думал, ты Юркин друг.

Мы еще раз церемонно пожали друг другу руки.

"Выемка" разлил портвейн, и они выпили.

- А помнишь, как с солдатами дрались? - сказал "серенький".

- С солдатами драться не надо, - сказал Юрка. - Чего с него взять. Он по своей воле, что ль, сюда приехал? Это еще хуже, чем в зоне. Там ты хоть знаешь, за что сидишь. Украл, убил или там подрался. А солдат - чего? Приходит он домой, а ему повестка: кружка, ложка и поехал... Чего его бить, он не виноват.

- Нет, - сказал Витек, - я тебе говорю: с солдатом лучше не вяжись. Шел я тут мимо части ночью. Смотрю, солдат девку у забора наладил. Я его за плечо, говорю: "Я - второй". А он мне: "Пошел ты..." - говорит. Я ему в рожу. Он мне. Ну и понеслась...

Тут я наверх глянул, через забор еще лезут пять рыл. Ну, я - бежать. Откуда только ноги взялись... С солдатом лучше не связывайся.

- А чего с ним вязаться, он не виноват, - сказал Юрка.

- А ты сам кем будешь? - спросил у меня Витек.

Пришлось представиться.

Витек свистнул.

- Это хуже чем прокурор,

- КГБ, что ли? - сказал "выемка".

- Хуже, - сказал Витек.

Тут я попросил разрешения как-нибудь отыскать его, чтобы потолковать по душам.

- Х... с тобой, - сказал Витек, - приходи. Только пораньше приходи. Вон Борька меня почему сегодня поймал, он в полседьмого пришел. Я еще сплю. А так бы ни х... он меня не нашел. Я уж пошел шляться. Я жене зарплату до копейки приношу. Девяносто рублей. Я ее никогда не обижаю. Ограблю кого или там что - ей всегда пятерка, десятка. Она мне только говорит "Не надо мне твоих никаких денег. Только ты не пей". А я не могу. Как стакан попал, так все... Дочка у меня два с половиной года. Любит меня, ужас как. К ней не идет... "Я, - говорит - к папе". Я иной раз по пьянке думаю, повеситься мне... "Мне, - говорит, - денег твоих никаких не надо, не пей только... Ты на себя посмотри, весь ты порезанный, поцарапанный... То ты с ножом идешь, то с молотком, то с топором...". Ну, х... с тобой, приходи... А только я не думал, что ты это... Я думал, ты из щипачей.

В четвертой кружке пиво оказалось каким-то водянистым и кисловатым на вкус. Я с трудом допил и поднялся из-за стола. На прощание Юрка сам мне вручил свой адрес.

- Заходи, - сказал Юрка. - Особенно летом. В июне. У меня не дом - дача. Раздевайся, загорай. Клязьма - рядом. Яблонь у меня тридцать штук, а вишен не счесть. Заходи.

Я еще раз пожал руки всем четверым и вышел на солнечную мартовскую улицу.

1971 г.

Миллион двести тысяч

- Садись, садись... Свободно. Присаживайся. Она сейчас уберет. Чего? Обедать пришел? Тоже хорошее дело. А я вот пиво пью. Между прочим, сейчас его в городе нигде не достанешь. Только в ресторане.

Я сегодня с женой поссорился, а ну тебя, думаю... И пошел пиво пить. Городишко у нас паршивый, куда денешься? Только в ресторан... Тут чего - льнокомбинат, текстильные фабрики, незамужние ткачихи составляют большинство. Завод осветительной аппаратуры, его пока заключенные строят. Да вот наш учебный центр, считается ДОСААФ... А я - инструктором. Летчик не летчик, а вроде того... Не то в армии, не то на гражданке. Не поймешь. Я под миллион двести тысяч попал. Слышал тогда? Хрущев пошутил в шестидесятом году. Нас парней таких молодых, здоровых... Миллион двести тысяч.

Чего я тогда был? Курсант, идеальный человек. Двадцать пять пачек Беломора нам давали... Девушка, еще пару бутылок... А как получилось? Кончил я первоначалку, попал в боевое. В Кинешму. Инструктор у меня там был Рубакин. Такой спокойный человек. Не ругался даже. Один только раз обозвал меня. Мудак, говорит, ты... Инструктор - бесподобный. Он теперь в пилотажной группе...

Приезжаем в Кинешму. Там такое помещение - что ты! Всюду паркет. Мы там пол не мыли - полотером его. Там до пятьдесят третьего года учились немцы. Вот для них и расстарались. Паркет, в туалете кафель... Между прочим, немцы - они на желудок слабые. Поносят, дрищут... Мне инструктор-старик рассказывал. Как лето, так они поносят. Не с кем летать... А Рубакин теперь в пилотажной группе. Его все знают. Персидский шах приезжает, а он на сверхзвуковом начинает дорываться. Он, между прочим, там у них погорел. Из-за этого дела. Закладывает. Сейчас насчет этого строго. Был капитаном, срезали до старшего. Можно было выгнать его, но пилотяга бесподобный... это раньше было. В шестьдесят первом, в шестьдесят седьмом. Ребята гонят самолеты с Москвы, с парада. Летят парой, расстояние пятьдесят метров - видят друг друга. По радио: "Давай?" - "Давай!" Вынимают по четвертинке, раскрутили и туда ее... А сейчас строго. Пульс, давление. Если сомневаются, трубку тебе дадут на анализ. Иначе нельзя.

А вон Гагарин-то с Серегиным. С похмелья они были с великого. А там, между прочим, руководителя полетов оправдали вчистую. Он им так и сказал: "Я запрещаю вам". Но ведь Гагарин.

А Серегин-то был командир полка. Взяли машину, взлетели и понеслись... Они брали сверхзвуковую скорость на неподходящем типе. Самолет-то непригоден. Пастух стоит - бах! - сверхзвуковой хлопок. Очевидец-пастух рассказывает. В километре от него под углом семьдесят градусов. Ну как так можно? Скафандр с головой в сторону, сигара в земле... Искали их в течение месяца. Как археологи. Найдут кусочек мяса, кисточкой его и - в институт. Найдут деталь и - в институт. Сам он виноват. Не может быть, чтобы летчик погиб так по-дурацки. Серегин-то полковник простой, ему бы там в кремлевской стене не лежать никогда. Самолет, видимо, разрушился. Он для этой скорости не приспособлен.

Не говорят нам всю правду. У нас вот приказы бывают, если кто разбился. А о Гагарине приказа не было. Их вертолетчики тогда искали, рыскали... А очевидец - этот пастух. Первый раз, говорит, прошли - такой звук, чуть не упал. Второй раз, смотрю, сигара падает. Градусов под семьдесят... Девушка, еще бутылочку...

Да, пошутил тогда Хрущев. В мае шестидесятого года. Тысяча сто человек нас - ждем приказ. Или в часть, или на х... на гражданку. Двадцатого мая приказ. На гражданку. А мы уж летали, летчики... Оформляют, одевают в офицерскую форму... В июне выхожу на гражданскую. Жизнь только что начинается, и она бьет меня по мозгам. Хрущев мне тогда, сука, крылья подрезал. Я бы сейчас самое меньшее майор был по моему здоровью... Вот, говорят, пиво с солью пить нельзя. Печенку разъедает. А я скажу - чепуха. Если у человека есть здоровье, ни черта ему не будет...

Ну, выхожу на гражданку. Молодой я, диплом у меня. Прихожу на завод. Берут на испытание двигателей. Там двигатель реактивный ревет. Поставят его за бетонной стенкой, а ты глядишь в зеркало. И целый день ревет. Там мужики по пятнадцать, по двадцать лет работают. С работы идем, они выжрут по стакану и вот орут, вот орут... Там не орать нельзя. Глухие все на х... от такой работы. Я им говорю: "Чего вы орете? Тут же на улице дети". Идут, орут, матюгаются...

Я пришел к начальнику: "Ну тебя на х... с такой работой, я глохнуть не хочу". И меня в сборочный цех. По сборке двигателей... Вызывают в военкомат. "Поедешь на сборы в Вологду". А я в то время фуражку вот с таким бы козырьком надел, чтобы не видеть его, небо-то... Обижен я был ужасно... Миллион двести тысяч он тогда пошутил... Потом мастером по бетону работал. Вызывает меня подполковник. "Ты, - говорит, - летчик. Зачем ты в пыли ковыряешься? Езжай в Тулу в Аэроклуб".

Ну, я поехал. А там мне начальник говорит: "У тебя налета не хватает". А я ему: "У вас женщина работает, и вы меня не берете". Повернулся и пошел. Догоняет меня на лестнице. "Напиши, - говорит, - в Калугу, в Тамбов и вот сюда. Там, - говорит, - учебные центры". Ну, я написал. Думаю, откуда быстрее ответ придет, туда и поеду. Отсюда начальник, полковник Жаринов, сразу мне написал. Приезжай, дескать, но никаких квартир... Ладно, думаю, чего ждать? Х... на х... менять - только время терять. Приехал. Четыре года на частной квартире жил. Сейчас - все нормально. Квартиру дали - две комнаты. Мне только что обидно? Теперь приезжает летчик, он только, извини за выражение, из м... вылутился, а ему уже квартиру. А я четыре года на частной страдал... Начальник, между прочим, полковник Жаринов из Монины. Сейчас - в запасе. С высшим военным образованием. Он имел квартиру там, в Монине, а тут прямо у нас в центре жил.

Тогда чего были курсанты? На самолетах еще летали. Мальчишки - девятнадцать лет. Зашумят они там, он прям в трусах бежит наверх и начинает их по-всякому... Человек был страшный. Он не любил людей. Ему кинуть за борт человека ничего не стоило. Он был засранец в этом отношении. "Ты, - говорит, - мне не нужен". Идиот был самый полнейший. У нас в центре забор, а в нем - дырка. Так вот он по вечерам встанет около дырки, курсант из самоволки лезет, он его - хоп! Он имел, сволочь, квартиру в Монине, а сам тут жил. Там семья, а тут он один. Делать-то ему не х... На танцплощадку ходил. Чего там - мальчишки восемнадцать-девятнадцать лет. Он туда приезжает на машине. Курсанты как увидят его - полковник! - и через забор. Потом летчики все поднялись, все-таки убрали его от нас. И все были рады - легче работать. И, между прочим, он, если речь с курсантами говорить будет, обязательно начнет с туалета, с уборной... И этим же кончит. Как штык. "Вот, - скажет, - вы приходите садитесь в туалет. Прежде чем сесть, ты наметься, наметься туда. Посмотри, а потом уже делай..." И речь дальше толкает... Вы все сволочи, и тому подобное...Ругает их, ругает... А в конце опять: "Прежде чем садиться, ты наметься, наметься. Посмотри, а потом уже клади..." Но он был хозяйственник. Кончил монинскую академию, "поплавок" имел. Умный мужик, хозяйственный. Но он нечеловечный был человек. Вот, как Хрущев ахнул про Сталина и про всех, и он мог так сделать... Еще бутылочку!..

Тут, между прочим, тогда и анекдоты были! Стоим мы на поле. В зоне курсант летает. Наш один инструктор смотрит, следит за ним... "Во... вираж сделал... бочечку... вираж... сейчас разгоняет на петлю... во-во-во... разгоняет... Падает! Падает!" - и к

руководителю полетов. Руководитель полетов вылез: "Где?!" Мы тут все преобразились... А это - коршун. Он курсанта-то потерял, за коршуном следит. Издали-то не видно. Коршун чего-то там увидел и - вниз! А курсант уже сел. Подбегают к нему: "Товарищ инструктор, надо пересадку делать". - "Как?!" - говорит. А он уж сел. Вот мы тогда смеялись... " - Падает, падает..."

А то еще... Когда пересадку делали, раньше у самолета двигатель не выключали. А сектор газа, он тут, с правой стороны... Вот раз у нас один курсант вылезал, да и двинул по сектору-то газа. Ну, самолет и пошел, мать вашу... Учебный самолет. У него все отрегулировано было. Руководитель кричит: "Убирай газ! Убирай газ!" А там - никого... Ну, набрал он высоту метров двадцать пять, и - вниз! Готово дело. Руководитель думал, кто убился. А там - никого... Только самолет в щепки...

Но на самолетах я недолго шастал. Только приехал, через год переучились на вертолеты. Самолеты эти в Казань перегнали. А работать я люблю... В каком отношении - во всяком отношении. У меня вот и медали, их ведь за хорошие глазки не дают. Только эту зиму - неудачно. У меня курсант сломал лопасть. Я не виноват, а меня обвинили. Я допустил спешку, я допустил халатность... О! Гляди, лейтенант пришел. Моя милиция меня бережет... Я тут был у них прошлый год, в апреле. У меня жена уехала, я на радостях пошел в кино. Ну, выпивши был, конечно, хватя... Подходят ко мне их двое. "Вам здесь находиться не положено". - "Как это - не положено? - говорю.- Я билет купил..." Ну, вывернули мне руки, в вытрезвитель. А на мне синий костюм был такой, нормальный. Приводят в вытрезвитель. "Раздевайтесь!" - "Х...! - говорю. - Не буду я раздеваться!" Ко мне старшина подходит лет так пятидесяти. Как боднет меня головой в живот, в поддых. Ну, я на диван у них повалился... "Ах, ты сука, - говорит, - падла... "Матюгами меня и по-всякому. И давай карманы выворачивать. А у меня, как нарочно, ни копейки. Ну, давай опять мне руки крутить... Я им говорю: "Давайте, крутите мне руки. Я не Мересьев, я простой летчик. Руку мне повредите, будете отвечать". Ну, они тут перепугались. "Иди, говорят, - отсюда". И квитанцию мне дали на штраф. Я на другой день в сберкассе двадцать пять заплатил и квитанцию им приношу. Говорю старшине: "Дурак ты, - говорю, - дурак. На двадцать-то пять рублей мы б с тобой как выпили. И в ресторанчике бы посидели..." А он молчит. Чего скажешь?.. Теперь, как в городе меня увидит, первый здоровается...

Но я свою работу люблю. У нас тут центр - может, один или два на весь Союз. Ко мне курсантики со всего Союза и с Липецка, и не знаю откуда приезжают. Лет по девять не летают. Приходят и

не знают, что такое вертолет. Вот и учи их. А если что, так сразу говорят: у тебя методика страдает, туда-сюда... Их сюда приезжает по сто пятьдесят человек, и ты за своих головой отвечаешь. А они, понятно, мужики женатые. А тут вырвутся - и давай! Чуть что - разбегаются на танцы в клуб. Официантки у нас в столовой тоже. Как новый заезд, так готовятся, ждут. Накрасятся, намажутся... Потом провожают, плачут. И опять новых ждут...

Так-то снабжение у нас в центре свое. Военная база. В буфете и колбаса бывает, и тушенка. Мы от города не зависим. Это тут ни х... в магазинах нет... Паршивый городишка... Вот зять у меня в Афинах, в Греции. Он там на нашей ГРЭС, в командировке. Он мне пишет оттуда: "Адриатическое море плещется за квартал от меня, но жратва здесь очень дорого. Чтобы мне один раз пойти в бар, я должен русскими деньгами платить три рубля с копейками..." Я ему все хочу письмо написать, чтобы он картинок переводных с бабами привез побольше. Как это ему в письме-то намекнуть, чтоб привез побольше сувениров. Вот у нашего полковника авторучка есть. Заглянешь, а там тебе - как хочешь, любые позы... Или вот еще для ключей... Это... брелки... Заглянешь туда, а там бабы голые. И телевизор есть такой маленький. Тоже на ключи нацепляется. Покрутишь, там тебе все - любые позы.

У нас в центре летчик один был - Комар. Между прочим, Владимир Михайлович Комаров, как космонавт. Мы его все дразнили. Так у него дядя - в Афганистане. Вот он его снабжал. У него такой телевизор был. А наш начполет, подполковник, морской летчик, он прямо его узурпировал. Отдай - и все! У подполковника своя "Волга". А Комар уперся. Не отдает. И уж он так его по службе гонял - целый год. То здесь ловушку сделает, то там. Душа у него была немного еврейская. Морской летчик. Отдай - и все! И допек. Прямо узурпировал. А Комар сам вроде такой тихий был. Из Владимира. Мальчишкой - карманник был. Первый вор. Вот такие лбы его слушались. Он без мыла в душу влезет... Давай еще по одной?

Не хочешь... Вот как бы мне это зятю в письме намекнуть, чтоб он сувениров этих побольше привез. На них спрос есть... Я вот сегодня утром с женой поругался. А, говорит, ты такой, ты сякой... Пошел пиво пить. Человек в жизни должен все испытать. Я считаю, надо жить широко. Хоть неправильно, а широко... А здесь городишка такой паршивый. Вот суббота, воскресенье - куда кинешь свои кости? Только что кино... Между прочим, о летчиках еще ни одного фильма нормального нет. Спокон веку... "Небесный тихоход", "Воздушный извозчик" - все не то... Вот кино бы надо

сделать про авиацию. А то все про работяг. Ну что работяга? Он, конечно, вкалывает. А надо сделать про летчиков. Конечно, лишнего не надо создавать... Как простые люди, по-простецки. Наша работа топорная. Это как в опере поется: "Отрежем! Отрежем! - Не надо! Не надо! - Где мои ноги? - Вот они!" - медицина в белых халатах, Мересьев на койке. Опера - "Повесть о настоящем человеке".

А так-то я не жалуюсь. Все нормально. Летчик первого класса. Летаю - не летаю, мне сто тридцать выложи. Ну и полеты с курсантами - три рубля восемьдесят копеек час. Пятьдесят-шестьдесят часов в месяц. И премиальные. Квартира - хорошая. Ребятишек двое: девчонка в шестом классе, пацан на будущий год в школу пойдет. Жена у меня институт кончила. Английский преподает. Адье, адье, май нейтив шо... Байрон. Прощание с морем. У него вообще судьба неудачно так сложилась. Любил он там одну, пришлось ему с Англии уехать... А я тебе так скажу: жизнь - сложная штука. И мы, люди, в ней, как мошки. Будь ты там идеал или там феномен, а все равно ты умрешь. И хочется после себя что-то такое оставить. Чтоб о тебе вспоминали... Вот сын у меня растет... Но это - не то. Это идет родословная... Надо, чтобы что-то после тебя осталось - музыка или еще какая-нибудь чепуха... Да... Человек ценится своей простотой и своим железным характером...

Март 1971 г.

Клязьма тронулась

- Время это так было около четырех часов. В середине апреля. Нет, в конце, Клязьма уж тронулась. Мост, я помню, уже убрали, но еще машины шли. И вот часа в четыре звонят в милицию из больницы. Доставлен председатель Удольского сельпо с ножевыми ранениям и в лицо. Преступление есть. Я - старший следователь. Надо ехать. А как ехать, когда Клязьма уж тронулась?..

Мы когда подошли к мосту, с понтона только одна доска метров десять. И вот, так она ходит вверх-вниз. Надо идти. Участковый у меня в сапогах, а я в ботинках. Ну, перешли. Там уж лошадь ждет и возчик. Поглядел он и говорит: "Ты в ботинках не пройдешь. Вон участковый в сапогах, он пройдет. Бери, - говорит мне, - лошадь, садись и езжай на Иваниху и Золотуху. А мы, - говорит, - пойдем пешком". Ну, сел я в кошелку, поехал по дороге. Доехал до Иванихи. "Как, - спрашиваю, - мне попасть на Золотуху?" - "Прямо, - говорят, - через озеро".

Доехал до озера. А тама вода. Лошадь зашла, только седелку вижу да голову. Плывет ли, идет ли - не знаю. Я - назад. Вытащил лошадь. Тут, гляжу, идет почтальон в резиновых сапогах. Я его и спрашиваю: "Где дорога на Золотуху?" Он говорит: "Только, - говорит, - через озеро". Сел он тоже ко мне в кошелку, тронули мы. Но-о, милая... И тута вода в кошелку как хлынет... И мы оба по пояс в ледяной воде. Переплыли мы так-то, а уж на той стороне, на гриве, на бугорке три уж лошади ждут. Я все себя снял, выжал одежду, штаны, кальсоны. Сел на другую лошадь, и тут уж мы благополучно доехали в самое Удолье.

И сразу идем в контору сельпо. Там бабы, мужики курят, матерятся. Все ждут советскую власть. И участковый уж там. "Вот, - говорят, - его теперь, сукина сына, накажут". А преступника тута нет. "Он, - говорят, - у любовницы". Пьет. Говорит, все ему нипочем. Говорит, Клязьма тронулась, теперь ни один дурак ко мне не сунется, не приедет. Я, говорит, теперь здесь главенствую. Что хочу, то и сделаю. Пьет, и бутылка у него тама, у любовницы.

А я в сельпо и говорю: "Бабы, выручайте, мне штаны надо, кальсоны..." Гляжу, уж все тащат. Штаны и валенки с галошами. Я надел все, а мое они сушить у печки повесили. А мужики тут вокруг сидят пьяные. Матерятся, курят. А мне брюки, кальсоны и валенки надели за первый сорт. Но наручники у нас с собой. Мало ли что он может начудить. Деревня ведь. Ну, как оделся, говорю: "Где он?" А мне бабы говорят: "Вон, через дом. Он тама пьянствует". А сами все боятся. Он им говорит: "Клязьма

тронулась, теперь - все? Я вас тут всех!"

Ну, мы тут же с участковым пошли в тот дом. С оружием, конечно. Может ведь оказать сопротивление. Пьяный...

Входим в дом, женщина в дверях встречает. "Не ходите, - говорит, - он злой. У него, - говорит, - ножик". Ну, входим мы, а он только нас увидел говорит: "Вот вы. А я вас не ждал... Клязьма, думаю, тронулась". Никакого сопротивления даже не оказал. Ну, взяли мы его и ножик взяли. На нем и кровь. А так-то он молодец. В одной руке бабу держит, в другой ножик. "Не подходи, я тут главенствую!" А нам никакого сопротивления... Ну, там и матом лаются и бабы и мужики. Бабы там - во задница, сиськи во, лапа.. Одна, я видел, с мужиком чего-то у них получилось. Он ее матюгами, а она как ему двинет. Так он с крыльца и полетел кубарем. Пьяные ведь тоже все...

Ну, привели мы его в сельпо безо всякого сопротивления. Только что матом очень лаялся. "Как это вы? - говорит. - А я ведь вас не ждал." А уж и ночь. Я тут всем говорю: "Идите, - говорю, - спать". А сам сел допрашивать. А он у меня в углу сидит и матерится. А я ему: "Си-ди!" Он только вскочит, бросится, а я ему: "Си-ди!" Ну, и допрашиваю. А тут сестры его крутятся: "Тише, Леша, тише..." А он: "Я их сейчас!.." Ну, я ему тут наручники. Он же пьяный. Говорю: "Си-ди!"

Ну, допросили мы его. Люди тут уже поразошлись. А он в наручниках все больше чудит... А тута мужик приходит знакомый. Говорит: "Вы, - говорит, - отдыхать будете?" Я говорю: "Будем. Только по очереди". Я участковому говорю: "Иди, спи до двух часов". А он говорит: "Поить ведь будут". А я ему: "А ты пригубь не больше ста пятидесяти и в два часа будь тут".

А этот все чудит. Ну, я взял у него один наручник, а в стене здоровенная скоба, я его - к скобе. "Си-ди тут!" И лавку ему придвинул, хошь - спи. А у них лавки широченные. "Вот, - говорю, - тебе и кушетка. Спи, - говорю, - как у тещи в гостях..." Ну, в два часа квартальный мой, Санька, пришел, как штык. И я тоже в этот дом пошел. Там закуска, угощают. Как же, советская власть! Я тпнул два вот таких-то стаканчика и спать.

Наутро прихожу в сельпо. Участковый тама. От стены он преступника уже отстегнул. Протрезвел преступник. Сидит он, башка у него болит. Присмирел. "Вот, - говорит, - вы - псы мировой революции явились". Так-то он нас назвал: псы, говорит, мировой революции. Ну, тут приходят мужики, родственники. Все - кум, брат, сват. "Надо, - говорят, - проводить его в дом. Пусть, - говорят, - закроет все. Чтоб был порядок". Ну, надо идти. Приходим мы к преступнику. У него в доме два стула, стол, лавка и кровать изо всей мебели. Все продал, пропил. На кровати

драный матрас, одеяло и подушка. Уж не знаю, какого она и была цвета. Он все пропил. Только оставил, что считал необходимое. И только кошка у него голодная больше ничего. Ну, в дом набилось мужиков, все они с водкой. "Давайте, - говорят, - выпьем. Вы же - советская власть, выпейте, - говорят, - с нами". Пришлось выпить по сто пятьдесят. "Не выпустим, - говорят, - иначе. Мы, - говорят, - сейчас отдыхаем. Время, - говорят, - такое, Клязьма тронулась. Нам ни пахать, ни рыбачить. Не выпустим, и все тут".

А потом и говорят: "Можно, - говорят, - ему, преступнику, пятьдесят грамм?" - "Нет, - говорят другие, - надо ему сто. А то у него голова болит". Ну, пришлось разрешить. Выпил он это и тут забегал по дому. А они его схватили. "Си-ди! - говорят. - Харю набьем! Тебя, - говорят, - за дело взяли. Ты, - говорят, - стерва. Мы тебе, - говорят, - дали из-за того, что у тебя, сукина сына, голова болит". И все один мат тама, все с матюжками.

"Ну, - я говорю, - нам надо ехать". Мне говорят: "Три уж лошади ждут". Я говорю: "Куда мне три-то?" Говорят "Надо". Дошли до сельпо. Тама три лошади. Первая - кошелка для меня, для следователя, чтобы ехал, как урядник. Уже все мое высушили, да бабы выгладили. Ну, оделся я, и ботинки сухие. "Но, - говорят, - уже нельзя озером ехать. Надо ехать только гривами, а там далеко".

Сел я в первые сани. Во вторые сани квартальный мой, преступник и возница. В третьи депутат, мужики и сестры его. Депутат на первом месте с возницей рядом. Он ему, преступнику-то, двоюродный. Правит тама всем. "Я, - говорит, - тута хозяин". А всего четыре класса. Деревня. Доехали до Заборочья. Мой возница у магазина стал. "Чего, - говорю, - ты?" - "Тех, - говорит, - подождем". Подъехали. "Тут, - говорят, - будем прощаться". Пошли за водкой. Преступник один, как сурок, в сене сидит. И квартальный сзади высится. У меня - никуда. Вытаскивают они водку и прямо в деревне посреди улицы начинают пить. Подносят мне первый стакан. "Выпей, - говорят, - у нас, - говорят, - иначе нельзя". Жареная рыба тут у них откуда-то взялась. Потом участковому моему подносят. Потом сами. Потом говорят: "Можно, - говорят, - ему пятьдесят грамм?" Пришлось разрешить. Он, преступник, выпил, только крикнул. "Братцы, - говорит, - а ведь меня увозят все дальше и дальше. К тюрьме, - говорит, - к Клязьме". А они ему: "За дело и увозят. Посидишь", - говорят.

Ну, опять и поехали все. Подъехали к Клязьме. Мы с квартальным свистим. На той стороне видят, что милиция. А уж лед идет вовсю. Кричим: "Давайте лодку!" Ну, лодка тут плывет, идет между льдинами. А они все, мужики, его тут целуют. "Прощай, - говорят, - сиди". - "Лет ведь пять тебе дадут". - "И за

дело". - "Прощай, - говорят, -Лешка". Ну, тут лодка подплыла.Сели мы: преступник, квартальный и я. Тут я все-таки на него наручники надел. А то - что у него в голове? Сиганет он с лодки. Ему - чего. Я ему говорю: "Си-ди! То-то!" А то ведь он в ледяную воду прыгнет. А лодка идет, качается. Льдины кругом. Тронулась Клязьма-то.

Ну, кое-как доплыли мы до берега. А тама будка. Я в милицию позвонил, и тут же нам машину прислали...И здесь уж он прямехонько в тюрьму... И вот сколько это времени прошло? Значит, вроде день один. Сутки. Точно - сутки...

август 1970 г.

Пастораль

- Хорошо тут на речке лежать да загорать... Ты чего, в отпуске?... А я вот пасу... Отдыхаешь, значит... Сам с Москвы?... А ты на турбазу-то едешь? Не едешь? Ну, зря... там тебе и танцы, и что хочешь... Я вот сам ездил туда раз семь на мотоцикле... Да не везет мне, никак не везет... У меня уж и жена была, месяца четыре с ней жили... Такая поб...шка попалась, куда там... Ковровская, из Коврова...

Я когда не пас, зимой, там в Коврове в ресторане кочегаром... А у нее там отец со мной работал. На мотоцикле... На четырнадцать лет была меня моложе... А отец на мотоцикле... Возил там мясо, муку - чего придется, мотоцикл с люлькой... А раз получаем мы с ним вместе получку, купили бутылку. Он и говорит: "Поедем ко мне выпьем". И еще покрышку для мотоцикла у него хотел взять... Он говорит. "Есть у меня покрышка..." Старенькая такая была покрышка... Пять рублей я за нее ему отдал... Ну, сели мы тогда на мотоцикл, поехали. Приезжаем. У него дома жена. Вот он и говорит: "Знакомься, Валентина, мы с ним вместе работаем, кочегаром он у нас в ресторане". Ну, сели, налили, то да се... А потом он и говорит ей: "Давай его на нашей дочке женим. Ведь он холостой, неженатый..." А ее еще, Альки, не было... Она потом пришла. "Она, - говорит, - тебе понравится..." - "Ну, чего, - говорю, - я не против". А тут она приходит, я как поглядел, у меня глаза и разбежались...

Ну; смехом, смехом, выпили эту бутылку... Она только зашла одну рюмку выпила... мы с ним после съездили еще купили... Покрышку я у него тогда взял, отдал пять рублей... Ну, он и говорит ей: "Пойди, Алька, проводи его..." Она и пошла меня провожать... Постояли мы с ней... "Приезжай, - говорю, - к нам, у нас место хорошее". Она говорит "Вот приеду, погляжу". Ну и говорит тут мне: "Дай закурить". Примечаешь? Семнадцать лет, а она уж курит... А она у них - я после узнал - б...а, б...а... Ну, я говорю: "Давай сойдемся, проживем года два, потом распишемся". И вот через неделю приехала она сюда... Поглядела все и говорит "Теперь я за вещами съезжу".

Ну, отец мой ее прописал, на работу ее устроили... Я тогда в Семьях пас... И тут началось... Тут уж она себя показала... Я пасу, я в неделю только три-четыре раза приезжаю домой ночевать... На мотоцикле... "Минск" я тогда взял... А тут у нее и таксисты, и кто хочешь... После уж соседи рассказывали. Подкатывает к дому такси, он посигналит, она выбегает в одном

халатишке, только сверток у нее - там бутылка, и покатали в лес, туда к станции...

А со смены придет, поужинает, вроде бы спать пошла на терраску, а сама в окно... А там уж ее ждут... Раз я приехал, гляжу, у нее парень сидит... Ну, она мне говорит, вроде бы он к брату к моему пришел... Ну, я - ничего... А то еще директор школы у настут был, красивый мужчина, высокий... Года с двадцать седьмого, в таких годах... Потом его поймали, он тут с одной молоденькой... Года с пятидесятого, ученица его была... Вот он с ней два года дружил. А сам женат - двое детей... Ну, вот поймали их, его, конечно, от нас убрали... Вот и он тоже... Тоже с моей, с Алькой... Мне потом друг сказал, на пойму они ходили... Обнялись и на пойму... Отодрал он ее там, наверное... А мне чего? Мне не жалко, раз уж все ее... Я на него не обижаюсь... И в Ковров она все ездила вроде бы на день, на выходной... А сама два, три дня... На..... там досыта, приезжает... Я говорю: "Давай вместе в Ковров съездим". - "Нет, - говорит, - с тобой не поеду. Тебя, - говорит, - моя мать зовет. Поезжай к ней сам, а я с тобой не поеду..." Примечаешь? И отношение тут у нее ко мне плохое стало. Прямо ужасное отношение... Ложимся спать, а она мне: "Пошел ты на х..." Или там - к матери... Букарашек я на ней два раза ловил... И так-то ленивая по дому была. Редко-редко когда пол подотрет или по воду сходит, а так ничего не делала... Я уж и не жалел, когда она вещи собрала да и совсем уехала... Какая это жизнь? Вот говорят женщины, женщины... А я так скажу: другая женщина есть хуже мужчины...

Вот уж этот год, я уж тут пас, ко мне тоже из Коврова одна ездила...Полная такая... Ездила ко мне... А тут один мужик мне по пьянке говорит... "Я, говорит, - на работу лесом шел, и она тут шла... Ну, я с ней сговорился, сошли мы с дороги... "Я после у него трезвого переспросил... "Точно, - говорит, - было". Я и сказал ей: "Не ездь ты ко мне больше". Ну, чего ей надо? Она и там в Коврове б....., и ко мне сюда ездит, и тут глядит, кому бы подвернуть?

Или вот Алька моя... Высокая, полная - у тебя б глаза разбежались... Ей семнадцать лет, а у нее..... Я с ней ничего и не чувствовал... А вот была у меня еще женщина, здесь живет... Старше меня лет на девять... С двадцать восьмого года... В таких годах... Килограмм была на девяносто... Высокая, мясистая, жирная... Вот с ней-то мне больно хорошо было... Лет восемь я с ней дружил... И еще в Коврове, как я в ресторане работал, была у меня одна Зоя... Тоже я с ней дружил... Лет на одиннадцать меня моложе, в таких годах... Черная была такая - мать у нее еврейка... Полная... Дружили мы с ней... Я и говорю ей: "Давай сойдемся,

будем жить". И комната у ней была... "Нет, - говорит, - чтоб сойтись, ты для меня уже старый. Так дружить еще подходящий".

Или вот на турбазе. Познакомился тут с одной. Тоже москвичка, евреечка... Небольшая такая, полная... "С мужем, - говорит, - не живу, но у меня девочка - в Москве с матерью осталась... Ты, говорит, - завтра вечером приходи. Только надень белую рубашку, костюм да галстук, полботинки..." Ну, думаю, пойду... Может, у нее и комната есть, так можно сойтись да жить...

А тут к вечеру, как назло, баранишка пропал у меня в лесу... Пока его искал, куда тут пойдешь... Так и не пошел... А на другой день вижу, она идет с мужиком.. "Муж, - говорит, - приехал". А сама сказала, с мужем не живет... Примечаешь? Нет, не везет мне... Никак не везет... Ну, ты лежи, загорай... Я пойду... Мне скотину поглядеть надо. Хоть там у меня есть бабенка, присматривает... Приблудилась тут одна... Сама-то из города, а живет в сторожке на кладбище... Пропащая бабенка...

август 1972

Бульдозерист Федя

- Ты Федю-то, бульдозериста знаешь? Не знаешь? Таких чудачков еще и поискать... Парень - что ты! Медведь. Плечищи - во! Бицепсы... Он тебе что хошь свернет. Такой чудак. Мотоцикл взял в кредит, ИЖа. Ну, хера ли - ездить не умеет. Даром что силища в руках. Как ни поедет - поцарапается. Все с него летит, все с него падает. Ну, четыре раза скovyрнулся, на пятый раз взял его, положил на землю, да и говорит сменщику "Вася, езжай!" - "Ты что, - говорит, - сбесился?" - "Езжай, тебе говорю. И все!" -

"Нет, - говорит, - я на него не поеду бульдозером". - "Езжай, - говорит, - а то, говорит, - сам сяду..." Ну, Васе-то чего, они поехал. Так мотоцикл в л я п у ш к у... Шyтишь ли - бульдозером. Чего там от него осталось? " - "Давай, - говорит, - лопату. Я его сейчас, - говорит, - своей рукой закопаю..." И закопал. - "Все, - говорит. - Теперь я спокойный. А то, - говорит, - мне с ним жизни нет..." А деньги за него еще не выплатил. Четыреста восемьдесят рублей денег еще платить... Жена у него маленькая баба, а занозистая. "Ты, - говорит, - чего натворил? Ты, - говорит, - чего наделал? Я бы, - говорит, - его продала по крайности, а теперь - чего?" А Федя только: "Не надо он мне! Не было у меня его и не будет..." А баба все на него наскакивает. "Ты с ума, - говорит, - совсем сошел! Чего натворил-то? Еще ведь четыреста восемьдесят рублей..." И по затылку его, все по затылку...

Маленькая бабенка, а злобная... Он, Федя, только что отмахивается. "Ты, - говорит, - чего щиплешься? Ты, - говорит, - спасибо скажи, что я на нем никого не убил и сам не убился..." Двое ведь уних детей. "Тебе, - говорит, - кто нужен? Он или я?.. Подумаешь, - говорит, - четыреста восемьдесят рублей... Да я тебе больше заработаю, и заработал и еще заработаю. Я - бульдозерист. Я тебе и так и калым заработаю. А только я теперь спокойный. Нет его - и все! И мальчишки в металлолом не сдадут. Я только знаю, где он зарытый, да сменщик - Вася. А он не скажет... Мне, - говорит, - его продать - я не хочу. Мало ли чего, еще убьется кто на нем. А я не хочу кому-либо плохо сделать. А так я - спокойный. Своей рукой зарыл. А то еще убьется на нем кто, я переживать буду. Ну его!.. Не надо он мне". А она только: - "С ума сошел! Сбесился!" И вот по затылку его, и вот по затылку... А он: - "Да чего ты щиплешься? Дура ты и есть дура. Ты радоваться должна, что я живой остался. Ты чего жалеешь-то? Муж у тебя целый? Целый. Не покалечился? Не покалечился. Ну, и радуйся, дура! Ты чего щиплешься? А то ведь я и сам двину, так не обрадуешься".

Ау него - бицепсы во! Плечи - во! Медведь, говорю тебе, чистый медведь! Он так и следователю сказал: "Товарищ лейтенант, нет его и все! Списывайте его с меня. Я, - говорит, - на все согласен, только я на него злой... Черт, - говорит, - с ним, СИЖом. Я, - говорит, - не только что четыреста восемьдесят, я, - говорит, - всю тыщу заплачу, чтоб только его не было! Я, - говорит, - на нем четыре раза поцарапался, да пятый раз чуть лоб не разбил... Я гляжу, у всех мотоциклы, ну, и я себе взял. В кредит. Думаю, поезжу на нем. Как ни сяду - все лечу... Он прям бешеный... На нем только газ дашь, уже глядишь на спидометре - девяносто. И опять я лечу. Не надо он мне, и все! Я на своем бульдозере ездить буду. Он у меня десять километров - больше не идет. Я на нем спокоен. Еду я на нем по своей стороне, по обочине. Уж я ни в кого не врежусь. Если только кто в меня врежется... Так и то у меня вон - нож. Сам он и разлетится... А этого черта, его мне не надо. Я только сменщику говорю: "Езжай и все! А не поедешь, так я сам сяду. Все равно ему не быть. Не дам я ему быть, и все тут!" Только теперь я спокойный. Нет его! В ляпушку! И никто его теперь не найдет. И вы, - говорит, - товарищ лейтенант, не найдете. Только что с миноискателем... А сменщик Вася вам не скажет. Нет его, и все. Я что положено за него заплатил. И еще заплачу. Мне не жалко. Зато я - спокойный. А жену не слушайте. Дура, она и есть дура. У нас двое ведь детей. А что, неровен час, я бы разбился? Куда б она с двоими-то? Кто ее, дуру, возьмет? Она радоваться должна... Баба, она и есть баба. Чего там она понимает? Я заработал и еще заработаю. Я бульдозерист".

Такой чудак, понимаешь. Таких во всем городе не найдешь... "Езжай, - говорит, - Вася, а то сам сяду. Я, - говорит, на него больно злой... В ляпушку! Не надо он мне..."

март 1971 г.

Прогулка по городу

- Вы меня простите, что я вас все время перебиваю. Мне и бабушка говорит: "Все-то ты, старый, перебеешь". Да только у меня все так-то получается... Я сейчас живу сильно тяжело. И, главное дело, вокруг меня людей нет... Вина я не пью, сплетнями не интересуюсь. Они старухе говорят: "Он у тебя юродивый, вроде бы падаль..."

Я только что хочу сказать, когда я строился, этих всех домов не было. У нас в улице один порядок был, а вот здесь - усадьбы... Мне место выбирал латыш-садовник Карл Иванович Гайлис. Он у Сенькова-фабриканта работал. Мы с ним место выбирали, чтобы бугор и низина была. Теплицу хотели делать... Я ведь в одно лето - в осень одну выстроился... Вот этот-то дом каменный... Тут сильно умный мужик живет. Работал шофером на Севере, каждое лето в отпуск сюда приезжал - все заготовливал, кирпич, лес... А как все заготовил, так и совсем сюда перебрался... У него вот тут деревянный домишка стоял. Хороший тоже был домишка... Дедушков... Я вам только что хочу сказать, ведь городишка наш, с детства помню, был маленький. Совсем маленький. Главная-то улица была Шоссейная. После - Благовещенская, шла к собору. Потом Попова улица, Масляная, Песочная... Была Засерина улица, теперь - Красная. Потом гора была Барская. Теперь Трудовая гора... Наверху-то дом Рюминских. Я его еще покупал, этот-то дом. Там на усадьбе яма круглая. Сказывают, была долговая тюрьма. Купил бы я тогда, поля мы были бы мои...

Народ-то у нас больно дикий. Я помню, копали они там по Больничной улице узкие канавки. А там ведь шла Владимирка. И нашли кандалы. Я пришел, говорю: где же эти кандалы? А, говорят, в палисадник кинули. Никому ведь не надо. Больница при мне строилась. Город строил, управа. Доска была большая, все было указана кто строил, когда. Потом товарищи все буквы сбили, потому что все это сильно вредно... Там город-то и кончался. Смычка была. Дальше кладбище, церковь Здвиженская. На Здвиженье там репу торговали. Репная ярмарка. Репа - белая, розовая. Так поштучно и в кадках. А еще бывал у нас Вонючий базар, около собора. Это в начале Великого Поста. Бухмой торговали. Бухма, она как репа, только большая... Вывозили ее пареную, горячую в кадушках. И лоскутными одеялами накрыта. Одеяло поднимут, и - вонь! А все покупали да ели. Продавали деревянными блюдечками с толстыми краями...

У собора тоже кладбище было. Мне один говорил, там только попов хоронили. И верно - там три попа было. А при старом при

зимнем соборе-то было большое кладбище. Помню товарищи все интересовались, грунт там какой. Яму вырыли квадратом между летней и зимней. И всюду были гроба. Я себе тогда один облюбывал - колода, но не круглая - квадратная. Вытащили мы его, на подсанки и в музей. Не знаю уж, цел ли он, я давно уж вмузее не бываю... Вот этот дом был поповский, Покровской церкви, крепкий дом. Здесь забор был весь каменный... Это вот кладбище, самое старое кладбище... Тут и тесть мой, и отец похоронены... Тут вот склеп был - генерал Неронов, предводитель дворянства. В корсете ходил, а жена у него была восемнадцать лет.

Здесь справа чугунная была часовня. Богашов. Я все дивлюсь, как они ее сковырнули. Уж больно велика была. Тут Сеньковский склеп.

Вот тут начальница гимназии Гидройц-Юраго. А вот тут против Алтаря была могила - священник острожной церкви отец Михаил. Крестил меня когда-то... Тут опять Сеньковские могилы... А вот тут делопроизводитель Иван Евлампиевич Протасьев. У него первый в городе трехколесный мотоцикл был. Мотор в дифере. Жена у него была красавица Дуня. Из его крестьян. Я еще мальчишкой был, у меня на улице отняли нитки и змей. Я пошел к нему жаловаться, а он мне двадцать копеек дал на нитки. У него в Татарове фабрика была. Я же потом ее с товарищами разорять ездил. Больно уж он девочек любил. Все ладони им щекотал пальчиком при здорованьи. Козочками называл... Мотоцикл он потом забросил, купил автомобиль с паровым котлом. Помню, во Владимир уедет на автомобиле, а уж обратно на паровозе... А теперь вот и могилы не найдешь...

Ведь что делали?.. Я вот своим, тестю с тещей три раза крест ставил, три раза крали... Последний раз уж принесли мне, купил с Введенской церкви. Загляденье - а не крест! Я к нему трубу наварил, до самого гроба, верно, труба прошла. Стащили! Я старухе говорю: хорони меня без музыки и без попов. Музыка - это только слюни в трубу пускают, и все только за деньги. И попы - тоже деньги... Мне этого не надо. Раньше-то оно не так было, а теперь вот угасло. Округа такая вся опачканная. И мне-то в этой округе чистым не пройти. Хоть рукавом, а все задену... Улица раньше эта так Кладбищенская и была. Асфальт тут недавно. Раньше булыжник был.

Я вот так-то иду раз с горки, слышу - на кладбище шум. Гляжу, расколачивают нероновский склеп. Богашовскую часовню уж свалили и чугун весь расколотили. А потом давай кувалдами памятники бить. Ведь это остались только те, что не поддались... А так в щебень все искрошили и на дорогу таскают. Перед

асфальтом-то булыжник перебирали и добавили этот щебень. А уж асфальтировали потом...

Вот тут пониже Маштаков дом был. Он сюда льяную пыль в кулях все возил. Трясли ее и жваки да очески выбирали. Потом опять в кули и - на железную дорогу, буксы набивать. "У меня, - бывало, говорит, - концевая фабрика. Я, - говорит, - на казну работаю". Тут такие-то фабриканты были. Лапин был такой из Денисова. У него лисья шуба была. Он, как едет, у него всегда пола отвернута, чтобы мех видать... А у самого в фабрике труба к березе была привязана... Вот тут на шоссе у монастыря часовня была. Икона, я помню, риза богатая... И так вот кружка. Зимой мальчишки деньги оттуда таскали. В мороз мокрую нитку опустят в щелку, монета примерзнет, они и тянут...

А напротив портнихи жили - Разгуляевы, высоченные бабы...

Это собор монастырский был. Староста тут - Иван Михайлович Кашников состоял, а священник отец Алексей Гусев. Отец Алексей, помню, интересно служил. Начинает шепотом, шепотом... Громче, громче, потом - рывкнет, и как отрежет. Долго ничего не слышать. Потом шепотом, шепотом - и снова как рывкнет! И вот так-то головой тряс... Вон там на горе кустарь жил, Роганов. Он пилы-напильники насекал. Помню, три копейки за дюйм. Не здешний был, приехал сюда какими-то случайностями... И ведь, бывало, насекает - даже не глядит. Курит, шутит... А вот калил потом всегда один, сам. Секрет у него был. Так никому и не сказал, даже сыну... И клетушка у него была такая маленькая. Я его пилы ни на какие не променяю. У меня и по сею пору осталось две штуки. А так-то весь хороший инструмент у меня товарищи в войну взяли... Я потом узнавал, как меня выпустили: кто взял, куда делось? Неизвестно. Они не стеснялись. Помню, еще у отца мастерская была, пришли к нам с обыском. Будем, говорят, искать у вас оружие. Искали, искали, а у нас мотоциклетные цепи были новые. Цепи взяли и ушли. А потом мне один сказывал из ГПУ: "Нам цепи-то и нужны были, никакого оружия. Нам только говорили, что у вас цепи есть мотоциклетные". Так вот.

Вот этот-то дом угловой Сеньков своей любовнице строил. Он всех своих любовниц обеспечивал. Тоже чудной был. Если, к примеру, в управу приедет и ему в уборную захочется, он едет домой - тут он не сядет. И за телефонную трубку ни за что не брался. Мне Карл Иванович Гайлис рассказывал, клумбы он в саду любил расковыривать. Чуть что не по нем, он в сад и расковыривает клумбы. А назавтра чтоб все по-старому. Ну, уж они это знали, у них всегда в ящиках были запасные цветы... И в оранжерее персики тростью считал. Все равно сам ни одного не

сест, все им достанется. А придет - считает... Уж потом видал я его, идет, калоши к ботинкам бечевкой привязаны. Да...

Вот Демидовский дом. фабрикант тоже богатейший. Староверы... В революцию тут матросы жили. Я к ним ходил гречневую кашу есть. Печь они мебелью топили. Раз пришел, а из печки ножки только торчат от хорошего стола. А матрос один на кровати лежит и из нагана в потолок дует. Только пыль летит... А каша у них хороша была. Я туда долго ходил...

Это - Штанин дом. Тут у него была казенка. Вином торговали. Вот эти ворота, столбы-то красные были - об них все сургуч оббивали и прям пили тут. А рядом - вот уж не помню - мужик ли, баба ли с лотком - закуской торговали... Тут трактир был - между Цепелевым и Беговым. Потом усадьба Матренинского. Вот мой-то отец пол-усадьбы у него купил с той стороны, сзади. Ведь как оно было. Дедушка наш сюда приезжий был. Винокур. Приехал на винокуренный завод. Там, где теперь скотобойня. Там дом был, недалеко... А вподвале у него мастерская. Чинили старые пожарные машины, самовары. Дедушка крестики лил, иконки под старину. С этого и начали. Станишка был токарный плохонький. Руками крутили. Купили деревянную сараюшечку. Потом бревенчатую. Сначала по сорок килограмм лили. Потом по шестьдесят. Сначала на древесном угле. Потом на коксе. Кокса нет - на антраците. Потом на мазуте да на нефти... Нефтью-то все и закончилось. А всего-то работали отец да мы - братья. Шестеро нас было. Как тут нас раскулачишь? Своя семья. А все равно задавили. Только что не оскорбляли. Ни разу никто буржуями не назвал... А задавили. Налогами. До того уж обложили, что не стало ничего хватать. У вас, говорят, еще должны быть частные дела, крестьянские... Ну, и пришлось нам тут волей-неволей кончать...

Я ведь только что хочу сказать. Ведь это плохо, коли мой сын не знает, как мой дедушка жил. Не годится это. А дедушка у меня чудной был. Запойный и в Бога сильно веровал. Иконы были, свечки, лампы горели... А сосед был там, где скотобойня, сапожник Антипов, тот был безбожник. Вот сойдутся они, книги разложат и спорят. Один божник, другой безбожник. А потом уж гляжу, оба плачут - Богу молятся...

Дедушка чудил много. Достаток был. Вот, помню, запил он. Глядим, во дворе в самой грязи лежит, только торчит борода. Подняли его, в дом внесли. Вымыли, уложили на кровать. А он опять в окно вылез, да и в борозде лег. И помирал чудно. Вот раз говорит: "Помираю". Ну, попы тут с маслом явились - любили его. Соборовали, все, а он и не помер. И другой-то раз так же... А на третий раз, помню, мать мне говорит: "Санька, дойди к дедушке,

помирает ведь". Ну, я тогда шел гулять, думаю, успею. Домой пришел поздно - в молодые-то годы. А мне и говорят: "Санька, а дедушка-то помер". Тут уж по-настоящему, без чудес...

Вон там у нас богадельня была. Я еще помню, мы с отцом ходили сюда святить куличи. Тут прямо в комнате одной церковка была, а народу всегда полно. А тут вот колокольня. Колокол у них был прямо бешеный. Везде его слышать! Здесь дядя мой жил. Самовары никелировал. Дело было хитрое, динамку рукой крутили. Бывает, самовар с одной стороны блестит, а в одном месте почернеет. А жена сбоку лезет: "Еня, а этого не подложить?" - "Да иди ты!" Она опять: "Еня, а вот этого?" До того доведет, что он самовар в окно, да ногами весь истопчет. А после хозяйину новый покупает...

Вот тут англичанин был какой-то, Франц Федорович Кубик... И Клязьма ведь раньше не тут, дальше текла. Где теперь течет, тут огороды были Кокина и Березина, капуста и огурцы... Вот здесь Дикушин был, мануфактура... Когда их раскулачили, все свезли по лавкам торговать. Помню, часы Дикушина продавали. И просили недорого. Купить, думаю... А как он ко мне придет да и увидит? Нет, думаю, не надо они мне...

Вот тут наверху был Николаев - трактир. Беззубый был старик, вот такая борода... А если его кто дедушкой назовет, он прямо с лестницы спустит, в толчки... Здесь потом все собирались первые большевики. Биллиард там у них стоял еще от трактира... Было тут два постоянных двора - Рукавичников и Березин... На углу - чайная Шульпина Михал Федорыча. Чай, пиво тут тебе не один сорт. В кухне тебе что закажешь - сделают. Была вот тут такая компания. Отец мой, Василий Семенович Булатов - бондарь, Тимофеев - извозчик, Маштаков Егор Филипыч - это концевая-то фабрика, что на казну работал, и Лбов Василий Михалыч... Они уж каждый день сидели, стол у них был специальный. Бывало, Маштаков придет к нам в мастерскую, молча постоит, в дверях.

"Ну, - говорит, - я пошел". Повернется и пойдет. Отец одевается и за ним... Только воротится, а тут Булатов: "Сергей Михалыч, у меня только гривенник, пойдем пропьем". И опять отец идет. Ну, уж вино не пили. У них только чай, булка, колбаса, сливки, ли- мон... Ну, селянки тут разные. Тут уж поди, к гривеннику-то рубли прибавляются... А встают из-за стола, половой денег не спросит. Встали - пошли. Люди известные...

Тут-то вот не так давно ко мне приходит один, да и рубль кажется этот металлический с Лениным. Видал, говорит, монета? Ну и что, говорю, твоя монета? Полкило луку...

В этом доме один чудака жил. Портной Орлов. Сидит у окна, потом откроет окно, по пояс высунется, пропоет петухом и опять

закроет... А раз в церковь к Кресту спорок с шубы принес. Положил и все...

Тут были у нас известные люди. Монах был один юродивый - Антип Гнет. В Крещение в фонтан залезал. Егошка Хитрый, Мишка Чирьев... Его спросят, бывало: "Минька, а ты в Бога-то веришь ли?" - "А как же, - говорит, - я ведь с Христом в одной кузнице работал". Ну а главный чудака был у нас Сикерин, парикмахер. У этого с японской войны все Георгиевские кресты были... Вот, бывало, наточит бритву, у него клиент сидит, а он свою принадлежность на стол положит и пробует, остра ли бритва... Раз пьяный попал в полицию. Утром жену туда зовет. "Настя, Настя, принеси мне все медали". Она ему принесла, он надел и говорит: "Без музыки домой не пойду". Так ведь и шел с музыкой... Раз намылил одному лицо. Только собрался брить, а тут ко всенощной ударили. Он бритву кладет. "Настя, Настя, я пошел..." - "Ты хоть человека добрей!" Куда там... "Уж звонят, - говорит, - я пошел..." А часовня эта, где мясом-то торгуют, еще от собора осталась. Снесли его в тридцать втором... Это все я сильно хорошо запомнил. Первое дело - колокола. Привезли они домкраты, лебедки, тали... Первый-то колокол большой, кажется, лебедкой стащили его. Я тут был. Вон стоял около молочной-то лавки. Как же мне тут не быть? Он как ударил в землю, тут двойные двери внизу были - настезь они открылись. Вот на том-то доме труба кирпичная упала. Помню, у них один колокол об другой стукнулся. Так вот только по такому кусочку отскочило... Ну, потом привезли из литейной шар с бревном, с блоком, чтоб колоть их да в машину грузить...

А вот тут, помню, розвальни стояли, на них все ризы с икон складывали да возили в музей. Слесарь знакомый мне говорил, его нанимали резать их, ризы-то. Потом в комнату заперли да обыскали, не взял ли камешков... И тут уж в соборе все иконы без риз стали, и склад там сделали - рожь, масло, пустая посуда.

Я тогда на хлебзаводе подрабатывал. За кусок. Раз, помню, нам понадобились шесты для лопат. Нет лопат, да и только! Пошли прямо в собор, взяли шесты с хоругвей... А раз днем захожу я, паникадила уж не было, вижу, стоит в левой стороне собора один в пальто и в шапке. Видать, мастер. Стоит и смотрит. Я потом-то с ним подружился - Василий Рафаилович Уваров. А тут уж смотрю, они и бочки навезли, и соляную кислоту в бутылках. Золото с иконостаса смывать. Он в ГПУ тогда работал, а у самого в мирное время была иконостасная мастерская... Жена у него была крупная женщина, сам-то он маленький. Татьяна Александровна звали... Я к ним все чай ходил пить с булками. Ему ведь в ГПУ и хлеб, и молоко, и разные пряники, все у него

было... Раз, помню, его жена смеется, мне говорит: "А ты думаешь, он в Бога не верует? Сам иконостасы смывает, а сам верует. Вон у него иконка-то, молится". И верно, смотрю, висит у него медальон под цвет обоев, и не заметишь. Так вот он кислотой все смывал, потом эту грязь в бочки и отправлял в Москву. Один из ГПУ, помню, спрашивает "Василий Рафаилыч, много ли смыл?" А он только и сказал: "На трактор, - говорит, - хватит".

Зима была, в соборе-то холодно. Я ему еще сделал тогда водогрейку, трубу в окно. А чтоб труба поплотней к дыре, венец с Николы мы сняли да и приладили... Он после нас в Кронштадт поехал, смывал там. Письма мне писал оттуда... Да... Потом ломали иконостас. Он у нас был высокий... Помню, оторвали его, он так-то выпятился и рухнул... Колонны уж сильно красивые были, витые. Две в музей взяли, две в театр. Врата Царские я отвез на подсанках в музей... Ангелы были с репидами да Евангелисты - фигуры в человеческий рост. Теперь все пропало.

И вот стали они собор бурить - бурили дырки в стакан диаметром вокруг всего собора... Потом заложили взрывчатку... Я вон там стоял, около речки. Как рванули, так вот я сам видел, он весь приподнялся. Может, с полметра просвет был, и опять сел на место. Я правду говорю. Ну, они тут второй раз бурили и опять рвали... На второй раз он развалился крупными кусками. Тут стали разбивать - кому чего понадобится. Часть камней помельче - в речку, а часть - вымостили тротуар... А фундамент был сложен у него из булыжника на глине... Потом за колокольню взялись... Хотели подбить да повалить. И до того ее додолбили, что подойти к ней страшно... Потом уж приехали солдаты, что-то положили - она и повалилась... Ну, тут мы на нее набросились... Нам железо было надо. Я только что хочу сказать, я вот сейчас вернусь еще раньше.

Помню, в семнадцатом году тут вот на площади был какой-то митинг... А я глядел с колокольни, и еще один. Кузнец такой был из поляков, Нарушевич. Он мне тогда, помню, и говорит: "Эх, до чего же тут колокола хороши, сколько всего понаделать из них можно..." А пришло пло-хое время - ни жрать нет, ни дров, пошел он с салазками за Клязьму, за хворостом. Да и попал в полынью прямо с салазками... Так и не нашли его. Вот и суди, как хочешь... Из этих-то, кто собор-то ломал, - ни один человеческой смертью не умер. Один в Иванове ослеп, Карлов, начальник милиции. Другой под поезд попал, кишки на колесо намотались... Я вам только что хочу сказать. Я теперь в твердом убеждении, что от таких слов, как - Бога нет, - надо отказаться. Что это значит - Его нет? Это что, как колбасы, что ли? Раньше она была в лавках, а теперь нет?.. Эх, и колбаса ведь была! Вон дом-то - Иван

Александрович Александров, колбасник. Раньше, бывало, постучал к нему хоть в десять часов. Только спросит: "Чего тебе?" - "Иван Александрович, мне бы фунтик колбаски..." - "Какой тебе?" И сейчас он вынесет. Рабочие у него были, а торговал всегда сам. Рябой он был, а румяный...

Теперь давай туда перейдем, там мой автобус останавливается... Раньше-то я к себе на гору бегом бежал. А сейчас уж не могу - ноги не идут... Я ведь раньше какой здоровый был. Картошку, помню, три раза жарили - не раскусишь ее. Так я ее целиком глотал, слышать, как она идет. Я ведь вот на что дивлюсь. Былу меня один ученик, токарь. Потом пошел в армию. Из армии в коммунисты. Потом в механики. А потом уж кричать на меня стал; "Я тебе денег платить не буду!.." Вот если бы я посмотрел на такие ихние заслуги... Вот бы мне рассказали, есть, дескать, остров такой в океане, там лес и все такое, и все коммунисты туда поехали, и живут там вторую сотню лет и свой хлеб едят. Вот это были бы заслуги. А то ведь нет этого.

Раз, помню, на Пасху был я у отца-покойника и разговорился с двоюродным братом. Он мне и говорит: "Мы теперь все построим и все сделаем". А я ему: "Ничего ты не сделаешь". - "Как не сделаем? А вот мы уже сколько построили..." А я ему: "Ну, и что вы сделали? Ты только кирпичи сложил. Ну, даже ты его, кирпич, этот обжег. А глину ты сделал? А воду- ты? А огонь ты сделал?.. Вот и выходит, что ничего вы не сделали, ничего не построили..." Я на одном стою: я - ничто... Надо знать, что ты - ничто, а тобой кто-то руководит. И руководитель этот с тобой в любой момент что захочет, то и делает.

Человек - ничто, вся мудрость его, все затеи - все ничто... Вот они запустили грузовик за щебнем на Луну... И это еще не чудо, что американец на Луну залетел да там прошелся. Это еще не фокус! Вот был я на похоронах, вот бы спросить покойницу: как тебе там? Не жмет ли чего?.. А она б ответила. Вот это было б да!.. Так ведь не ответит она тебе...

Я только на одном стою: пока есть мое "Я", а придет время, и эта буква задвинется в самое последнее место... Вот он, мой и автобус... Вот давеча они по радио передавали про стройку одну. Хвастались. Там, дескать, все нации работают - и русские, и мордва, и татары... Так это они что же, Вавилонскую что ли башню строят?.. Я только на что дивлюсь... Нам все дано: и фабрику строить, и атом, а только нет у нас мирной жизни. Все у нас какое-то подвижное, никак не установится... Надо, чтоб все твердое было. Ну, плохо - так хоть плохо. Все должно быть неподвижно... А если оно с места на место передвигается, значит, оно непостоянное... Все было... Были керосиновые фонари...

Фонарщик с лестницей, с ежиком, с керосином... Стекла чистил, керосин добавлял!... Все ушло... Была булыжная мостовая, был гром тарантасов непрерывный... Сейчас, сейчас - сяду, полезу... И сколько я всего знал, сколько вот этими руками сделал... И никто у меня ничего не взял... Мне не жалко своих годов, мне жалко время, когда я жил... Сажусь, сажусь... Сел уже... Я только одно знаю: корова не жеребится, а кобыла не телится...

декабрь 1970 г.

А вот у нас в Ялте

В ЦАРСТВОВАНИЕ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II ЗАЛОЖЕНО
ЗДАНИЕ ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 1903-го г. 3-го ИЮЛЯ ПРИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕ УПРАВЫ П. А. НЕРНОВЕ И ЧЛЕНАХ И. Г.
ПРОШЕНКОВЕ и Б. А. ШУМИЛОВЕ

ОКОНЧЕНО В ОКТЯБРЕ 1905 г. ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ УПРАВЫ
А. П. НИКИТИНЕ, ШУМИЛОВЕ, ПРОШЕНКОВЕ И ПРИ УЧАСТИИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ П. А. НЕРОНОВЕ, С. И. СЕНЬКОВЕ,
Н. И. ЮШКОВЕ, А. В. ДЕМИДОВЕ ПО ПРОЭКТУ И ПОД
НАБЛЮДЕНИЕМ АРХИТЕКТОРА С. К. РОДИОНОВА.

- Ты чего тут читаешь-смотришь? К кому пришел? С какого отделения? А то давай, я позову... Ну, как хочешь. Слушай, друг, будь другом, сходи за бутылкой... Тут рядом, сука, два шага... Мне в халате нельзя, мент прихватит, курва... Держи. Два рубля, падла, и рупь семьдесят мелочью... Ты не сомневайся, все точно... Постой, погоди! У тебя котел есть? На твоих сколько? Двадцать минут? Х... на могилу! Рано еще... Тут продавцы все суки, падлы до одиннадцати ни за что не продаст, такие вонючие, курвы... Башка трещит - не могу...

Вчера пять стаканов зах...л: буль, буль, буль, буль - нештяк! К Мирке, к медсестре, курва, прихожу, а у нее спирт йодом разбавлен, чтобы, сука, не пили... "Налей стакан". Она смеется, падла, наливает: "Не выпьешь". Я ей: "Дай, курва, порошок аскорбинки - кисленький, закусить". "Бери". Высыпаю в стакан, весь йод, падла, на дно, я: буль, буль, буль, буль - нештяк! Она, сука, полтинники выкатила...

Еще тридцать минут ждать... Поносный город, падла, водки с утра не купишь... А вот у нас в Ялте, курва, директор магазина Нинка была - когда хочешь бери, только, падла, плати... Помню, ее судили, смеху было... У нее мать, сука, померла и ей трехкомнатную квартиру оставила, а милиция, падла, хотела квартиру у нее оттягать... А ничего не сделаешь, курва, завещание... Ну, участковый на нее: "Ты проститутка!" Она на суде их понесла; "Ты, сука, видел, чтоб я деньги брала?" - "К тебе каждый день новый ходит". - "А твое какое дело? Я встречаюсь с отдыхающим, он меня удовлетворяет, а вам, б..м, завидно?" И

матом их... "Я с вами, с местными, дела не имею, вытут все бухарики!.." И понесла, и понесла... Ну, пятнадцать суток ей судья дал, и х... на могилу, квартира так ей и осталась... Или моя теща, курва, хотела меня выписать... У самой, сука, двенадцать комнат, а прописаны только она, Томка-жена, дочка и я... Она, падла, только сунулась туда; "Хочу его выписать". А они ей говорят "Не суйся, а то он тебе три комнаты оттягает... "

Семь лет я там жил, сука, пока они, курва, меня не заложили... Вот где - жизнь! Это тут городишка, падла, паршивый... Там - кто в магазине, кто в санатории, кто - на винзаводе, все комнаты сдают... Там деньги не считают. Червонец - червонец летит, сотня - сотня... Там я из дома не выходил, чтобы у меня сто рублей в кармане не было... Помню, идем я и Игорек Пятак... Ему, сука, потом расстрел дали... Семнадцать лет парню - два метра роста, кулак с твою голову... Он тогда таксиста, курва, насмерть, кулаком ему зах... А - нештяк! А как получилось?. Таксист этот жену бросил. Молодая, падла, баба, лет двадцать семь ей, с другой снюхался... Ну, а той, сука, обидно, - таксист! Они знаешь, как в Ялте имеют? - Ну, она к Игорьку, курва: "Пойдем со мной в ресторан посидим..." Ну, х... ли, парню семнадцать лет: "Пойдем". Приходят... А она, падла, знала, что там муж ее гуляет с другой бабой... Ну, сидят они, она глядела, глядела на мужа и говорит Игорьку: "Если дашь ему сегодня в рожу, завтра я опять тебя в ресторан поведу". Ну, х... ли, парню семнадцать лет... После кабака он за ним, сука, идет - таксист бабу уже проводил... Он сзади подходит "Коля!" - "А?" - тот поворачивается, а Игорек ему х.... - в рожу!.. Два, курва, шейных позвонка сломал - нештяк! И Коля лежит с одного удара. И ничего у него никто не тронул, Эдик только, жиденек такой маленький, после уже котел золотой - часы у него снял... Ну, месяц прошел, полтора, падла, кто убил - неизвестно...

Похоронили его, Иван Иванович, директор таксопарка, хоронил, таксисты все... И тут Эдик идет играть... Проигрывает все деньги Валентину, сука, и говорит "Золотой котел за сколько дойдет?" Валька, курва, говорит "Полста". Эдик ему: "Мало". - "Больше не дам..." Х... на могилу, проигрывает и эти полста... Идет, сука, домой, берет, падла, котел и отдает, курва, Вальке... И, мудака, не сказал, что котел этот темный... Валентин, курва, надевает этот котел и ходит...

Ну, тут как-то бухарили, он попадает в милицию. Они там видят у него этот котел, номер. - "Ага! Где взял?" - "Мой", - говорит. "Ах, твой?" - и х...., шьют ему убийство... А тут таксисты узнают, что котел этот, сука, нашелся. Приезжают к милиции, запрудили всю улицу, на работу не едут: "Отдайте его нам!"

Начальник выходит: "Тихо, - говорит, - еще ничего неизвестно..." Ну, Валентин видит такое дело, падла, шьют ему убийство... "Я этот котел выиграл". - "У кого?" - "У Эдика". Жиденка, сука, раз! Ну, он крутился, крутился, х.... - дали ему там как следует, подвели м...е к бороде... "Мой котел, - курва, раскололся: - "Это я его убил". Ну, милиция: "Кончай, м.... смешить". Жиденок, сука, метр пятьдесят роста, а там два позвонка сломаны, в протоколе записано тупым орудием... Ну, он опять колется: "Это - Игорек Пятак..." Ну, а у нас в Ялте, сука, все на виду... Садятся мусора в машину... "Куда едете?" - "Пятака брать..." Подъезжают они, курва, к дому, а там уже таксисты стоят... А Пятак, сука, стоит в дверях с топором... Х...., падла, делать? Один таксист говорит "Я сейчас съезжу домой, привезу, курва, ружье, застрелю его..."

Так мусора, падла, войска с Ай-Петри вызывали... Потом уже милиция кольцом его окружила, и так вели... Таксисты же по милиции стрелять не будут... А брат старший у него Мишка Пятак, сука, им с Андрюшей по восемь лет дали... Они, курва, капитана одного КГБ расх....., удостоверение у него, пушку забрали... У него-то вообще маршрут был Ростов - Ялта, потом на теплоходе в Сухуми, он по своим делам ехал... Но кегебешник есть кегебешник... Идет он, падла, по набережной и слышит, ребята двое набухарились и про валюту, про то... Ну, он, сука, подваливает "Где бы тут выпить?" Они его в Южный. Ну, зах..... еще бутылку на троих - нештяк! Выходят, подводят они его, курва, к кусту - тут, прямо у порта, и тут Андрюша, падла, ему х..... А он стоит сука, на ногах устоял... Хотел он Андрюше зах....., а Миша Пятак, два метра роста,- ему в челюсть. Он с копыт и отключился... Потом на суде, курва, говорит "Только хотел применить прием самбо к Андрею Переливченко, как Михаил Пятаков применил ко мне неизвестный прием каратэ, и я потерял сознание..." А какой там, падла, прием? Просто зах..... ему кулаком - нештяк! Игорек, Мишка Пятак - ребята, курва, были... У них отец после Котовского первый совершил побег из Симферопольской тюрьмы... Они с двоюродным братом тогда, сука, после войны приходят в Ялте в церковь. Хватить этого попа, курва, за шкуру - в туалет и раз его туда головой: "Где у вас тут золото?" Он молчит. Они его еще раз... Ну, он, падла, сказал им, где золото, а они его все равно там утопили, сука... Их берут, обоим расстрел - нештяк!

А там в Симферополе в тюрьме студебеккер стоял, мотор у него заведенный. Пятак конвойного головой, вскочил в кабину - х....! - ворота сбил - конвой только полтинники выкатил... Двенадцать лет его не могли найти. Потом нашли в Ленинграде

под фамилией Черный, директор треста ресторанов...

Вот у нас в Ялте кабаки - Южный, сука, Ореанда, падла, Украина, курва, иди, куда хочешь... В Южном скрипач у нас был, мадьяр Додик. Его, сука, приезжали слушать с Одессы, с Москвы, с Киева... Он золото слишком любил... Ну а ребята решили его проверить. Есть у него золото? Прибегают к нему, курва, вечером в Южный, во время игры: "Дод Иваныч, дом горит!" Он все бросает, бежать... И на полдороге, х..., инфаркт, умирает... И во время похорон его обчистили, падла. Жена, дети на кладбище, а тут среди гостей зашли два черта... Так в костюмах, все чин чинарем... А родня тут на кухне закуску готовит, сука... И готово дело - нештяк! Ты чего на меня смотришь? Ты, друг, не бзди, я не заразный... Экзема, она, падла, не передается... А мазь эта, на ушах - итальянская кастиляни... Ты не бзди...

Я тут три дня назад ночью, сука, в окно - и к двоюродной жене! Дочка у нее уже спит, бутылку поставила, я один стакан - буль, буль, буль, буль, второй-буль, буль, буль, буль - нештяк! Назад надо, в палату, а тут горячая - куда тут, остался на всю ночь. Ночью вспотел, утром просыпаемся, обе подушки красные от мази! Утром проскочил в палату, переоделся - нештяк!.. Х.... тут за больница - две экземы, три псориаза... Вот я в Москве лежал на Пироговке - там больница... Сифилитики прямо с нами в одной палате, курва, лежат. Они только первые два дня опасные, их в изоляторе, сука, держат... А как первые уколы им...

... Ну я, курва, как представил себе это... Как ей, падла, зах.... А так идешь с ней в Ялте по базару, грузины языком цокают - ца, ца, ца... Им там не дает никто, местные с ними не вяжутся, отдыхающие тоже... Он тебе за бабу сто пятьдесят заплатит и еще в кабак сведет... Им главное, чтобы у бабы попа была большая. Уважаю их - коммерсанты. Умеют деньги делать... У них эта спекуляция прямо в крови... И в карты они играют. Их там всех Алик Осетин делал. Они его и пришили, восемьдесят тысяч новых он у них выиграл. И кто убил - неизвестно... Знали, сука, только что на игру пошел... И восемьдесят тысяч, курва, не тронули, так у него и нашли... Это не Ялта, а золотое дно. Или там поезда, падла, с вином гоняют. Он, сука, за один рейс двадцать-тридцать тысяч имеет. Я с ним, курва, один раз ездил. Во Владивосток... Х..., у него такой шприц - на пять литров и игла длинная, как долото. Он цистерны не берет - на х... нужно - только бочки. Состав запломбированный, ключи все у него... И пустые бочки у него едут. И вот он начинает... Подходит, падла, к бочке, чуть собьет с нее обруч и туда зах..... этот шприц. Пять литров х.... - раз, пять литров х.... - два, пять литров х.... - три, и в ведро сливает. А в эту бочку он пятнадцать литров воды, даже не

кипяченой... И мыло у него есть, и горчица. Он мыло с горчицей смешает, залепит эту дырку, обруч на место, и она, падла, не течет... И так он по всем вагонам к каждой бочке... А на станциях он не торопится. Сутки состав стоит, это ему хоть бы х... Он меня оставляет, а сам на базар. Машины приходят, х.... - десять бочек, х.... - двадцать... Оно там по рупь семьдесят, а он его им по рупь двадцать... Едем дальше... До Владивостока двадцать суток... А туда он приезжает, там шерсть эта японская - кишки, какие тебе хочешь. Он тройку чемоданов набивает этой шерсти, билет на самолет - и дома. И он таких два рейса в год, сука, больше ему не надо...

Пусть он там плохой работник, курва, считается... Он говорит: "Я не хочу зарываться..." В Ялте там в филармонии контрабасистам этим, ударникам, сука, носильщик полагается... Мне Костя-ударник говорит: "Чечен, поедem со мной на два месяца в Среднюю Азию. Девяносто рублей зарплата, гостиница, падла, командировочные, курва..." Ну, узнал я, сука, какие города - нештjak! Два месяца с ним, курва... Х...., я там и не таскал. Там приедут, падла, с аула на лошади, отвезут его бандуру... Двенадцать килограмм анаши, сука, плана привез оттуда. Там она сто - сто двадцать рублей килограмм, а у нас в Ялте - тыщу... Х...., рупь - баш, а в нем грамм... На два косяка... Но я ее оптом, по семьсот рублей зах..... Пусть женят, что хотят... А вот морфушка, сука, морфий кристаллический - восемьдесят рублей, курва, грамм... Вот бы его падла, зах..... А план, х...., я его сам курил. Под этим делом, сука, в техникум запросто сдал, только он, курва, мозги сушит, через месяц - х.... - меня выгнали... Так и в дурдом попадешь, падла... Нет, водочка лучше, стакан зах... - буль,буль, буль,буль - нештjak!.. У нас тут один, курва, лежит, его жена в дурдом сдала. Он, сука, месяц бухарил, она его, падла, и сдала... Ну, он рассказывает, там и психи... Полтора месяца там лежал и ни разу в домино не выиграл... Почти целый день с ними, курва, играл и ни разу не выиграл... А здесь х.... за больница?

Сестры все суки, падлы, Мирка, Танька от мужей гуляют... Кормят, курва, дерьмом, повар, падла, домой сумками таскает... Х...., я это дело знаю, у меня Томка-жена в Ялте, курва, шеф-повар была в санатории Крымская Здравница... Я и понятия не имел, как это в магазин ходить... Только что за хлебом, а так все дома есть...

Я, сука, вчера звоню двоюродной жене, готовь четвертак, на той неделе зах.... меня отсюда...

Мне теперь, х...., по больничному за полтора месяца рублей тридцать дадут... Пятьдесят процентов алименты, иск, курва, ох... Пять жен, сука, шесть детей. Я эту работу, падла, порол... Свадьбы

я только две играл - с Тамаркой вот с Ялты и еще с Ленкой...

Х..., первая у меня была жена - мне пятнадцать было, ей семнадцать. Парню уже пятнадцатый год. Она, курва, с меня даже алименты не тянет... От второй у меня - близнецы... Была, сука, лыжница. Я ее подначил в Лужниках с трамплина прыгнуть, х..., оба под бухарем были. У нее ноги разъехались, так кишки и вывалились... Потом ее родители приезжают к отцу моему: "У нас детей больше не будет, отдайте нам.." Мне девятнадцать лет было, я не хотел. Отец мне, падла, говорит "Дурак, куда они тебе?" Ну, отдали мы их...

Эх, Ялта, Ялта! Мне, сука, сто сорок вторую шили, валюту и мошенничество. И потом, курва, пять лет не прописывать в Ялте и в портовых городах Черного моря... Ну, х... на могилу, я их порол... Все равно пропишут - женюсь!.. Там это не проблема, кого пороть всегда найдется... х..., там девочки с четырнадцати лет все...

Стой, сука, кто там идет? Танька, падла? Сегодня, курва, Танька дежурит? Ну, я побежал... Давай на х... деньги... Она мне сейчас стакан спирту, сука, нальет, я не я буду... Прощай, друг!.. Сейчас: буль, буль, буль, буль - нештjak!

сентябрь 1971

До основания, а затем...

- У нас тут материк - воздух хороший. Это там, за рекой, болото. Давление болотное... Там тебе и комары, и что хочешь. А тут - бугор. Там, помню, поп за рекой совсем было зачах, заболел. А перевели его к нам, к Архидиакону, так разжирел, румяный стал. Летом тут благодать, умирать не хочется. Тут бугор - сады, что хочешь тебе растет...

Не знаю, чем вас и угостить. У меня хозяйки нет. Все один живу, двенадцать уж годов. Пенсия больно мала - тридцать шесть рублей пятьдесят семь копеек. Чего там за пенсия у водников... Вот бы так-то написать мне биографию. Мне и военный комиссар, полковник Кривченко говорил: "Напиши ты биографию, я тебе хоть шестьдесят рубликов, а сделаю". Ведь я - балтийский моряк. Нас, балтийских моряков, ни хера в городе-то уж и не осталось. Один еще ходит - придурковатый.

Как сказал Владимир Ильич Ленин: "Балтийские моряки - оплот революции. Временное правительство полностью оторвалось от народа и неспособно руководить страной..." Я ведь самолично слышал его - Владимир Ильича Ленина, вождя мировой революции...

Сейчас картошки начистим, наварим. Я огурцов достану... Когда у меня первая-то хозяйка была, была корова, овцы, поросенок... А теперь - куда они мне? Только кур десяток, петух одиннадцатый. И ни хера они сейчас не несутся. Весной-то неслись, куда там...

Вот бы все бы написать, как оно было. В семнадцатом-то году. До основания, а затем... Четвертого июля к нам в Кронштадт приехал председатель Павел Ефимович Дыбенко центрального комитета балтийского флота. На митинге на Якорной площади он пояснил: "Вождь нашей революции Владимир Ильич Ленин должен скрываться от ищеек временного правительства в убежищах-подвалах". Мы утром собрались с военных судов, и многочисленный отряд отправились в Петроград на буксирных пароходах. Высаживаемся у Николаевского моста. Прошли Невский, Литейный, Загородный, Забалканский, Обводной канал к Таврическому Дворцу, где занимала фракция большевиков. Донские казаки, которые охраняли временное правительство, преданные временному правительству, пытались занять Таврический Дворец. Налетели они на нас на Литейном проспекте. Улицы Петрограда обагрились кровью. Казаки размахивали направо-налево шашками, многих матросов ранили. Улицы Петрограда обагрились кровью. Нами командовал Стогов,

батальонный командир. Мы стреляли по ним из винтовок. Они вторично на нас налетели. Керенский дал тогда приказ арестовать Владимир Ильича Ленина. Дзержинский был тогда арестован. Мы ходили тогда по всему Петрограду, и гнали мы их до Невской заставы. Балтийский флот - оплот революции... Вот так-то бы все написать, хоть бы рубликов шестьдесят мне сделали... Я б тогда вам.. эх, ты...

Вы пейте, пейте, мне нельзя... Вот только столечко... Больше ни-ни... Бери огурцы-то, бери! Не стесняйся. У меня ведь все свое... Живу один - хозяйка моя в городе. Не едет сюда, да и я к ней не еду... Дом-то уж больно жалко. Дом-то старый. Еще учительницы был. Учительница Яропольская Мария Николаевна. Барыня была - куда там. Из Петербурга приезжала. Мне вот отдали да соседу Федьке Гвоздку. Тут вот кухня была да людская. Теперь уж ни хера нет, сломали все. Тут летом-то - умирать не хочется. Композитор к ней Танеев приезжал, Сергей Иванович. Недели две, помню, жил. На речку ходил, на пианине играл. С бородой. Вот она тут стояла, пианина. Откроет окна и играет... Студенты, помню, два приезжали. Тоже на речку. Велосипед у них был, все катались...

Да ты пей, пей!.. Мне-то нельзя никак... Ну, вот столечко... Ешьте, ешьте, все ведь свое... Спешить нам некуда - вся зима наша... Написать бы все полковнику... Как в семнадцатом-то году мы, балтийские моряки, оплот революции, советскую власть мы ведь установили...

Я Владимир Ильича Ленина слышал, как он выступал четвертого июля. Тогда и переполох был. Кто за эсеров, кто за большевиков. Многие недопонимали. Дошли мы до улицы Шесинских. Со второго этажа, с балкона. Нас было тысячи три с половиной, моряков-то. Яков Михалыч Свердлов был тут на балконе и говорит: "Владимир Ильич, моряки подошли, скажите что-нибудь".

Владимир Ильич вышел и стал говорить: "Оплот революции - моряки. Стойкость и выдержка. Временное правительство полностью оторвалось от народа и неспособно руководить страной". Много о нтут высказывал. Был, конечно, он в пиджачке. В левой руке, конечно, кепочку держал свою. Лысая голова. Рубашка с открытым воротничком. Желтоватая бородка цапочком. Вот пришлось мне в то время видеть Владимир Ильича Ленина и слышать его слова. И как он высказывал: "От капиталистической революции перейдем к социалистической... Полностью оторвано временное правительство..." А тут Яков Михалыч. "Хватит, - говорит, - Владимир Ильич..." Так он в торопливом виде и ушел. Вон как его охраняли. Кабы чего не

вышло. Мы ведь тут все с оружием. "Хватит, - говорит, - Владимир Ильич..." "Ауж после этого уж мы три дня бились с ними. Только соберемся, опять налетят. Только соберемся, опять налетят. Идем по Марсовому полю, мимо казарм. Глядим, гвардейцы на окнах сидят. "Присоединяйтесь!" - кричим. А они только на окнах сидят. "Вы, - говорят, - пришли, вы и делайте..." Только на окнах сидят да в гармонию играют... Петроград кипел. Одни только моряки и гуляли. К нам пришел Семен Рошаль и говорит: "Не верьте холуям временного правительства! Не верьте этим холуям - меньшевикам! Не давайте себя в обиду!" А теперь вон пенсия у меня тридцать шесть рублей пятьдесят семь копеек! Хера ли это за пенсия? - ну ее к херам! Да ты пей, ешь, не стесняйся! Накладывай картошки - у меня ее до хера! Пей, наливай! Мне нельзя, не велят!.. Я сам налью!

Я ведь родился в потомственной семье рабочего. До призыва работал в крестьянстве. Призвали меня во флот. Служил на учебном судне "Океан", город Кронштадт. Испытал революционное крещение в капиталистическую февральскую революцию. Отец у меня печник был. Мастер был что надо. Пил только сильно. Я тоже печки после работал. В войну был водником - на броне, как незаменимый. У меня по реке - сколько? - семьдесят, что ли, бакенщиков, и у каждого печка. Вот я все и ездил, печки им починял. Конечно, и для себя работал. В деревнях-то прибрежных. Как услышат, что приехал, так уж зовут. Бывало, и муки тебе дадут пуда два, и картошки... Только этим и жил. Из водников-то кто за зарплату служил? Где там дров возьмешь, где чего...

Я первую-то хозяйку в Юже взял. Вдова она была, дочка у ней. Я на квартире там стоял. Такого уж и получилось. Вечером сядем, самовар поставим да поллитровку выпьешь. Чего-то надо делать. Вот я ее и ушлепал...

Да вы пейте, мне-то нельзя... И ешь давай. Какая это к херам закуска? Картошка да огурец в ж... не жилец... Накладывай. Капусты вот уменя нет. У хозяйки в городе. Пенсия уж больно мала. Ты бы вот так написал бы полковнику Кривченко... Или он - Кравченко? Все б так по правде. Я - балтийский моряк. Получил революционное крещение в капиталистическую февральскую революцию. Это в семнадцатом-то году. Подняли нас в час ночи. В Кронштадте аккуратно первого марта. Вдруг тревога. Боевая. Иванов и Мясников главари, руководители - политиканы-то. Боевая тревога. Мясников прибежал: "Одевайтесь теплее, бушлаты, шинеля! Все в караульное помещение! За винтовками!" Мы похватили винтовки, патроны. Выскочили на верхнюю палубу. Но люки были закрыты - офицеры сами закрыли. На верхней

палубе Мясников на банкет стал и говорит: "Что будем делать со своими офицерами, со своим начальством? В Петрограде революция, свобода!" Кто тут кричит - расстрелять! - кто - арестовать! - кто - посадить! - кто - что! Тысяча двести человек нас было. В полном вооружении. Конечно, бросились в каюты. Оказались пусты. Они собрались в кают-компаниях. Офицеры там в полном вооружении были - кортики, винтовки, браунинги, сабли у них мотались... Стучим: "Отоприте!" Они кричат: "Что с нами делать будете?" Мы кричим: "Сдайте оружие!" Когда отперли, они тут сопротивлялись недолго. После сопротивления сдали они оружие. Кортики, браунинги и сабли отобрали у них. И на берегу в сарай которых заперли. Которые заядлые-то были. А других оставили на корабле. И в полном вооружении по стенке гавани шагали мы. Впереди портовая музыка. И прямо к адмиралу Верину. Значит, подошли к нему. У него часовые стоят - армейская полиция. Один в коридоре, один на улице. Когда арестовать его, как бросились в дом, он там спрятался у своих... Разыскали его матросы, вытащили на улицу. Накинули пальто, фуражку и вывели его на Якорную площадь. Ну что, расстреляли его - раз, раз - в овраг бросили. Старичишка был такой зверь!.. И еще контр-адмирала Бутакова тут же. Его с квартиры привели, он не прятался. После-то хватились, хороший он был. Но тут уж не щадили! Многих расстреляли... Покидали в овраг. Два столба врыли рабочие и лозунг "Смерть палачам!" Это первые-то дни революции. Многих перестреляли. Ну а после этого - митинги, митинги, митинги. Все на Якорной площади митинги.

Конечно, власть временного правительства. Тут они законы ввели, расстрелы, казни. Временное правительство устраивало свое благополучие. Гучковы, Милюковы, Керенский - был глава. Керенский- правая рука царя был. Большевики, меньшевики - кто за что?.. Мы тогда не понимали. Но большевики ведущие люди к хорошей жизни. Так мы понимали... Вот ты пьешь, по тебе и незаметно... Наливай, наливай... Я ведь без хозяйки живу, ничего у меня нет. Самоварчик вот поставим. Варенья-то, повидла у меня до хера. Свое. Сад у меня - двадцать соток. Яблони все сортовые. А на хлеб да на сахар - пенсия... Да уж больно мала... Я уж думал, может, к херам ее! Не брать ее совсем. Тридцать-то шесть рублей! Обидно...

А мясо мне хозяйка привозит из города. Первые-то годы, как та хозяйка умерла, я еще корову держал. Года два доил. А потом - ну ее к херам, продал. А на второй-то хозяйке я уже одиннадцать лет как женился. У ее брата в Ярополье печку клал. А где печка - там, известно, баба. Мне хозяйка-то говорит: "Вот бы тебе жениться. Хорошая женщина, - говорит, - дева". Она у меня целка

была. А целку-то теперь где найдешь? Только что у мирского быка...

Ну, давай! Вот только столечко... Да. У меня тут тоже один был из города. Даже ночевал. Говорит, старухе одной пенсию хлопотал. Не давали, так он - министру. И министр дал...

И чего только мы, балтийские моряки, не пережили. И революцию, и гражданскую войну. Эх, гражданская война! Советская власть на ниточке моталась! Когда Бутакова-то контр-адмираламы в Кронштадте поставили к оврагу - хороший был мужик! Но расстреляли. Горячка. Красивый был, высокий. Борода - во! Он только-то и сказал: "Если уж меня расстреливаете, то всех расстреливайте вплоть до унтер-офицера, а то, - говорит, - у вас будет гражданская война". И точно. Тогда Владимир Ильич Ленин такое указание дал: до мелочи вооружить. Готовил восстание. Восстание назрело, говорит. Это Троцкий был, сукин сын, фракционер. Зиновьев был, Каменев, Бухарин - это все сукины дети, они откололись...

После как взяли Зимний, тут три дня безвластие было. На кораблях споры были: кто за временное правительство, кто за большевиков, кто за меньшевиков. Споры - только слушай. Вот Керенский тогда убежал на машине. Не сумели его схватить. А уж после - большевики. Голосуй за список номер шесть! Антихристы нас называли, по-всячески клеймили. А что такое Антихрист? Это что такое? Большевики! Голод был, болезни завелись. К нам Федор Иваныч Шаляпин приезжал выступать в Кронштадт. В революцию-то сбросить больно легко, а вот война-то была. Это было тяжелей. Балтийский флот - самая опора, когда советская власть на волоске моталась. Царские командиры армии и флота, скатившиеся в контрреволюционный лагерь...Гайда -проходимец, колчаковский был любимец, Деникин, Юденич, тут Колчак. В восемнадцатом, в девятнадцатом голод был, вредительство. Вредили на каждом шагу. Они с четырех сторон хотели задавить нашу молодую советскую власть. Наймит Антанты Юденич шел на Петроград, Деникин взял Орел. Самый свирепый генерал Юденич, наймит Антанты, задумал перевешать всех балтийских моряков. Думал перевешать всех. Он балтийских матросов ненавидел. Он дал приказ стереть с лица земли большевиков. Вот как они говорили, латыши, эстонцы, белогвардейцы. Достойный ответ они получили. Грозный ответ. От моряков балтийского флота.. Кто кого? Мы отвечали: "Там, где было море, будет Петроград, а где Петроград, там будет море, а мы не сдадим". Он и по сейчас стоит Санкт-Петербург, где родилась революция, а вождь революции - Владимир Ильич Ленин, которого мы охраняли... Наливай и мне! Ни хера не сделается! Помянем царя

Давыда и всю кротость его!

Сейчас самоварчик соорудим. Сделаем! Мальчишку ли, девчонку, а чего-нибудь смастырим... Мяса вот у меня нет. На охоту не ходил. Тетеревов бы пару... Тетерева они в снегу, приспособливаются. Домашний-то скот во дворе, а им чего делать?.. Вот они в снег и зарываются. Идешь, глядишь эти капушки. Прямо лыжами по ним идешь. Они только вылетают фыр, фыр! Ну, и подстрелишь пару. Придешь домой - щипать! А он, тетерев, зимой крепкий. Тетерев та же курица, только что в лесу. Самая лучшая дичь... Раньше господа все за тетеревами ходили... У нас тут и лоси. Шесть штук. Эх, его бы свалить... Да куда денешь?.. Вот ковровские-то бьют. Свалят - тут же увезут. Вот это - дело! А у нас чего сделаешь - все на виду. У меня за рекой есть лосятник знакомый. Хабаров. Вот лосятник. Он их сотню свалил. У него обыск делали - четыре ноги нашли, да все разные. Ему и штраф дали, а он все ходит. "Это мне, - говорит, - только комар укусил. Мне, - говорит, - это ничто..."

Ты мясо-то его ел? Лося-то? Жесткое только, а так-то сладкое. И то - какой лось. У него ежели копыто острое, то его не раскусишь. А коли копыто тупое, как у коровы, - она та же говядина, жирная... Вот бы его свалить. И всю зиму с мясом. Я вон у лосятников был. Во какое блюдо наложит мясом - только ешь, не жалко. И без хлеба.

Мне врачи-то пить запрещают. Только ни хера они не знают! Не знают, сукины дети, как мы революцию делали и гражданскую войну!

Хорошо помню - в августе месяце, ясные дни. Сидели мы в домино играли. Ждем обеда. Вдруг откуда-то снаряд... Тревога... Ну, значит, цензура, мат один. Красная горка. Двое с половиной суток били по Красной горке. Он наш порт-то был, но его белые взяли. На третьи сутки около часу дня штаб морских сил, вице-адмирал Кузнецов дает команду: "Развернуть орудия! Надеть чехлы! Красная горка взята!" Тут уж все тихо-спокойно. Четыре бочки вина на всю команду. Виноградное вино, а пьяное... Моряки раньше балтийского флота - все пьяницы были. Пьяницы бы не были - Зимний бы не взяли. В прежнее время ведь как говорили: умница артиллерия, красавица кавалерия, пьяницы во флоте, дураки в пехоте... Как где чего было неустойчивое, моряков посылали. И на Колчака, и на Деникина, зверя-то этого. Шкуро, Зеленый... Самый главный - Деникин был. Я все время на корабле. Мы держали Петроград. Питер всколыхнулся, Петроград бурлит. Юденич тогда комсомольцев расстреливал. Все от восемнадцати до пятидесяти стали на защиту Петрограда. Наймит Антанты был разбит. Юденич бежал со своим войском во

Францию, в сумасшедшую больницу. Наливай давай!

Я все забываю, как тебя зовут? Закуси огурцом-то, закуси! Мяса нет - и не надо! Мясо ведь оно надоест, а картошка - никогда.

Вот турки-то, говорят, одним овощем питаются. Одни овощи едят. И до ста лет живут. Интересный народ. А хозяйка мне мяса привезет... Теперь-то уж поглажу ее, да пощупаю, и то хорошо. Как говорится, свою жену в чужом коридоре ушлепаешь, все равно как барыню... Она ведь дева у меня была. Так до росписи и не давала. Я все встречать да провожать ее ходил. Хотел ей... Нет, говорит, до росписи нельзя. Так и расписались. Венчается раб Божий Евгений с рабой Божией Ксенией! Аминь! Она у меня в фабрике. Уж и пенсию получает - пятьдесят семь рублей. Да еще и работает, пока сила-то есть. Рублей восемьдесят гребет, когда и сто. У нее деньги есть. Да и у меня есть. Она меня все в город зовет, да мне дом жалко. Я уж и хотел его продать да купить в городе... Дети мне тут написали, некуда им будет летом приехать. Это от первой-то дети. Дочка - не моя, и сын Левка - мой. Зять у меня полковник в Краснодаре. Так и не продал... Скоро самовар поспеет. А если Кривченко не поможет, насчет пенсии-то, ты министру напиши. Должны дать. Коли мне пенсию дадут, мы с тобой так выпьем... только держись! И на охоту пойдем. Приезжай - живи у меня хоть неделю, хоть две. И на рыбалку. Ты уху-толюбишь?..

Ты еще ему напиши, как мы Петроград патрулировали. Город был на военном положении. Только до девяти часов. Чтобы ни одного человека не было. Вот шли мы Невским проспектом. Подходили к Адмиралтейству. К Летнему саду. Попадаетеся барыня. Высокого роста в балерейном костюме, шляпа с соколиным пером, харя за сеткой черной. Ее начальник предупредил: "Город на осадном положении. Только до девяти часов". - "Братцы-моряки, - говорит, - я хотела бы с вами поговорить". Начальник патруля Пурышкин, козел тверской, мы так-то всех звали: мы, владимирские, богомазы, московские водохлебы... Пурышкин говорит. "Ну, поговори давай..." Она и начала: "Вы - моряки, такое войско, такое отборное войско и допустили такого подлеца Ленина... "Начинает тут всячески клеймить Ленина. Он продал Москву, Петроград, получил полтора миллиона золотом..." А начальник ей говорит: - "А вы эти деньги видали?" - "Видала, - говорит, - у меня такие-то деньги и дома есть. Ленин, - говорит, - Россию продал, хочет пустить немцев в Петроград, в Москву..." - "Ну, хорошо, - Пурышкин говорит, - еще чего вы скажете?" А она только: - "Вся Россия теперь Лениным продана". А начальник говорит: - "Хорошо. А вы

не дойдете с нами до комендатуры? До Адмиралтейства?" - "Не пойду, не пойду, не пойду!" - говорит. - У меня на квартире муж ждет". - "Нет, пойдите!" - "Нет, не пойду!" - не шла она. Начальник меня назначает: Шорин и Курин (костромской был). Назначает нас вести. Винтовки наизготовку держать! У нас винтовки заряжены были. Мы в бушлатах. Она: "Не пойду, не пойду, не пойду!.." Все-таки ее повели. Дал приказ стрелять, если побегит. Как к комендатуре-то стали подходить, она; "Отпустите меня, отпустите!" Золото стала предлагать. Я, как старший, говорю: "Нет, - говорю, - не отпустим! Революцию мы за золото не продаем!" Она, конечно, все золото сулила. Дескать, пойдем на квартиру, там золото... Много золота намсулила. А пойдя мы к ней на квартиру, небось, пули бы в затылок пустили. Вот тебе и золото.

Мне Курин-то говорит: "Может, отпустим ее?" - "Ты что? - говорю. - А как нас с тобой расстреляют?" А она все: "Золото да золото..." - "Нам, - говорим, - золото неинтересно. Нам надо туда вас представить, куда приказано". Привели ее к коменданту в Адмиралтейство. Здоровый такой парнина, в плечах широкий. Ходит по кабинету, и два револьвера у него лежат на столе... А мне - чего?.. Было поручено сдать коменданту. А у Николаевского моста там встретимся. Пурышкин такое указание дал. А комендант здоровый такой и все ходит по комнате... "Что, сука, попалась, гадина?!" Ее сразу тут в обморок бросило."Я ничего, ничего", - сразу начинает. Я тут рапортую: "Такая-то, говорила: Ленин продал Россию, Петроград, Москву..." И он приказывает: "Отвести в морскую следственную!" Тут она в обморок-то забила: "У! У У!" - заухала. А он: "В морскую следственную!" - говорит грубым голосом. Она: "У! У! У!" А он: "Молчи, гадина, пристрелю!" Пришли тут два матроса конвойных, а она ревет, плачет" "Отпустите меня, меня дома ждут..." И золото все сулила... Васка Куринов хотел взять, а я не дал. Испугался. Свои, думаю, пристрелят... Ты это-то не пиши. И повели ее в морскую следственную. Их тогда собрали на Лисий Нос и распыжили! Их тыщи две тогда запичужили - полковников, подполковников, старорежимников!.. Всех их на Лисий Нос, на баржу и в море! Они комиссарами нас не называли. Все - комисралы. И после еще тысяча восемь! И правильно! Владимир Ильича Ленина, вождя мировой революции, клеймить! Сука! Мы тогда советскую власть одержали, защитили... Нас Юденич в котлету хотел изрубить, и ничего...

Ты наливай себе чай. Один крепкий лей! И варенье бери! У меня его до хера! Я ведь у него был, у Кривченки... Руку мне жал. Хороший мужик, полковник. "Рассказывай", - говорит. Я ему

рассказывал. Тут лейтенанты к нему в кабинет пришли два. Молчат. Полковник! Я тут ему и говорю: "Можно, - говорю, - я с ними поздороваюсь?" Он говорит "Давай!" - "Ну-ка, - говорю, - мне постройтесь!" Они молчат. Я говорю: "Какие же вы херовские лейтенанты? У меня, бывало, взвод стоит по струнке! Мысли мои знают! Я только еще подумаю, а они уже знают!.." Эх, морская душа простая. У нас на море - не как у вас на берегу! Херовские лейтенанты!.. Эх, и служба у нас была веселая. Матросы все молодые. Старшина был катера, Коля-Ваня звали то ли он Иван Николаич, то ли Николай Иванович! Вот был мужик веселый. Только скажет "Эх, залилась м... кровью, рубцов не видать!" А у самого... И в карты любил играть. "Это что, - говорит, - за игра, из-за хера сзади не видать!" Обыграешь его в козла, только скажет: "Зря,-говорит, - тебя мать углом не родила, свинья б об тебя м... почесала..." На занятиях по словесности, бывало, скажет: "Это, - говорит, - все я не знаю. Я, - говорит - только знаю, из каких главных частей м...

А боцман у нас был, их и зверь! Раз и меня цепкой огрел. Я так-то вот стоял да тянулся возле койки. А он как опояшет!" Не дома!" - говорит. А кого и по три, и по четыре раза. Да все цепкой. Ох и били его в революцию. Посадили так-то вот на стул. "Простите, - говорит, - товарищи... Это, - говорит, - такая служба... Товарищи..." - "А ты меня за что цепью?!" Раз его! Он со стула валится. "Ах, ты валишься?!" И еще ему!.. Многие тут били. Я ему тоже дал раз, чтобы мое не пропадало... Офицеры-то у нас звери были. Куда там!.. Только на берегу. В походе - не то! Тут они шелковые становились. То одного толкнут в море, то другого...

Да ты бери, бери варенье-то! В чай его ложи! Не бойся! Я крепкий-то чай люблю! Я и вина попил, и баб трепал. Дело прошлое. Енька Шорин давал - только держись! Знай морских, почитай флотских!.. Вон из того дома, потому порядку старуху - то в больницу увезли... Дева! Я было просил у нее. Не жениться - так! Нет, не дала. "Скоро, - говорит, - Пасха". Набожные больно были... В церковь придет, в блюдо копейку бросит, а тянет гривенник! Вот они какие, набожные-то! Так дева и осталась. Ну и хер с ней! Это все прошло дело... Тебе, может, сахару еще дать?.. Ты ешь, ешь! Может, варенья тебе другого?.. Как хочешь... Эх, если мне пенсию дадут... А не дадут, мы прям к министру... Хера ли мое теперь житье?.. Деятнадцать лет живу один... Мне уж семьдесятчетыре... А чего поделаешь? Мне соседи-то говорят: "Ты сервант купи да вон стены оклей". А на хера?.. "Ты, - говорят, - деньги бережешь..." А я и берегу. А как их не беречь? Деньги-то у меня есть. А как же без них?.. Ведь вот помру - дух вон и яйца кверху! Этого не миновать. Плюнут в рожу мертвому, и ни хера не

сделаешь.Сейчас-то мне в рожу плюнь, я те сдачи дам... А тогда уж ни хера не сделаешь. Лежи! Вот деньги-то и нужны. Два ящика вина купить мужикам. Щей сварить мясных, каши. Всех чтоб накормить - стариков, ребятишек... Что еще нужно? Стар я стал. Старый матрос, уж все прожил, а толку нет... Вот так-то бы написать!..

декабрь 1971 г.

Курячий доктор

- Здравствуйте...

- Здорово, дедуся.

- Это с петухом сюда, что ли?

- Заходи, заходи! Показывай своего орла.

- Нет, ты, милоч, погодь... Ты мне вот что сперва скажи. Отчего у меня куры мрут? С позапрошлого года почитай двадцати молодкам головы оттаял... И топор-то у меня тупой. Раз а три вдаришь, пока она отскочит. Мрут и мрут.

- Ну, это, дедуся, так сказать затруднительно. Мало ли какие у них бывают болезни. Туберкулез, чума. Ты давай показывай петуха-то, показывай.

- Погодь, погодь. Вот и он. Уж третья неделя. Раньше-то у него хохол красный был, а теперь вот, значит, пожелтел... Да повис. Чего это с ним?

- Сейчас, дедуся, посмотрим... Сейчас определим... Держи его вот так, держи... Так, так... Шелушение... Сережки... кожный покров ног... Ну-ка ты ему, дедуся, клюв открой... так, так... Вот сюда, поближе к свету... Ну вот. Желтое образование в гортани. Картина ясная. Авитаминоз.

- Чего?

- А-ви-та-ми-ноз! Болезнь, хворь у него такая... Ты, дедуся, чем их кормишь?

- Известно чем - хлебом, картошкой...

- Вот-вот - хлебом да картошкой... А им, дедуся, витамины нужны.

- Чего?

- Вот что, дедуся. У тебя дома морковь есть?

- Есть. Как не быть?

- Значит, так, натри им морковь и давай. А свекла есть?

- И свекла есть, милоч.

- И свеклу им руби да прибавляй. Дрожжи им тоже давать неплохо. Рыбий жир можно вливать по чайной ложке. И потом, дедуся, солнце. Они ведь у тебя всю зиму в курятнике сидят, солнца не видят. И гравий им надо, ракушки в зиму заготавливать.

- Это курам-то?

- Курам, курам, дедуся.

- Чудно, милоч... Вон у отца-то у мово сколько их было, и ничего им не делалось... А теперь вот, видишь, и моркву им, и рыбий-то жир. А они все мрут, вседохнут.

- Тебе, дедуся, сколько годов-то?

- Восемьдесят третий пошел. Раньше-то...

- Да что там - раньше-то? Ты на "раньше" не смотри... Раньше вон одно мыло было, а теперь вот порошки разные, синтетические. Баба вылила их на улицу, она, курица, попила из этой лужи - вот тебе и готова. Много ли ей нужно? И удобрений разных не было. Раньше-то по деревне возили только что навоз. А теперь вон тракторист тряхнул, удобрение просыпалось, и вот тебе опять пожалуйста. Наклевались они и готовы. Так что, дедуся, картина тут ясная - авитаминоз...

- Нет, милоч. Мне думается, он не от этого... Я его риперином лечу.

- Чем, чем?

- Риперином. Таблетки такие.

- Какие еще таблетки?

- А вот ты слушай. Мне голос был. На просонках. Будто кто в ухо сказал; чем себя лечишь, тем и его лечи...Риперином. Вот он пузырек-от, погляди...

- Ну-ка, ну-ка... Реоперин... Ревматические заболевания... острый, подострый... хронический артрит... люмбаго... Вот что, бабуса, то есть дед... Ваши таблеточки тут ни причем.Ты его в гроб вгонишь.

- Нет, милоч... Я смотрю, ему вроде помогает. У него вот на той-то неделе хохол совсем желтый был... А сейчас вот, гляжу, вроде как поправляется. Еще не совсем красный, а уж вроде того. Я об ем все думаю. Вот мне голос-то и был на просонках. Будто кто прям в ухо сказал: чем, дескать, ты себя лечишь, тем и его лечи...

- Ты, дедуся, со мной не спорь. Говорю тебе: авитаминоз. А таблетками этими ты его изведешь. Только в гроб вгонишь.

- А ты что, ветеринар, что ли?

- Ветеринарный врач.

- А то у меня еще был друг большой, ветеринар. Тоже тут, в городе. Морозов Федор Степаныч. Мы тогда молоко им сдавали. А обрат-то нам опять не давали. Наш-то обрат весь в колхозы шел, да в совхозы. С каждого хозяйства литров по сто двадцать. Я тогда и напиши в область, дескать, наш-то обрат уходит в колхозное стадо, а своих телят выпаивать нечем. Мое-то письмо и переслали сюда. Он, Федор-то Степаныч, на улице меня увидел да рукой вот так-то машет. "Вы, - говорит, - писали во Владимир?" - "Я, - говорю,- нечем ведь кормить телят-то". А он мне: "Сколько, - говорит, - тебе нужно? Я тебе выпишу". Я говорю: "А люди как же?" - "А люди, - говорит, - хер с ними. У меня на всех не хватит". - "Нет, - говорю, - не всем, так и не мне..." Морозов Федор

Степаныч...

- Ну, вот что, дедуся, бери свои таблетки и не думай ему их давать.

- Он у меня уж штук склевал шесть. Вот так-то рот ему открою, он и проглотит. И вроде как лучше...

- Слушай, дедуся... Ты этим только себя успокаиваешь. У тебя это вроде как условный рефлекс. Я вот сам - семь лет, как пить бросил. Я на праздник теперь за столом стакан лимонаду выпиваю и тоже, как все, пою... Это у меня условный рефлекс. Вроде я тоже пьяный. Так вот и у тебя - рефлекс. Говорю тебе, ты его в гроб вгонишь.

- Ну, прощай, милоч...

- Прощай, дед. Только я тебе точно говорю. Брось ты эти таблетки. Сам пей, а ему - ни-ни... Подохнет, как пить дать, подохнет...

- Подохнет али выживет - на все Воля Божья...

март 1971 г.

- Это старые-то вещи? Иконы?.. Знаю я, все знаю...Только уж ее, старины-то, сейчас тут не найдешь. Ни у кого не найдешь... А ведь было, все было... Чего только не было.. Я ведь сам офеня природный, владимирский... Четырнадцать годов с отцом первый раз ушел в дорогу. В устреку по-нашему-то, по-офенски...

Я еще в школе мальчишкой учился. Сдавали мы экзамен в девяносто шестом году, аккуратно, когда царь-то на престол всходил... Учителыша и говорит до экзамена. "Тебе, - говорит, - Лепешкин, придется еще годок поучиться... Спроси, - говорит, - отца..." Писал я плохо... Так грамматику, это я больно хорошо учился, стихотворение - раз, два прочитаю, и уж все готово, а писал больно плохо... Ну, отец-то и говорит: "Мало как пишет, в писаря, что ли? Читал бы, да и все..." Ну а потом стали экзамен сдавать, нас человек сто пять было, из пяти школ... Вот сто четыре сделали ошибку, а я один написал правильно... Инспектор диктовал, так-то шамкал: "На полке ле-ф-али ча-ф-ки, ло-ф-ки и сковорды..." Все и написали "сковорды..." Один я - "сковороды"... Помню, сдавали тут во Мстере, где школа... Учителыница вышла и говорит: "Удивительное дело, - говорит, - я на Лепешкина и не надеялась, а он один пятерку получил, а все только четверки..."

У нас тут какое хлебопашество, хлеба едва до Рождества хватало... Вот вся округа одни офени и были... И пошли мы с отцом в дорогу первый раз в девяносто седьмом году, пятнадцатого сентября, на лошади... Шли через Шую, Иваново, Ярославль... Какие товары и водой отправили через Нижний на Череповец, а какие с собой... Иконы были, да книги, картины Сытинские... В Череповце получили мы иконы, а ехать надо было торговать в Олонецкую губернию, потому что старина-то она вся там - в Олонецкой, в Архангельской, в Новгородской, конечно... Ехали через Кириллов, в Белозерск, оттуда в Вытегру... Она на берегу Онежского озера... А там ездили по деревням... Книги да картины по ярмаркам, а иконы - по деревням...

Там много ярмарок, чуть не круглый год. Иконы у нас были фольговые, мстерской работы... Конечно, и деревянные были, но их только по староверам продавали, староверы фольговые-то не берут. Деревянные под старый вид писанные, это только для староверов... Зарабатывали-то немного, конечно... Больше меняли. Там можно было древние-то иконы найти да выменять, а уж тут их нигде не найдешь... Потом древние-то домой привозили, а здесь их мстерские покупали. Один хороший был покупатель Александр Игнатьевич Цепков. Этот покупал ценную

старину. Даже в то-то время двести, триста рублей - это не каждый имел, а Цепков покупал. За семьсот и то покупал. Но это редко когда... Их все больше на колокольных старых находили, по церквам... С покойником икону принесут, она там и лежит... Бывало, уж ничего на ней нет - одна старая доска, чка по-нашему, по-офенскому... Мы за них по пятаку платили, во Мстере-то ее уделают под самую старину... Бывало, по пятьсот даже таких досок набирали... Конечно, которые покрупнее да поценнее, те с собой, а так, которые напакуюешь одна на одну и поездом по Архангельской дороге... А во Мстере-то, бывало, по шестьдесят, по семьдесят рублей платили за семивершковую-то, за старую...

Я раз шестивершковую купил, Никола оглавный. Я ее взял, на икону на фольговую выменял... За тридцать пять копеек... Принес отцу. Отец говорит: "Хороша икона, да уж выгорела. Лица-то уж не найдешь". Привезли мы ее домой, с уголка нашатырем помазали, а она вся целая... Мстерские за пятьдесят рублей взяли... А еще раз привезли одну, на три части распалась - три доски... Владимирская... Так за сотню пошла...

Из Богоматерей боле всех ценится Владимирская и Смоленская, ну, еще Тихвинская... Николай чудотворец, Спаситель, это все ценилось, а предстоящие - меньше... И каждому свое название. Вот Никола - по-офенскому - Хорхора, Богородица - Стодница, Спаситель - Стеситель... А иконы по-нашему - стоды... Одну, помнится продали мы прям из дома, была она на божнице, аккуратно вот такой же вот Никола, как этот... Ростом был аршин с чем-нибудь... Купили мы его с отцом в барском доме. Просто сам-то барин не живет в своей усадьбе, а купили у дворни. Она стояла не на кухне даже, а вот где дворня-то живут. Но старая она была, уж по краям начала пропадать, крошиться... Тоже Николай угодник, годов двадцать она у нас стояла, а тут мстерский маклер... Старичок, Осип Шитов... Вот он нам тогда покупателя и привел, из Петербурга, Егоров ему фамилия... Пришел и говорит: "Снимите мне ее сюда из божницы". Сняли вот сюда на стол, он надел очки, потом вынул кран-циркуль... Сначала измерил так и так, потом руки, расположение... "Вот это - говорит, - самого новгородского письма... Ну, - говорит, - сколько хочешь?" - "Двести пятьдесят", - отец говорит. "Нет, - говорит, - мне ведь ее еще в Петербург везти". Ну, отец и отдал за двести тридцать, скинул двадцатку-то... У него скатерть с собой была, так он ее в скатерть завернул, да и повез во Мстеру... Вот так-то мы с отцом и ездили. Шесть или семь лет. Пока отец в дорогу ходил. А потом он во Мстере посудную лавку открыл, да и ходить перестал... А я уж тут серебрить ходил - куреньшить по-нашему-то... Серебро, значит,

куреньшо, а золото - кулото... Серебрил я это с девятьсот третьего года и по... по... по пятнадцатый... А серебрили-то когда монетами, а лучше всего ломом. Лом-то я покупаю в городах десять-двенадцать копеек золотник, а в рубле-то их всего четыре золотника, двадцать одна доля... Серебро больше покупали по городам, в ломбардах с аукциона, да у часовых мастеров...

Лучше нет, как работать в Вятской губернии. Там приходы большие - по пять, по четыре, по шесть священников... Утвари, во-первых, много. А вообще-то они не нуждаются в деньгах. Посеребришь им, а староста... они все эти серебряные вещи поставят посреди церкви в воскресный или в праздничный день и делают им священие. Священник кропит, а на священие народ все несут деньги, либо шерсть, либо лен или курицу принесут... Глядишь, наберет он полсотни на священие, а то и больше. Этим и выходят. Другой раз вперед рискуешь. "Серебрите, - скажут, - а мы на священие соберем..." Которые холста несут, которые - чего. Все больше льну да вот шерсти.

Годов десять я ходил все по Вятской. Три раза лошадь покупал, долго проработаешь, весна захватит, приходится продавать... На санях-то пока едешь. Одну пригнал, помню, домой. А до той уж больно хороша была кобылка, тоже хотелось пригнать.. Лошадей там больно много, в Вятской губернии. Местной породы, вятская... Невелики лошади, но широкие лошадки... Какой бы цвет ни был, а все по спине у нее ремешок. Если она бурая, а верхушечка-то все чернее... Да. Чего только не было, за столько-то годов.. Ведь офени-то какие только не были. И пьяницы были...

Был тут раньше в отцовы-то годы Филипп Иваныч. Сын у него теперь... вот имя-то сыну забыл. Он больно пьянствовал. В Боровичах Новгородской-то губернии с месяц торгует, а потом и забусает, запьет. Сына своего вечером посылает: "Вандай гомыры". Принеси, дескать, водку... Его и хозяйка-то со двора хочет согнать. Неделю, дескать, целую пьянствуешь, бусаешь... В Боровичах-то, помню, на постоялом дворе офеней много, вот и распорились. Какое, дескать, название козе. Одни говорят - моза. Нету, говорят те, ей другое есть название - трикотуша... Овца-то - моргуша, а вот коза-то - трикотуша... Так-то по-офенскому мы не больно говорили, только вот когда какое слово сказать, чтобы не понял никто... Если сказать, что надо лошадь сходить напоить - остряка набусать. Фера берить - сена дать. Торговаться приходили когда. Если торгуется мужик, дает мало - просишь двадцать копеек, а он дает пятнадцать... Ну, и спросишь товарища-то: "Сабосу стычит?" Дескать, сколько себе-то стоит. А мужик и не понимает... Или в церкви работаешь, а поп идет... "Тише, -

говоришь, - кас хлит". Значит, поп идет... Да мало ли чего делали офени-то владимирские... Всего и не упомнишь. Все было... И старина была, и золотишко было... Раз, помню, в Вятской губернии, с Чистого понедельника работали до пятнадцатого апреля, Пасха была в Благовещение в двенадцатом-то году. Сперва тропари Благовещенью служили, а потом - Христос Воскресе... Село Богородское, Нолинского уезда... Церковь была трехштатная, три священника. Четвертый нештатный из дьяконов... Пришло нам время рассчитываться. Мы два месяца в аккурат работали. Настоятель, отец Всеволод, спрашивает: "Мастер, какими деньгами вас рассчитать?" - "Давай, - говорю, - золотом. Оно нам сподручнее. Мы его, бывает, травим да в дело пускаем" - "Ну, - говорит, - золотом, так золотом..." И отсчитали нам двести сорок рублей одним золотом. И все десятками...

Да... И вот прожил все. Почитай, за год две лошади у меня в двадцать третьем-то году пали. Первую-то я купил, отдал шесть золотых десятков, да корову. И полтора года она у меня не была - пала. А уж вторую покупал за тринадцать тысяч. Какие цены тогда-то были... Легко ли тринадцать-то тысяч набрать? Все тогда продал, всю старину. Часы были золотые с музыкой-продал. Да серебра лому с полпуда было. У бабушки, матери-то, последняя десятка была - она отдала мне. Сдал ее в городе за тысячу рублей без двух рублей - за девятьсот девяносто восемь. Лому-то сдал тогда еще на фунты, тоже сот на пять. Были вещи - рюмочки, стаканчики. Много вещей было из ломбарда еще, из Вятки... И корову. Пришлось уж не свою, а у сестры. Она уж была отделена, сестра-то, вот у нее корову взял да за шесть тысяч продал. И вот едва сколотил я тринадцать-то тысяч, и купил молоденькую неезжалую, трехгодов. Спасибо, Бог дал, хорошая попала лошадка, кобылка... Куда съездить, так живо-два... Так и ту в тридцать первом году в колхоз свели... Так вот ничего и не осталось. Только вот что дом. Большой дом... Да, лесу-то тогда дали... Ведь лес-то он барский был. Сеньковский, Демидовский... Новой-то власти надо было сперва крестьян потешить, вот и дали...

Да, теперьюж старины нет... Только что колокольчик где-то был. Погоди, сейчас принесу... Да вот икона эта Никола. Этот старый. А вот это - Покров. Она только под старину писана. Вот, гляди, колокольчик этот мы еще с отцом из Олонецкой губернии привезли. Там красной меди в старину все чего-нибудь да лили... В Олонецкой губернии медной посуды много. Много было еще в то-то время, при нас... И Никола этот тоже из Олонецкой. Вытегорского уезду. Тоже с отцом привезли. Это - старина. Выменяли, помню, на новую икону, на фольговую... Мы у них не

один год там ночевали. Главное, ее чинить-то не надо, она вся целая. И деревни помню название, Рокса название. Там староверов-то было много, в Олонецкой губернии... А уж вот Покров, она не старая, только со старого списана. Он писал ее, что ли, в двадцать седьмом.

Там во Мстере-то больно голод был. Хлеба-то давали грамм триста, четыреста... Василий Михайлович имя ему, Наугольников. Пришел он милость просить. А отец с ним был знаком до этого-то. Вот он пришел под это вот окошко милость просить, стучит. Отец говорит: "Вась, это ты?" - "Я..." - "Я, - говорит, - тебе дам две доски, ты мне Покров напиши, да Егорья, а я тебе мешок картошки дам". Он ради питания написал. Покрову нас тут престол был. А Егория писал в божницу. У нас раньше старинный был Егорий. Вот тогда-то еще приехали из Москвы, побывать сюда. Они все отседа брали. Это дети-то Ивана Митрича Силина. Уж они отца-то знали. "Епифаша, нам продай, - Егория увидели, - продай нам..." Он говорит: "Из божницы-то вроде грешно продавать. А сколько дадите?" - "Да четвертной..." Вот Наугольников-то и написал нам под старину. Егорий, он разный бывает. Один на леву руку едет, а другой - под праву... Который куда... Один сюда - из божницы долой, а который - сюда... Не помню уж, который под старину-то. Что?..Продать?..

Продать-то продам. За так не дам. А продать - чего уж тут... Давай за три-то рубля уж и Николу, и колокольчик, и Покров. К чему оно мне теперь все... Бери, не стесняйся... Вот они по радиво все говорят, дескать, Ленин умер, а дело его живет. Да... А я вот и жив, а дело-то мое умерло. Лепешкин жив, а дело его - умерло...

март 1971 г.

- Кто там?.. Ай, это ты? Ты?.. Пришел, опять пришел?.. Не забыл старуху-то... Иэх, ты... Иэх, ты... Дай-ка я на тебя погляжу. А уж ты, чай, думал, померла бабка-то старая. А я все живу, все живу... Господь не прибирает. Уж не знаю, на что, а живу... А все ж пришел ты к старухе-то... Ну, спаси ты, Господи!

Дай тебе Бог дожить до моих годов, да вот так-то бегать, как я бегаю... Девятый десяток дожила, помирать пора... А я все бегаю, все бегаю... Летось-то уж не знаю, как и жива осталась. Натерпелась страху-то. Надо бы поседеть али дурочкой быть, а я вон все за Бога держусь. Только Он и спас. Лежать бы мне теперь в яме, да вот Бог свободил. Не пришел, видно, час-то...

Уж не ведаю, в каком и месяцу, только что осенью... Пахать приехали, везде пахать. Все усадьбы. У нас-то тут, в Вантине, только что в двух домах и живут. Мой - третий. Четвертый еще стоит, да только сломают его скоро. Не дадут ему быть. А живем-то все по две да по одной. В маненьком дочь ушла от мужа, тут живут. В крайнем, там - одна.

А была ведь наша деревня восемнадцать домов. И уж все подчистую нарушилось. Как скотину от нас угнали в чужой холкоз, так тут все и побегли. Кто на станцию, кто в Горький, кто - куды... А тут гляжу - батюшки мои! - председатель. Конечно, уж он на машине ездит. "Бабушка, твой огород будем ломать". - "Нет, - говорю, - не будете". - "Нет, - говорит, - будем!" И так-то строго сказал: "Пора подыхать!" А я: мол, я нарочно буду жить!.. Так и уехал. И этим, трактористам-то, видать, сказал, что, дескать, не пахайте. Постояли, постояли, да и поехали. В соседней деревне, в Каширине, семь огородов ломали. Ломали, да корчевали, да пахали. Там, в Каширине, домов семь еще не нарушены. Там большая деревня-то, поболее нашей. На два порядка было... Вот там и пахали. У тех не ломали, в коих живут. Потом гляжу - опять к нам едут. Батюшки мои! Дерево на тем конце повалили да повезли на тракторе-то в Илевники. Они тама, в Илевниках-то, на квартире стоят. Какие у них трактора, уж я не знаю, у них чего. Ведь корни-то какие, и все выломали. На тракторе эдак-то не выломаешь, а у них такие способные машины... Ну, я тут маненько сметила... Тоже уж не пробка. Пошла скорей в соседнюю деревню, у Паши Анисимовой там ночевала. Вроде как тогда еще не обробела. Пошла утром в церкву, в город, да там нашла подружку. Побирושку Поленьку. Она все у церкви стоит,

милостыньку просит. Поклонилась я ей в ножки. "Уж пойдем, Поленька, Христа ради. Поживи ко мне".

С ней-то и были вдвоем. Кабы не она, уж бы не жива была... Вот ведь и сейчас рассказывать не могу - плачу. А они все в Каширине там ломали. Потом гляжу - прошли мимо окошка. Я как увидела, так меня затрясло. Всю затрясло... Ну, думаю, конец... Машины-то они тама на свободных участках бросили. Сами прошли мимо окна. Долго их не было. Уж чего там делали - не знаю. Выпивали, нет ли? Уж трезвые не пойдут. Пришли в дверь. Бот! Бот! Бот! - в дверь-ту кулаками. Меня хоть затрясло, а все ж не сшибло. "Кто тут?" - "Отпирай!" - "А чего вам нужно?" - "Отпирай!" - "Не отопру!" - "Сказано последний раз: отпирай!" А я говорю: "Я, мол, не отопру. У меня, мол, приехал внучонок с товарищем.." Сама набираюсь духу - вру. Никого ведь у меня нет. Только что она, Поленька. "Не отопру! - говорю, - У меня, мол, внучонок с товарищем выпивши на печи лежат. Если вас, мол, впустить, что у вас, мол, получится? Они там выпивши двое - внучонок с товарищем. Кто, мол, первы в тюрьму-то пойдет которы..." А сама уж не могу. Привалилась к стенке на мосту в коридоре... Ну, говорят: - "Огород ломаем твой... Обломаем, - говорят, - огород". А я мол: - "Нет, не обломаете. Кто, мол, кому обломает? Двое-то вас не упустят. Внучонок с товарищем..." А и нет никого. Одна Поленька. А они как хлопнут в дверь - ногой ли, чем... Я к стене-то так и упала. Лежу...А уж слышать - загремели трактора-ти... Вроде как в Каширино... А я лежу. Поленька-то, Поленька-то мне: "Офросенька, поехали!.. Офросенька, поехали..." А я лежу. Принесла она воды-то холодной. Намыла меня, попила я маненько... Утром-ти встали, глядим, яблони, терновник поломаны... Скорей в город. Она-то в церкву, а я к Славику, к внучонку. - "Ныне же езжай за мной, я там не могу жить". - "Ныне, - говорит, - не могу, я работаю".

Другим-то утром взял машину да забрал меня в город... Так ведь всю зиму и не жила тут, дома-то... И уж откуда они приехали с такими-то тракторами? У нас нет таких и тракторов, кои деревья ломают. Может, говорю, пожаловаться кому на них да на него, на председателя-то? Он знает, поди, им и фамилии... Только внучонок говорит: - "Не надо, баба. Сам боюсь. С такими людьми свяжешься, еще убьют. Хорошие бы терновник ломать не стали. А с такими-то связываться..."

Сыновий сын - внучонок Славка. Ты видал ли его? Мать его рано померла, маленьких их двое покинула. Да отец с войны не пришел. Двух сыновей у меня война эта взяла, да зятя - третьего. А мужа-то у меня еще на той войне, в четырнадцатом году убили... Вот они мне двое внучат и остались... Вырастила их как

своих. Так-то он, Славка, хороший. Только уж вино стал выпивать. Пьет-то мало, оно его сразу сшибает. Вот придет, скажу, был ты у меня, не велел ему выпивать ни капли. Только что не послушает. Теперь еще бабы-то озорные. Ой, какая плутовка ему попалась. Пришел выпивши, она брякнула его на пол - да и лежи... Нехорошо. Тощий он стал. А вот, гляди, восьмой год с ней живет. Я ей ничего не сказала, только поревела да уехала. Всю-ту зиму не жила дома. Слава Тебе, Господи, люди-ти хорошие еще есть.

Второй год на квартире держут. Вот и живу. Сплю у них на печи. Благодать! Молоко - не считают, коли не грех, наливают... Я ведь и смолоду так-то привыкла: среду и пятницу соблюдаю - пост... А как же?... В среду-то Его, Спасителя, пымали - в каких Он руках-то, а мы тут наедемся? А в пятницу-ту распяли Его, а мы опять наедемся да напьемся... Да...

А вот по весне опять перебралась домой. Уж больно охота в своих-то стенах помереть. Всю жисть тут прожила, ведь всю жисть... Наверно, уж годов шестьдесят... Куда там? Боле... Восемнадцать годов сюда замуж вышла. Вот и считай. Купили мы дом-то этот с мужем. Сначала-то старенький был, а потом купили этот. Купили после дяди. Он уж двести годов стоит. Это лес-то мугревский, дедушков... Вон, гляди, бревны-то какие. Летось сымали на фотографию. Все измерили, все, все-все бревны. Все записывали и вышину, и потолок, и печь-ту... Ну, начисто все. Увезем, дескать. "Наверное, - говорят, - бабушка, в музей уедешь". А я: "Нет, не поеду. Останусь, мол, тут, не уеду". Всю жисть тут. Никуда не уезжала, нигде не работала, опричь крестьянского-то дела. Нигде не странствовала...

А вот и наш холкозный-то председатель, Петров Василь Иваныч... У него контора-то в Пировых, а сам-то он федурниковский. Тоже, может, выпивши был. "Помирай, - говорит, - скорее. Пора, - говорит, - помирать". А я мол; "Не хочу". - "А когда?" - говорит. "А вот коли наживусь". Это уж его дело. Он приказал пахать тракторами-то тими... Вот его бы постращать-то бы маненько. Притянуть бы его маненько хоть с какого краюшку... А ты в лето-то у меня еще побывай. Не один раз побывай. Вот лук пойдет, огурцы... Побывай к старухе-то, побывай... Уж кабы не Бог, да не Поленька, да не сумела бы я наврать, то уж теперь бы я, поди, заживо в яме-то сидела. Толкнули бы, да и дело с концом. Живу бы бросили погребать. Ям-то у нас полно. Вон у меня три ямы да рядом три...

Да вот Бог свободил. Не знаю, надолго ли... Вот так и лето буду на Бога надеяться... Я все за Бога держусь. Вот и человека он мне дал - Поленьку. А теперича мне - чего? До ста годов надо

доживать... Обязательно. Чего ж теперь делать-то?
март 1971 г.

- Ну, чего глядишь? Чего смотришь?.. Тут ведь церква была, острожная церква. А теперь тут милиция, вон участковые сидят. Она, церква, без колокольной так и была, вроде как без главы... Так-то колокола висели, а главы-то не было, и паперть под ней... А внутри она, так-то небольшая церква, вся без колонн, целиковая. Один Алтарь. И священник тут один - отец Михаил. Старый был старый, а прозорливый...

Вот и слушай, слушай, коль охота... Тогда еще была русско-немецкая первая империалистическая война. Аккурат в половине сентября пятнадцатого года. И вот пятнадцатого-то сентября поступил тогда манифест-то от Императора, от Николая... Дескать, Божию милостью, Мы, Николай Второй, Царь Польский, Царь Астраханский объявляем всем нашим верноподданным, дескать, коварный враг Германия напала на Советский Союз.... то есть тогда еще на Россию, а поэтому, дескать... Не помню уж, как тут высказаться... Приказываю мобилизовать всех ратников второго ополчения... Ая-то аккурат был ратник второго ополчения. Значит, и мне приходится служить. И было мне в то время тридцать два года, в шестнадцатом-то уж году...

Двадцать шестого числа марта месяца мы и приехали с женой сюда, в город. Ночевали тогда в постоялом дворе. Двор Березина - на самом базаре. Аккурат угольный-то дом. Ну, по тому времени, конечно, постоялый двор. Кроме ночлегу наверху у него была чайная... В шесть часов утра у него был подъем, а полседьмого можно уж идти наверх, чай пить в чайную... Отпивши чаю в семь часов, пришлось нам с женой идти в военное присутствие, где принимают... Ну, вот, придя туда, узнаем, что приемка у них начинается в девять часов. Ну, чего делать? И вот в свободное-то время зашли мы с женой аккурат в эту церкву. В острожную церкву. И служил тут священник, старик лет восьмидесяти, как не больше... Отец Михаил...

Молилось тут женщин-старушек человек вроде того двадцать-двадцать пять. Ну, служба кончилась, начал этот священник давать Крест. Выждал я, как приложатся все старушки, и так-то последним подошел и я ко Кресту. А жена сзади, за мной... Приложился и говорю ему: "Батюшка, благословите послужить на службу..." И вот, несмотря на его старость, после моих этих слов он вроде как выпрямился и взглянул на меня таким прозорливым взором, что я не могу стоять на этом месте. Пришлось сдать шаг назад. И вот он, священник, сделав крест, поднял руку и говорит: "Благословляю, Федорушка, послужи, послужи... Ведь тебя

Федором звать-то?" Которого я не видал сроду, а он называет меня по имени, Федором... Ни я его, ни он меня сроду не видались, не знали... "Надо, надо, - говорит, - постоять за Веру, Царя, Отечество. Благословляю, благословляю! Ведь война пройдет недолго, недолго. Конец ей близок, близок. Вы уж были там, вон сколько там народу-то... И все идут, все идут..." Это - в присутствие-то. Вроде он с нами не был, а как будто там и был. Потом подходит под благословение жена. Со слезами на глазах. Он благословил и говорит: "-Не плачь, не плачь, молодуха, Бог милостив..." " - Батюшка, - говорит, - у меня больно детей-то много. Свекор параличной, свекровь-старуха семьдесят лет. С кем я буду работать? Все мал мала меньше... Старшей семь лет, а их пятеро..." " - Бог милостив, - говорит, - Бог милостив. Все сработается, все сработается это..." И опять повторил: "Войне-то конец близок, близок". Жена и говорит: "Батюшка, уж как на войну-то угонят, за день человека могут убить али искалечить. Может, придет калекой?.." Опять повторяет: "Бог милостив. Его на войну-то не пошлют. Он будет служить на окраине большо-ого города. Вот только сначала-то подольше, а потом частые, частые будут свидания". Тут он, отец Михаил, поднял вторично руку и благословил второй раз. И тогда уж я с полной надеждой вышел из церкви, от него. В душе уж был уверен я. С какой-то особой надеждой. По первости-то тогда угнали нас в Орел учился я там, в Орле, два месяца. А потом по особым спискам всех, кто что может работать, вызвали в Москву. Я как медник, паяльщик по профессии, служил на Преображенской заставе в Москве. Во второй запасной автомобильной роте... Аккурат на окраине большо-ого города. Все так оно и вышло. А на второй-то год уж и свидания, они у нас частые пошли. Через воскресенье. На пятичасовой поезд, на вокзал, и в ночь уж я дома... А служил на Преображенской заставе, до вокзала мне чего тут?... Да...

Ну, возвратился я тридцатого апреля домой, это уж в восемнадцатом году. Побывал тогда у отца Михаила, поблагодарил его за прозорливость... И был я ему знаком до двадцать восьмого года. До его смерти в аккурат. Уж церкву-то эту нарушили, он там наверху, в Яропольи служил, у Троицы. И на дому я был у него не раз. Вот тут прям на горе домишко, по левой руке... Окошка четыре в улицу-то. Раз десять ли, двенадцать был у него. Жена тоже ездила, и жену, покойницу, он принимал. До двадцать восьмого года. Но уж он напутствовал, лежал. Не вставал уж не принимал которых...

Вот, помню, в двадцатом году. Неурожайно у нас было тут, и пришлось нам ездить за хлебом в разные губернии. В Нижегородскую. Туда, как поехали, я еще не заходил к нему. А

было нас два компаньона, был еще сосед. На обратном пути, когда мы ехали из-под Арзамаса, где мы меняли иконки на хлеб, я зашел к нему, к отцу Михаилу... Ну, посоветоваться, навестить просто. Поговорили мы с ним так с полчаса. А на прощанье он мне и говорит: "Товарищ твой вторично поедет за хлебом туда же. А уж ты с ним не ездь, не ездь. Советую: не ездь". Даже по плечу похлопал. "Я уж прошу тебя Федорушка, не ездь. А то получится нехорошо... Как бы смертельно не получилось... Он съездит, а ты не съездишь. Вот запомни, так я советую". Ну, прошло время, товарищ-то уехал, а я остался. Сдержал свое слово, обещанное ему. Сосед вернулся, да и говорит. Наменял он это хлеб и поехал домой. Так вот утром... ну да, утром, догоняют трое на санях. Ну, комиссар что ли... Заставляют воротиться, ссыпать хлеб. А ему было лет шестьдесят пять ли, шестьдесят семь... Он стал просить, в ногах валяться у комиссаров-то этих. Семья, говорит, у меня очень большая, хлеба не хватает, приходится вот ездить... В ногах валялся и все ж упросил.

Отпустили они его с хлебом. "Черт с тобой, - говорят, - старый пес! Больше не ездь!" Вот и говорит он мне; "Ладно, - говорит, - что ты-то со мной не поехал, послушался отца Михаила". А то ведь наставляли ему револьвер в ухо, хотели застрелить... Все-таки умолил, упросил. Старый ведь. А я-то был молодой, мог поссориться. Так вот и пронесло. А кроме того, мне тогда он, отец Михаил, сказал: "Ты еще съездишь, съездишь... Не один раз еще съездишь".

И вот в дальнейшем в январе два раза съездил я в Тамбовскую губернию, и третий раз съездил в Тамбовскую, уж в феврале... И жена моя покойница к нему ходила. И ее он принимал. Вот пропала у тестя лошадь. Кто-то увели ее. На площади гуляла она, на веревке привязана. Веревку пополам разрезал эту вор. Сколько ему надо было, этой веревки отрезал и увел эту лошадь. Тесть приходит за ней, убирать, а ее уж там и нет. Ну, вот дочь его, моя-то жена, ходила с матерью к нему, к отцу Михаилу. Спросить: как поступить? Где ее взять? Искать-то где? Он им и говорит, отец Михаил: "Да, случай нехороший, нехороший случай... Ну, Бог с ним, не разбогатеет и он. Нет, уж она назад, лошадь, не воротится. У вас пока есть лошаденка молоденькая, на ней и сработаете". И кто ему сказал, что другая-то лошадь есть? А у них была лошаденка. Держали они два года лошаденку. Ей уж третий год пошел... И откуда он узнал? Как колдун... "А уж ты не воротите, он уж передал ее на другие руки. Не воротите. Вот на молоденькой-то и сработаете потихоньку, сработаете". И еще раз потом жена с тещей ездили.

Случай вот какой. Это уж в двадцать седьмом или в двадцать шестом, не знаю. Я тебе так расскажу. У жены-то была сестра выдана на Кавказ. Она хоть за здешнего, а они на Кавказе торговали. И вот с двадцать пятого года, когда начали прижимать торговцев-то, во время нэпа, вот мне свояк и пишет: "Начинают обкладываться". Пишет: "Посоветуйтесь, сходите к отцу Михаилу. Куда нам деваться? Что делать?" Вот они тоже ходили. Обсказывали, вот, дескать, так-то и так-то. А он, отец Михаил, говорит: "Да-да, торговцы будут призрены. Всех торговцев разорят, а может, которые и пострадают". И посоветовал: "Пусть соберутся и ночью уедут. Пусть возьмут, что только могут, и уедут. А то разорят, разорят". Ну, мы им и написали. Получили они письмо... Да еще никто не согласился везти. Забрали они кой-чего в узлах. Серебра было много. Тогда целую меру рублей - они тяжелые - так и закопали в подполье. Дом тоже бросили, оставили. Только одежонку получше, поценнее. Так что сами-то убереглись. Ну, золотишко привезли, понятно. Захватили золото. А вот серебро-то не могли взять. Тяжело...

А то жена ездила вот с соседкой. Тоже в марте месяце, в конце марта. Вода была... На третий день Благовещенья. Это было в двадцать... наверно... первом или в двадцать втором году, пожалуй что... Вот. У этой молодухи, вот у соседки-то... Она еще была молодая. Муж был в плену в Германии. В первую-то войну. И вот ее, конечно, сватали ее. Уж она хотела выйти, два года вестей-то не было. Она уж хотела замуж... Вот и поехала с женой-то моей. Мою-то жену он принимал... Посоветоваться, выходить ли замуж... А он, отец Михаил, и говорит: "Не думай, не думай!" - "Так ведь, батюшка, два года нет от мужа вести никакой". - "Ну и что поделаешь, что два года? Погоди с месяцок - будет и весть, будет. А еще пождешь месяц, так и сам придет тогда, сам придет". Ну, и весть-то получилась как. Был с ним в плену горьковский, нижегородской губернии солдат. А адреса-то они знали друг-други. Вместе были в плену. Вот когда их там из Германии отпустили, из плена-то, нижегородский-то приехал домой, да и пишет ему: "Петр Иванович, - пишет, - поздравляю вас с приездом из плена..." А его-то и дома еще нет, а уж тот приехал. Сюда поздравляет, а еще тут не получили ничего. Вот это и первая весть. Аккурат в самую Троицу он и сам пришел. Ну, Троица-то уж в июне была... А ездили они на Вербной неделе во вторник.

У меня у старшей-то дочки была скоротечная чахотка. Жена тогда и говорит: "Вы, батюшка, помолитесь, дочка вот у меня хворает". А он, отец Михаил, говорит: "Знаю, знаю, я молюсь, молюсь... Но только уж она не выздоровеет. Невеста будет Христова. Но я помолюсь, помолюсь". И вот ден через десять она

померла... Да...

Старый был, старый старик, худощавый, высокого роста. В двадцать восьмом году ему уж лет девяносто было, когда помер-то. И похоронили его на старом кладбище перед Алтарем Покровской церкви. Все я хотел побывать на могиле-то, поклониться ему, отцу Михаилу, да так и не пришлось. Теперь-то уж и могилу там не найдешь, все нарушили... Вот так Бог и не привел побывать.

Последний-то раз ходил я к нему в двадцать пятом году. Тоже посоветоваться. Вот задаю ему вопрос. "Я, батюшка, раньше по церквам работал, все больше на Урале. (А еще в те годы церкви-то не нарушены еще были.) Вот, думаю, опять сходить поработать туда же..." А он, отец Михаил, говорит: "Да, надо сходить, надо. А как тебя там поминают, как тебя там ждут. Сходи, сходи, Федорушка, благословляю, сходи". А потом и говорит: "А только ты туда не дойдешь. Ты будешь здесь работать, поблизости, поблизости".

Вот я три года тут и работал - в Пестяхках, да в Ландихе, да в Ивановской области... А тут, как церкви нарушать стали, я так-то его и спрашиваю: "Отец Михаил, это что же - вере нашей конец?" - "Нет, - говорит, - Федорушка, нет... Вера православная не прейдет... Останется вера... Только мало будет верующих, мало..."

Вон там, на горе, его-то домик, отца Михаила... Старушка у него в доме жила. Может, и еще кто жил, а в кухне одна только старушка была. Придешь к нему днем, поднимешься... "Отец Михаил дома?" - "Дома,- говорит. - Я вот пойду скажу..." Пойдет старушка, скажет. Вот выйдет он в кухню. Поздороваешься, под благословение подойдешь. Он каждый раз тебя благословит. Это каждый раз бывает. Войдет. У него скамеечка. Так вот сам возьмет скамеечку. "Ну, давай, Федорушка, посидим, посидим..." На этой скамеечке посидишь с ним, с отцом Михаилом, поговоришь. "Ну, Федорушка, расскажи в чем дело? Как живете?" Все спросит. Я раз ему говорю: "Я вас, отец Михаил, считаю за прозорливого". - "Нет, Федорушка, не считай, не считай. Ко мне кто с открытой душой, я тем всю правду скажу, всю правду. А то ведь ко мне несколько раз на дню идут - кто с чем... И испытывать приходят, приходят. Вот тут давеча собираются ко мне идти, а сами между собою говорят: пойдем, дескать, со стариком поболтаем. Ведь все меня пытаются, все пытаются. Чего же я им скажу? Какую я им правду скажу, когда они меня пытаются, пытаются?... Сели тут, я велел им ведро воды принести да палку. "Поболтайте воду-то в ведре, - говорю, - поболтайте." Они глянули - да бегом... Чего я им скажу, когда они: пойдем, говорят, со стариком поболтаем. А я им вынес ведро да палку дал.

"Поболтайте, - говорю, - поболтайте".
март 1971 г.

Барыня, барыня...

- Что? Попить? Пейте, пейте! Прямо из ведра и пейте... Вода у нас чистая, ключевая... Этот колодец, между прочим, метров пятнадцать глубины... Барынин колодец. Так и зовем - Барынин... Я ведь еще и сам ее помню, Барыню... Только что называлась Барыня, а бедней бедного жила. Старая была престарая... Крючком согнутая ходила в халатишке засаленном...

А колодец этот у нас на все село единственный. И место-то тут какое, ты погляди. Все заречье видать, и большая дорога... У нее тут имение было, у Барыни... Теперь уж тут ничего не узнаешь, а ведь так-то вот от колодца дом шел. Большой, двухэтажный... Весь застекленный - окна, двери... Вид такой церковный, все такими полукружками было. Тут тебе стеклышко фиолетово, тут розово, тут оранжево... Столбы разные... Это - большой-то дом. А за ним церква стояла деревянная. Только уж она, Барыня, так ее и недостроила... А уж как хотела. Потом по леву руку маленький флигелек, келья. И по праву руку такая ж... Сарай был, кухня. В сарае-то тарантас, сани...

Ее так-то уж по имени никто и не знал. Все только; Барыня да Барыня... Простая была... Вот к Аннушке, в крайнем-то дому живет, бывало придет, сядет: "Аннушка, я к тебе". Картошки поест. Хуже бедных была... А летом к ней в большой дом все из Москвы дачники едут. Барины, барыни, баронесса... В кухне тут тебе обед готовят, варенье варили... А сама-то она во флигеле жила, в келье... Так поест кой-чего. Кошки у нее были, собаки - табунами. И ест она с ними с одних блюдецек...

Как-то отец мой, покойник, зашел к ней. Она его любила. Все бывало: "Голубчик, голубчик..." Зашел как-то к ней. "Зайди, зайди, голубчик, давай чаю попьем". А из этих блюдецек кошки да собаки едят... Отец сказывал: "Меня чуть с души не своротило". Уж на что бедная была, а церкву построила... Уж очень ей хотелось. Это она за отца... Отец у нее тут похороненный был в склепе... Про мужа-то она никогда и не поминала, а вот за отца. Над его, значит, могилой... Мы ведь и не знали, что тут склепа... Это уж потом получилось. Только что могила была, крест стоял железный, с венком... Да... А потом Барыня четыре столба вокруг поставила, а на их - церкву... Только денег-то у Барыни уж не было, кончились деньги-то. Так вот, сказывают, она луга свои заречные, да лес у ней был, да вот и имянье свое - все продала тогда фабриканту Демидову... Все продала Барыня, чтобы, значит, это отца-то почтить, церкву-то поставить... А тут уж и революция,

церквы-то, они и не нужны стали. И Демидов уж не попользовался купленным.

Тут и в городе-то их из домов попросили. Так церква у Барыни недостроенная и стояла. Но уж рамы были, полы настланы, потолок... Алтарь уж был. Только что иконы не повешены, а так-то все готово. Маленькая была церква, деревянная... Я ведь почему знаю, мальчонком еще с пацанами лазили в окно. В церкву-то.... Окна были - где квадратики, где овалы, где круги... А так-то Барыня образована была. Отец сказывал, три языка знала. Книг у нее было много, да все ноты эти для пианины... Потом все в кучу стащили да жгли. Ну, а которые книжки с картинками, те мальчишки растаскивали. А без картинок-то они кому интересны?.. Или вот ноты те...

Сначала у Барыни лошадь была да кучер Прокопий. Вон в том дому жил. А уж потом она лошадь продала, он ее на своей возил... А то и с Аннушкой на телеге ездила Барыня. И обряд тут уж у нее какой - шаль да вельветово пальтишко... Молоко Барыне наши носили, деревенские... С большой дороги у нее огонек всегда было видать... А в буран мужики к Барыне ночевать ходили. "Пойдем, дескать, к Барыне". Она не запиралась даже. Отец-то ей, бывало, скажет: "Барыня, Барыня, больно просто ты живешь. Наскочут ведь". А Барыня ему: "Голубчик, если меня убьют, значит, судьба у меня такая..." Хотелось ей, видать, мученической-то смерти... "И потом, - говорит, - со мной Боженька и шесть дружков". Это наган у нее какой-то был, говорят, шестиствольный... Так-то Барыня отцу говорила.

И вот утром баба одна наша понесла ей молоко. Идет колидором, а шкапы-то все отворены, да ноты эти все из шкапов повыкинуты... Баба идет, только шкапы закрывает... Может, думает, Барыня угорела? Да и к ней скорей бежит... А она-то, Барыня, лежит на кровати и на стул свисает... Вся багровая. И на темени мозг видать... Ну, тут в колоколо ударили. У нас там часовня была. "Барыню! Барыню убили!" Все сбежались, а Барыня так на стул свисает с кровати и стонет "О!.. О! О!" - "Барыня, кто тебя? Барыня, кто тебя?" Уж она ничего не ответила, не сказала...А знала, видно. Тут ее на лошадь, да и в больницу. Только не доехали, дорогой померла Барыня. Назад вернулись... Не довезли до больницы. А кровать-то у нее напротив двери стояла, и огонек всегда ночью горит. А на столике лежал наган припасенный.

Барыня, наверно, протянула руку - вот я в тебя выстрелю... Это мы уж после тогда плановали. У нее рука была расциплена. Ей со свету-то в темноту не видать целиться... А тут ей по руке и шарахнули, выбили шестиствольного-то дружка... И тринадцать

ран складным ножом в щеки. Мучили Барыню перед смертью, врач сказывал... Где, дескать, твои деньги? Все думали, есть у ней деньги... А уж чтоб прикончить, по темени шарахнули. Мозг был виден... Это уж в самую революцию, тогда и не искали их. Подумаешь, Барыню прикончили... У нее только что пропало - зеркало со стены, наган этот да шаль черная, она зимой ходила. Потом зеркало это у одних появилось. Было это зеркало у них, только теперь уж и они умерли. А кто искать-то будет? У Барыни никого не было.

Жила одна поедная. А денег у ней не нашли. Только что под матрацем вышитое это... Чем в церкви Дары покрывают, это нашли... Это она сама вышивала для церкви. А дом-то потом еще стоял. Сколько лет... И дом, и кухня, и церква... Только уж потом его, дом, внутри весь ободрали... Трюмо было, как в хорошем магазине, стулья на колесах мягкие, пианина... Все тогда вывезли в народный дом. И куда все делось? Видно, по начальству пошло... А дом-то весь растаскали. Такая по ночам таскотня была. Сначала рамы стали снимать, двери. Потому что ручки хорошие были, никелированные... Потом внутри весь ободрали - плинтуса, тес... Изразцовы печки - и те растащили. Тут все наши деревенские воры шабарили. А мы, молодежь, туда гулять ходили, беседу там устроили... Без дверей он стоял, без рам. Мальчишки камнями все стекла цветные повыбили... А гулять в нем хорошо - и холодок, и дождик не каплет. Гуляли мы там каждый вечер. Только что в церкву еще заходить боялись - стояла она на замке закрытая...

И вот, помню, в самый-то Духов День, на другой день Троицы, сестра у меня замуж выходила... Пропивать сестрицу-то к нам ехали... А тут часа в два, в три вспыхнул там пожарище... А она у нас за симпатию выходила. Такой был красавик... И вот старики считали, что плохо дело. Примета нехорошая - на свадьбу пожар... Парень-то был высокий, красивый... И вот на шестой год оставил он ее. Помер. Порок сердца... А к нам ехал тогда пропой. А мальчишки-то маленькие, наверно, курили на чердаке ноты-то эти, вот оно и занялось. А ведь она дранкой крыта, в Троицу, в сухоту-то такую... Ударили тут в колоколо: "Барынин дом горит! Барынин дом горит!" Тот-то вон край мужики едва и отстояли. Только еще овин сгорел... Ну, и все Барынино именье подчистую... И церква, и кельи... Большой-то дом больно красивый был. Жалко... И весь стеклянный, насквозь его видать... Раз она, Барыня-то, попов к себе ждала, да в большом доме стол накрыла... Они, попы, ведь тогда ходили по домам в престол да на Рождество - Христа славили... Ну, вот и Барыня готовилась - накрыла стол. Пошла опять в кухню за новым, за кушаньем, а

дверь-то стеклянную не заперла...

А мальчишки наши и увидали. Влетели туда, глядят-сыр... Мы ведь раньше-то сыру не знали, не пробовали, что такое. Глядят, сыр нарезанный стоит. Схватили да и убежали в болото. Давай пробовать...Тыпфу ты, какая гадость! Все побросали... А Барыня после жаловалась: "Только, - говорит, - я вышла, они у меня сыр стащили". Добрая была Барыня... Ну, а как уж тут все сгорело, мужики наши давай фундамент ломать, кирпичи таскать... И вот как тут получилось. Мальчишки там по саду бегали, играли. Сад-то еще был. И вот слышат, вроде в этом месте под ногой зыбит, гудит. Вроде там пусто... Ну, давай ковырять, а там кирпич. Это под церковью-то, где церква у Барыни была... Кирпич. А они давай камнем бить... Все клады тогда искали. Пробили в кирпиче дыру...

Кинули камень, а там загремело. Склепа, значит... Гроб-то был оцинкованный, как все равно вот ведро. Они все больше да больше расковыривают... Расковыряли, сделали как в подполье лазею... И гроб этот видать. Пойдем вот так же, бывало, по воду на колодец да полюбуемся - там гроб стоит... И как-то тут в воскресенье мужики наши подвыпили да и уговорились: давайте разломаем гроб.

Пожалуй, что там золотая шашка есть. Отец-то Барынин военный был. Говорили, генерал. Может, шашка золотая или золотые часы... Ну, Барыня-то не дура, она золотую вещь не закопает. А мужики-то дураки, думают захватить да поделиться... Зажгли сноп соломы, дело-то уж под вечер. Иван Иванович Шеин прыгнул туда и давай вскрывать этот цинковый-то гроб. Ломом. Думает, там часы золотые... Долго ломал, ведь завинчено все, да и заржавело. А там внутри гроб уж деревянный, чистый. Ничего ему не сделалось, вода-то не проходила... А внутри чего - костюм у его, кости, белая подушка, волосы... Уж ишеило все, истлело.. Все переверостили, склепу тут народ окружил. Ничего не обнаружили, чтобы там шашка или какая шпага... Или золотые часы. Только что медную пряжку нашли... Помню, волосы были желтые... А так все истлело. Переверостили могилу и разошлись народ... Его ведь еще когда хоронили.. Я-то не помню. Знаю только. Барыня по нем поминки устроила. С неделю сюда со всех деревень шли обедать... Только что объявили, чтоб со своими ложками. Все шли целую неделю. Кто хочет, поди... Кому только лень не пошли, а так все тут были... Это Барыня ему, отцу-то, поминки делала... Отца поминала.

Добрая была Барыня. И великая была лечебница. Лечила всех, никому не откажет. У нее аптечка была, травы Барыня выискивала. А уж у кого чирей, нарыв ли, примочки какие - всем

помогала... Я раз прибегаю к ней: "Барыня, Барыня, дай пластырь". - "А у кого чего болит?" - "У Коли у братца палец нарывает". - "Николке бы не надо давать, он у меня собачью кастрюльку кинул". Три собачки были у нее мохнатенькие... Никогда не откажет. И всех нас, ребятшек, по именам знала...

Ну, расковыряли мы тогда эту склепу, а тут как на грех такая оказия... Барыниным садом тогда гоняли стадо. Ну, одна коровенка- то ли на нее бык насел, то ли своя же корова - только что залетела она в эту самую склепу... Ну, опять в колоколо: "Корова в склепу попала! Корова в склепу попала!" Чего тут делать? Народ собрался, ахают... Как ее вынешь? Веревкой поуродовать можно... Ну, тут вышел мой отец покойник. "Неси, - говорит, - мужики, лопаты". И давай в склепу-то землю кидать. Накидали земли, вровень стало, ну, корова-то и вышла... Да... Так вот и склепу зарыли. А уж тут чего осталось? Только что сад... Да внизу у Барыни была насажена березовая роща. Я еще мальчонком, помню, грибы белые там собирал. Рощу свели. Еще вокруг всего имения акации росли. Так квадратом, и канавы были. Забора-то у Барыни не было. Ну, акацию эту мужики вырубili, все плетни себе городили. Тоже всю свели...Вот и не осталось ничего... Только что этот колодец. Да место уж больно красивое... А колодец давно копанный. Мне уж шестьдесят шесть, а он все был, колодец-то. На свои деньги Барыня копала. У нас мужики и тут копали, и там, а все воды нет. А вот Барыня нашла. Ключи там какие-то... И на самой, гляди, горе. Вот добро-то какое оставила селу, поит нас водою сколько лет. А вода-то какая, вы попробуйте...

И вот раз мой отец-покойник к ней приходит. Барыня его любила, он разговористый был мужик. "Голубчик, - все говорит, - голубчик..." А он ей: "Барыня, Барыня, вот ты, говорят, поешь да на пианине своей играешь. Хоть бы раз мне чего сыграла да спела, а то ведь никогда". А голос, сказывают, у ней был замечательный... Вот уж сколько лет прошло, и отец помер, а я так и не забыл песню ту, что ему Барыня пела. Отец ее часто вспоминал, как она ее пела...

Открыла Барыня пианину, заиграла и запела нараспев:

По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел.
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов.
И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой...

июль 1971 г.

С Михаилом Николаевичем Ярославским я познакомился в 1980 году, в год принятия священного сана. Тогда он был главным

бухгалтером Ярославской епархии. С первого взгляда поразил меня его облик: был он высок, прям, худощав... А главное, лицо: ум, доброта, благородство. Такие лица часто встречались в старой России. Все предки Михаила Николаевича и с отцовской, и с материнской стороны—священники. Кстати сказать, старший брат его—Сергий, в монашестве Кассиан, долгое время был архиереем в Костроме.

В 1983 году я записал на диктофон воспоминания Михаила Николаевича о Священномученике Архиепископе Углическом Серафиме. В моей записи содержится очень важное историческое свидетельство, и я прошу читателей обратить на него особенное внимание. Как мы узнаем, «временный патриарший Священный Синод», который вместе с Митрополитом Сергием (Страгородским) подписал печально известную декларацию 1927-го года, был сформирован на Лубянке, в НКВД. А посему вполне уместно предположить, что и сама декларация сочинялась или составлялась по тому же, всем известному, адресу.

Летом 1985 года Михаил Николаевич Ярославский (было ему уже за 80) тяжело заболел, и его поместили в Ярославскую областную больницу. 25 июля я его навестил. Между прочим он сказал мне буквально следующее: «Мне во сне явился Владыка Серафим и сказал: "Миша, подавай заявление, увольняйся. Переходи ко мне". И тут Владыка исчез».

М.Н. после этой болезни так и не оправился, стал немог, практически не выходил из квартиры. Скончался он 16 октября 1988 года.

[См. библиографию по декларации.](#)

ИПОДИАКОН

Мой отец был священником в селе Золоторучье, два километра от Углича. До революции это отличный был приход. Там жалованье было, земли десятин, кажется, шестьдесят. Детей у папы с мамой было пять человек, всего семь — две девочки умерли. Мама была сельская учительница, и мы материально жили очень хорошо. Я считался богачом в духовном училище. Получать какое-либо пособие или пользоваться льготами в Кашинской семинарии, где учился мой старший брат Сергей (теперь в монашестве Кассиан, костромской архиепископ), папа не хотел. Он говорил, что это — «деньги сирот»... Кашин от Углича 45 километров, а Ярославль — все 100... А до Кашина — папа на своей лошадке утром уедет, на следующий день брата

привезет... Все деды мои и прадеды были священники. Были, конечно, псаломщики по маминой линии... Отец моей матери был священником в городе Рыбинске. Он обладал очень хорошим голосом, была у него знаменитая октава. Был он сначала певчим архиерейского хора у Владыки Нила... Звали его отец Евграф Рождественский. В старых книгах он значится. Где-то в епархиальных ведомостях была большая статья о регенте Розове, у которого в хоре пел мой дедушка. Там небольшой был абзац, который примерно я помню: «Кто из прежних ярославцев не помнит такие выдающиеся голоса того времени, как Евграф Рождественский октава, Казаринов (кажется) баритон...» И еще тенор — фамилии не помню... В 1921 году на приходе моего отца в Золоторучье освободилось место псаломщика. И отец очень хотел, чтобы я его занял. А для этого нужно было подать прошение Владыке Серафиму, который был епископом Углическим, викарием Ярославской епархии... Сам Владыка Серафим (Самойло-вич) был родом с Украины. Сын псаломщика из Миргорода. Но при этом был в отдаленном родстве со знаменитым гетманом Самойловичем... Теперь в Миргороде курортное место какое-то... А Владыка вспоминал — лужа, грязь там была. Всегда свиньи там купались... А теперь курортное место... Кончил он Полтавскую семинарию. А в каком году он родился, я точно не знаю. Но приблизительно можно все-таки

35Часть I

определить это. В Угличе был протоиерей Розов, отец Николай. Его сын Сергей Николаевич Розов, кончивший духовную семинарию в 1904 году, был направлен в Санкт-Петербургскую академию. По окончании академии он получил место в Полтавской семинарии. Как раз в этот год Владыка Серафим закончил эту семинарию. И мне он говорил, что помнит по Полтаве Сергея Николаевича Розова... А уже в Угличе они были в дружеских отношениях. Сергей Николаевич преподавал литературу в школе, а потом в педтехнику-ме. В церковь он ходил, в Алтарь. Значит, Владыка кончил семинарию в 1908 году, а родился, следовательно, в 1886 или 1887 году... И это похоже... Тридцати трех лет он стал епископом... После окончания семинарии он уехал в Америку к будущему Патриарху Тихону и там с ним сотрудничал... Как будто он пробыл там почти десять лет... После этого он был у Владыки Тихона уже здесь, в Ярославской епархии... Был наместником монастыря наТолге... Ауже при митрополите Агафангеле стал настоятелем Покровского монастыря в Угличе, в трех километрах от Углича... А хиротония

его была во епископа Романовского, но угличане сразу же перепросили его к себе... В течение ста дней Владыке Серафиму пришлось управлять всей Русской Православной Церковью... Это было в 1926 году... Митрополит Сергей был в заключении... Все были в заключении... И вот он управлял... Владыка мне говорил, что ему, как главе Церкви, власти тогда предложили Синод... И указали кого — членами Синода. Он не согласился... И сразу получил три года соловецких лагерей... Но он Церковь никому не передал, а написал или сказал, что объявляет автокефалию каждой епархии... Так как глава Церкви — лишний кандидат в тюрьму... И его после этого тут же освободили... А вскоре был освобожден митрополит Сергей... И им был создан Синод из всех тех членов, которых власти предлагали Владыке Серафиму... Но когда они это ему предлагали, Владыка Серафим выдвинул своих всех членов... Я знаю, что он называл митрополита Кирилла... «Так он же, — говорят, — сидит». — «Так он же у вас сидит, освободите его...» Был у меня зять, протоиерей Александр Васильевич Лебедев, священник Преображенского монастыря в Казани, доцент тамошней духовной акаде-

36

Иподиакон

мии... Был потом секретарем архиерея... А впоследствии он стал управляющим делами при митрополите Сергии... Так вот он потом мне говорил, что, будучи местоблюстителем патриаршим, Владыка Серафим дела решал великолепно. Все резолюции его — самые образцовые... Не подумаешь, что это человек всего-навсего с семинарским образованием... Он и дипломат был хороший, но и строгий, требовательный... У нас вот такой случай был в Угличе. Служил на Сухом пруде священник, кажется, отец Александр. Вдовый. И у него какая-то появилась женщина... Владыка вызвал его и говорит: «Я тебя запрещаю на месяц. В течение месяца чтобы у тебя этой женщины не было, если ты хочешь служить. Через месяц явишься». Отец Александр пришел через месяц и заявил, что не может эту женщину выставить. «А не можешь выставить, значит и служить не можешь». Запретил его и объявил приход свободным... А в Углическом нашем викариате было тогда более сотни церквей... И монастыри были — в городе Богоявленский женский, Алексеевский мужской, в десяти километрах Николо-Улейминский, в трех километрах Покрово-Паисиевский, и потом Епихарка, пустошь женская... Да... Так вот в двадцать первом году пошел я в собор подавать Владыке

Серафиму прошение... Во время шестопсалмия духовенство в Алтаре подходило к архиерею под благословение... Подошел и я, самым последним и говорю: «Не можете ли вы меня назначить псаломщиком в Золото ручье». А он говорит: «А вы кто такой?» — «А вот я кончил духовное училище, перешел в семинарию. Семинарию закрыли. Сейчас учусь в школе второй ступени. Я — сын священника, отца Николая». — «Значит, вы брат Сергея Николаевича? Что же я вас нигде не встречал? Сколько вам лет?» — «Семнадцать». Так и назначил он меня псаломщиком... А в двадцать втором году Владыка служил у нас в Фомино воскресенье, в Золоторучье. А я на левом клиросе часы читал. Владыка похвалил меня за чтение... Тут меня и протодиакон заприметил. Но тогда вскоре Владыку посадили. Что-то было связано с изъятием церковных ценностей. Получил он три года, а отбыл полтора. И снова вернулся в Углич. И тут уже протодиакон, как увидит меня в церкви, подходит и говорит: «Миша, надо тебе облачиться, у нас не

37 Часть I

хватает иподиаконов». Вот так я стал иподиаконствовать... Сначала временно... А так как я был очень стеснительным, то когда проходил правым клиросом, певчие там меня все за стихарь дергали. Я старшему иподиакону говорю: «Боря, нельзя ли мне не ходить правым клиросом?» — «Почему?» — «Да вот девчонки меня там все дергают за стихарь». Он рассказал архиерею. Архиерей говорит: «Так надо его взять в постоянные». Я был вторым иподиаконом. Первым иподиаконом Боря Крылов... Но как-то вскоре, через год, может быть, он утонул... И я занял его место... Это был уже, наверное, год двадцать четвертый... Тут уже я стал сопровождать Владыку в качестве келейника... По Ярославской епархии и в Москву... Были мы как-то с Владыкой Серафимом в Москве. Он был у митрополита Петра. Я сидел в приемной дожидался... И вот какой-то там мужчина, так лет за тридцать, такой юркий, проворный... Все он куда-то спешит. Впечатление такое у меня создавалось, что он или кого-то догоняет или убегает от кого-то... Владыка Серафим выходит через некоторое время и говорит: «Тебе придется съездить в Нижний, к митрополиту Сергию и свести туда пакет». Мне не хотелось. И я сказал: «А почему свои-то здесь, разве не могут поехать?» — «Некого, — говорит, — послать. Одни агенты». Ну, что же делать?.. Согласился я, поехал, взял билет. Сажу опять в приемной, ожидаю с билетом... И вдруг этот юркий подлетает ко мне и спрашивает: «Ну как? Билет взяли?» — «Какой билет?»

— «Ну, как какой билет? Вы же в Нижний едете, к митрополиту Сергию. Вам сейчас будет пакет вручен, но еще дополнительно кое-что вам в вагон принесут». Чувствую, он все знает. Я показал ему билет, номер вагона и номер места... Он опять убежал. Владыка выходит, отдает мне пакет. Вышли мы с ним... Я и рассказываю ему эту историю... А он: «Да что ты сделал? Ты же все дело испортил. Это самый агент и есть...» Я говорю: «А чего же его держат?» — «Попробуй, выгони его... Давай пакет, тебе уже нельзя ехать...» Обиделся на меня... Ну, и я себя неловко чувствовал... Вернулись мы. Пошел он к митрополиту Петру. Через некоторое время возвращается. «Да, не надо ехать, — говорит, — митрополит Сергей позвонил, сам сюда едет». Так все это и кончилось... А то еще был такой случай.

38

Иподиакон

Поехал я в Ярославль к митрополиту Агафангелу с поручением от Владыки Серафима. Повез пакет. Он, меня посылая, сказал: «Там увидишь по обстановке. Если нельзя будет к митрополиту, зайди к секретарю, отцу Николаю Розову и передай пакет». Ехал я на пароходе. Пароход медленно тогда очень шел, всю ночь... Трамвай в Ярославле подходил к самой пристани. И вот я сажусь в трамвай и чувствую себя, как под прожектором... Сел я в последнюю дверь... Толкался там, едва забрался... А потом, думаю, зачем это я?.. Ведь недалеко идти-то — всего две остановки... Стал я выбираться... Тетка какая-то говорит: «Что ж ты, парень, лез, лез, а теперь — назад». Выскочил я и почему-то сразу под прикрытием вагона побежал... Страх на меня напал какой-то... Побежал под мост... Там за мостом лестница налево... Выбежал на бульвар... И когда поднялся на бульвар, только тогда пошел спокойно... А потом, когда меня в Угличе на допрос вызывали, говорят: «А вот вы должны были поехать от митрополита Петра к митрополиту Сергию... А потом вас в вагоне не оказалось». Вроде бы я сделал преступление. А я: «Так я же не поехал. Преступления-то я не сделал. Да еще и неизвестно, преступление ли это было...» — «А вот второй, — говорят, — случай в Ярославле. Мы вас там встретили, и вы в вагон сели, в трамвай... А только в трамвае вас не оказалось...» — «Не в невидимку же я превратился...» Это уже была подготовка к моему аресту. В двадцать седьмом году меня арестовали. Дали три года, а отсидел я два... В двадцать восьмом году умер митрополит Агафангел. Но, по-моему, еще до его смерти Владыка

Серафим был выслан в Могилев. Он там жил в каком-то монастыре. С ним находился Ваня, послушник Покровского Углического монастыря. Потом Ваня этот тоже был в заключении... И вот в двадцать девятом году, в конце срока, сидел я в Кеми, в пересылке, работал там на лесопильном заводе... И прибывающие заключенные два раза меня вызывали: «Фамилия твоя Ярославский?» — «Ярославский». — «Самойловича знаешь? Владыку Серафима?» — «Знаю». — «Так вот он сидит в Бутырках, ждет соловецких лагерей. Просил тебя встречать прибывающие этапы, может быть, он поедет». А еще один мне сказал, что Владыка ждет себе высшую меру или десять лет, чем я очень был рас-

39Часть I

строен... А там тогда много духовенства сидело. Помню, был отец Александр, архимандрит, настоятель Семиезерной пустыни из Казани. Я с ним был несколько знаком. Разговаривал с ним нередко... И как-то хвалил я ему своего зятя — протоиерея Александра Лебедева, он ведь тоже служил в Казани. А отец архимандрит мне и сказал: «Что ты сестру-то свою не похвалишь? Хорошо ему быть строго православным, имея такую жену, которая говорит: "За меня не беспокойся, только не криви душой". А другие, как батюшку посадят, так они в истерику, матушки-то. А она: "Не беспокойся, только не криви душой..."» А как новый этап к нам пригонят, мы все спрашивали священников, да и дьяконов, как там на воле? Молятся ли за советскую власть? И вот этот архимандрит Александр, помню, когда его спросили: молитесь ли за власть? Он говорит: «В самое "ДО" берем...» А то еще был там с нами владыка Нектарий (Трезвинский), викарий Вятской епархии, епископ, по-моему, Ярангский... Он был одно время наместником Александро-Невской Лавры. Встретился я с ним там, в кемском пересыльном пункте. Смотрю, кто-то такой в духовной одежде, в подрясничке, в скуфеечке, сапоги — колет лед у нашей столовой, у кухни лагерной... А вообще-то, у нас архиереи все больше с метелочками ходили, разметали снег на панелях. Ну, лопаткой немножко... А тут вижу, какое-то духовное лицо так старается, колет лед... Я его спросил: «Батюшка, вы в каком сане будете?» — «А вам, — говорит, — какое дело?» — «Да я, — говорю, — сам из духовных немножко... Правда, я не духовный сам-то... Но сын священника, был иподиаконом у Владыки Серафима...» — «А, — говорит, — из Углича, значит?» Оказывается, он многих там знает... «А я, — говорит, — иеродиакон». Ну, так я его и звал — «отец иеродиакон». Были у нас хорошие с ним, дружеские

отношения... Шутили мы с ним иногда. Духовенство тогда находилось почти все вместе, в одном бараке. Правда, там и другие были, гражданские лица... Великим постом песнопения мы пели — «Покаяния отверзи ми двери», «На реках вавилонских»... И вот этот мой знакомый «отец иеродиакон» управлял нашим хором. И я помню, какой-то Владыка ошибся, а он ему кулак к носу подносит. Я после ему говорю: «Ведь это неудобно, отец иеродиакон, так с архи-

40

Иподиакон

ереем-то обращаться». — «А что же он? Уж взялся петь, так пой». И так дожили мы, это зимой было дело, до весны. Весной убирают снег. А я стоял и разговаривал с одним священником, заключенный тоже, конечно. Сторожем он был. Разговариваю я с ним, а там везут на санках снег. И сзади вот мой знакомый «иеродиакон» лопаткой этот снег подпирает. А мой знакомый сторож, батюшка, кланяется и говорит: «Здравствуйте, Владыка!». А я говорю: «Который же тут Владыка?» А он: «С лопатой-то». Я ему: «Так это же иеродиакон». — «Что ты?» — говорит. «Так я ж, — говорю, — его знаю». «Ая, — говорит, — с ним рядом сплю». Так я смутился... На обратном пути, когда они с санками возвращались, этот батюшка говорит: «Владыка, что же вы невинных людей в заблуждение вводите?» А он улыбается... Действительно, архиерей... И стал я от него бегать... Как увижу, что идет Владыка Нектарий, так я от него бегом... А потом как-то встретился с ним нос к носу, бежать уже некуда... «Владыка, простите меня... Что я вас называл иеродиаконом... Вы ведь меня ввели в заблуждение...» А он: «А почему ты решил, что я действительно иеродиакон, не посомневался?» — «Да вот вы уж очень работаете-то не по-архиерейски... Архиереи так не работают...» — «Да, они все лодыри», — говорит... А потом оказывается, я уже после слышал от своего двоюродного брата, Державина Александра Михайловича, московского протоиерея, а его, Владыки, товарища по академии, — что он потонул... Его сделали доставщиком посылок на Соловецкий остров... Наверное даже, жулье, его и толкнули... Утонул в Белом море... Сидел там с нами епископ Глеб, по-моему, фамилия — Покровский. Викарий Рязанской епархии, епископ Михайловский... Было это вскоре после моего прибытия в Кемь... Однажды возвращаюсь я с работы в барак, смотрю все духовенство какое-то такое напряженное... Задумчивое такое... О чем-то тут говорят... Я спрашиваю: «Что

такое?» — «Владыку Глеба освобождают. И он не знает, куда ехать. Послал митрополиту Сергию телеграмму, куда он может, какой ему город избрать — ответа нет». И я говорю Владыке Глебу: «Владыка, а возьмите Кашин. Этот город недалеко под Москвою, на железной дороге. Владыка Иосиф из Кашина переведен в Могилев. Я знаю, епархия... кафедра там свободна...»

*41 Часть I

А Владыка: «А куда я поеду-то там? Где я остановлюсь?» — «А мой брат, — говорю, — там в семинарии учился. Я вам дам адрес. Отец Сергей Соколов, священник Ильинской церкви. Найдете там». Он опять послал телеграмму митрополиту Сергию, может ли он избрать Кашин. В ответ получил: «Не возражаю». И поехал в Кашин. И после я получаю от брата своего письмо. Пишет: «Отец Сергей (это бывший его квартирный хозяин) шлет тебе благодарность за то, что ты порекомендовал Владыке Глебу поехать к ним в Кашин. Владыка явился как раз в день его именин... И так они все были довольны...» Владыка Глеб так и жил потом у него на квартире... Но Кашинским, кажется, он так и не стал... Какая его судьба дальнейшая, я не знаю... Да, так вот уже в двадцать девятом году накануне самого освобождения я все ждал этапы — не привезут ли моего Владыку Серафима. И вот как-то в ночную смену слышу: «Этап выгружают». Я пришел в лагерь ча- са что-то в два или в три... И вдруг говорят: «Ведут этап». Я сразу подбежал к окну. Смотрю, Владыка Серафим идет. И еще какой-то с ним духовный... Я из окна кланяюсь, а Владыка на меня смотрит так, как будто не узнает. А сосед его кланяется мне. «Ну, что же, — думаю, — такое?» Так расстроился. Уснуть я, конечно, уже не мог. Так лежал до утра. Потом слышу, там карантинную роту, прибывших учат здороваться: «Здравствуйте, карантинная рота!» Я пошел за склад, смотрю Владыка уже узнал меня, по фигуре, очевидно... Показывает: «Достань поесть». Я спросил его: «Сколько?» Он на пальцах показал три... Я даже перекрестился. Три года это детский срок считался... Потом побежал я к папаше этого Вани, который был с ним в Могилеве. «Василий Иванович, ведь Владыка Серафим здесь. Просит поесть. Можете вы это сделать?» Тут мы с ним достали белого хлеба, чего-то еще... Сахару, масла сливочного... В лагере все это было... Там продавали... А тут уже повели этот этап, в том числе и Владыку, повели их, как называлось, на обработку, на заполнение анкет... Я в ихнюю толпу и вбежал... С мешочком... Он говорит: «Так это ты в окно-то смотрел? Я ведь тебя не узнал... Зачем ты усы отрастил? Они тебе совершенно не идут, такие усы... Я ведь

ожидал тебя увидеть, какой ты был... А тут еще меня и Владыка Алексей (Буй) сбил: «Как, — говорит, — приятно

42

Иподиакон

встретиться здесь с земляком». Я и поверил, что ты — его знакомый...» Отдал я ему мешочек. А на следующий день он опять просит поесть. «Я ведь вам вчера принес, Владыка...» — «А я уж все роздал.» — «Владыка, ведь здесь же тюрьма... Нельзя ведь это делать...» — «А ты знаешь, какие люди-то хорошие... А у них ведь никого нет. А у меня вот ты есть...» — «Это все, — говорю, — верно...» Так вот я и носил ему передачи... К счастью, с командиром ихней карантинной роты был хорошо знаком один протоиерей, заключенный, из Егорьевска под Москвой... У него и отец был протоиерей, и два брата были протоиереи. То ли Устиновы, то ли Устины... Этот был самый младший. Миша его звали... Отец Михаил. Я еще там с ним в хоре пел... Хороший у него голос был... Он, значит, договорился с командиром карантинной роты, и меня к Владыке пропускали туда, сколько угодно... Помню, первый раз я туда к ним пришел. Владыка Серафим внизу нары занимал... А над ним на верхних нарах сидел епископ Герман Псковский (Ряшенцев)... А мой Владыка увидел меня и говорит ему: «Мой Миша идет». А тот сверху говорит: «Какой это Миша, это целый гренадер»... Ходил я к ним, сидел там у них на нарах... А они сидят и спорят. Об отношении к митрополиту Сергию и все такое прочее... И был такой вопрос... Владыка Серафим говорит: «Я Сергия порицаю... Но считаю, что откалываться от него нельзя. Будешь ты со мной служить или не будешь?» — «Буду», — говорит Владыка Герман. «И я с тобой буду служить». А оба сидят на нарах... Но я-то свой срок уже кончал. Вот-вот должен был освободиться... Это был июнь двадцать девятого года... И вот иду как-то с работы, с лесозавода... У меня пропуск был. И вдруг вижу: стоит мой Владыка Серафим, собранный на этап, с мешочками. Я — к нему. «Что такое?» — «Да вот, — говорит, — отправляют, не знаю куда...» Я скорее в продотдел. У меня там знакомые работали, тоже бывшие псаломщики. Спрашиваю: «Куда Владыку отправляют?» А они мне говорят: «В Мурманск. Будет сторожем работать. Жить на вольной квартире». Я бегу к нему. «Все слава Богу. Поедете в Мурманск, жить на вольной квартире...» — «Ну, — говорит, — Миша, спасибо тебе...» Благословил он меня, и повели его... Больше я его никогда в жизни не видел... В Мурманске он прожил что-то года два. А

Иподиакон

потом получил ссылку в Космодамианск на Волгу. Там жил... А в тридцать третьем году посадили меня во второй раз. Мы находились в рыбинской тюрьме, бывший Софийский монастырь... А сидели мы вместе с братом, отцом Сергием, и с мужем двоюродной сестры — Казариновым, отцом Геннадием. Он был благочинный... Ну, все вместе, конечно, питались... И вот однажды приносят мне передачу... От кого передачу?.. Удивляюсь — Ярославскому Михаилу... Потом через некоторое время вторую передачу, опять мне. Я побежал на вахту... Говорят: «Была какая-то старушка, ушла...» И третья передача. И там записочка, рукою Владыки Серафима написана: «Посылаю тебе с Сережей, поделитесь с Геннадием Николаевичем...» А после вот что оказалось... Узнал я все, когда уже освободился и жил в Рыбинске в годы войны... А жил я у монахинь на квартире — Бывшее Углическое подворье... Вот они и рассказывали. Владыка Серафим в тридцать третьем году хотел поехать инкогнито в Углич, из Космодамианска, из ссылки. Так вот он ехал через Рыбинск и зашел там к врачу Поройкову Михаилу Александровичу. Эта семья ему очень близка была. Зашел он к Поройковым. «Вы куда, Владыка?» — «Да в Углич хочу». — «Да что вы! Ваши ведь тут сидят». — «Кто же?» — «Два брата Ярославских, да Казаринов». — «Да что вы? Так им надо передачу организовать!» Вот он нам передачи и организовал... А после их всех там таскали... И в Углич Владыка так и не поехал, отговорили они его... Около самого Углича есть село Котово... Там была очень хорошая семья Тиховых. Младшая дочь у них была Ираида Иосифовна. Она была учительницей в селе Архангельском, где мой брат был священником. Вот она выполняла многие поручения Владыки Серафима... Ездил с его поручениями. Навещала его в заключении дважды. Между прочим, у нее на квартире в войну был епископ Василий (Преображенский), кажется из Кинешмы... Так вот, году в тридцать шестом Ираида Иосифовна ездила к Владыке Серафиму в какие-то красноярские лагеря. Шла она, в конце концов, пешком, догнал ее на лошади какой-то человек. Спросила она его о дороге. Он говорит: «Садись, я тебя довезу». И прямо в лагерь-то ее и завез... В зону... Оказывается, это заключенный ехал. Охрана на нее: «Что за женщина тут?!» Она говорит: «Я к Самойло-

вичу приехала». Охранник тут тон переменял: «Это к дедушке нашему?.. Сейчас я его приведу... Это я сначала даю вам свидание сам от себя. А потом пойдем хлопотать к начальству». И вот не помню, сколько она у него часов пробыла. Владыка ей сказал: «Рая, больше ты не езди ко мне. Я, наверное, освобожусь. А если не освобожусь, мои кости отсюда все-таки вывези». А потом и ее тоже посадили, два раза она сидела... А я сам после второго срока освободился в тридцать седьмом году... Из Дмитровских лагерей, со строительства канала... И вот тогда уже мне Ираида Иосифовна говорила, что ей вернули две посылки, отправленные Владыке Серафиму, с зачеркнутым его адресом. И после этого она уже ничего не имела, никаких сведений... А когда она была в заключении, слышала, будто бы его расстреляли... Но она этому не верила или не хотела верить. Утверждала, что дата неточная. Что после этой даты, которую ей называли, она получала от него письма... Насколько все это достоверно — не знаю. Да, вот еще о зяте моем, о протоиерее Лебедеве... Году что ли в тридцатом митрополит Сергей вызвал его из Казани и предложил ему должность управделами... Дал он тогда согласие митрополиту Сергию и возвращался к себе в Казань. А по пути заехал к Владыке Серафиму в Космодамианск. И Владыка Серафим, он потом рассказывал, буквально на коленях просил его: «Не ходи к Сергию». — «И я бы, — говорит, — выполнил его просьбу... Но не мог выполнить, потому что я уже дал согласие митрополиту Сергию». Он, Лебедев, нам всегда говорил: «Надо быть очень осторожным. Надо в каждом человеке видеть сотрудника ГПУ и отвечать так, как будешь ты говорить следователю. И никогда ты не попадешься». Это он мне делал замечание, когда я освободился во второй раз. А самого его вскоре тоже арестовали... А через год его жену... Один раз в жизни видел я Патриарха Тихона. Он уже лежал в лечебнице. Были мы там с Владыкой Серафимом. Владыка побывал у Патриарха, вышел и говорит: «Подойди сейчас к этим дверям, Святейший тебя благословит». Патриарх вышел, благословил меня и сказал: «Служи своему архиерею верой и правдой». Так я и служил.

Ярославль 1982-1983

БАБА-СОЛОМА

Родилась я в девятьсот втором году, в первый день Пасхи, а на второй меня крестили. И была я третья у Тяти - Мария, Анна, потом я. А всего нас было не сосчитать. Галина, Андрей, Прасковья, Лидия... это все живые. И померло - Вася, Алеша, Иван, Христофор, Дуня, Евгения... Тятя у нас рос сиротой, но земли было много - двадцать пять десятин дарственной да шесть купленной. Работы было много. Всем хватало. Я девяти годов поехала уже боронить на молодой лошади и десяти годов пошла пасти. Некогда было прохлаждаться. От Тяти нашего ни разу матерного слова не слыживала, все у нас было с молитвой - и косить, и молотить, хоть чего угодно - все с молитвой. Спать не ляжет без молитвы и нам не даст. На Крестопоклонной в среду пекут у нас кресты, крест один поставят на божницу, к иконам, и он уж первым стоит до Благовещения. А в Благовещение в каждый дом из церкви приносят благословенный хлеб, и хлебец этот тоже на божнице лежит. Придет время сеять, Тятя от креста отломит и от хлебца - растолчет да к семенам прибавит. Все с молитвой. Оттого и хлеб такой вкусный был... А теперь все с матюгами. И сеют, и жнут, и мелют, и пекут - все с матом. УЖ какой он тут будет... Тут и без болезни будет болезнь. Деревня наша Кожино, а приход - село Янгосарь, всего верста одна. Там и школа была при церкви, раньше все они у церквей были. Церковь у нас была - Никола, два священника да диакон. У нас без диакона службы не было, потому что приход очень большой. Настоятель нам родня был - я его только и помню митрофорного, не митрофорного не помню... Сто три года он прожил, а служил до ста годов. Шестьдесят с лишним лет прослужил на одном приходе. Бывало, старика хоронит и говорит над гробом: "Я тебя крестил, я тебя и погребаю..." А в церковь я стала ходить с семи лет. Как в школу пошла, так и в церковь пошла. А петь стала с десяти годов, учил нас диакон, отец Николай. Я ходила во втором классе, а уже часы читала, шестопсалмие читала. А псаломщик, пономарь у нас был старик Димитрий Васильевич... Совсем уж старый был. Бывало, читает "Господи помилуй", а у него все выходит - "помело стоит" да "помело стотит". А потом уж пономарь стал его внук. Мне почему-то ученье давалось, и Закон Божий мне давался... Первый раз я ходила в монастырь так, без обещания. Двенадцати годов. У нас многие ходили - пятьдесят верст. Монастырь Севастианов,

преподобного Севастиана Пошехонского. Он еще Сохоть назывался, река там Сохоть. А мощи были под собором, под спудом. Собор большой был, каменный, как в Петербурге, с петербургского собора план был снят. Всего только двадцать годов в нем прослужили, в тридцатом году его ломали трактором. Думали, что кирпича в нем будет много, а ни один кирпичик-то в дело у них не сгодился... Пошли мы в первый раз, человек десять нас было. А дорогой шла с нами одна эстонка и все меня ругала: "Пошто ты, девчонка, идешь?" А туда пришли, так она говорит "Мы тебя к Мане не возьмем". А была у нас блаженная Манечка, юродивая. Ну, конечно, меня к ней взяли. Приходим к Манечке. Полная комната народу. Маня впереди стоит. Лет ей сорок, косая, всю трясет ее. Она поглядела на нас, а я боюсь да и за народ прячусь. А она всех растолкала и прямо идет ко мне. И берет меня за руку и ведет вперед. "Ой какая хорошая девочка, - сажает меня да гладит. - Это наша монашенка. И даже наша регентша. Хорошо поет..." (А меня-то всю бьет со страху.) И подает она мне два такие пряничка - белые, а на них полоска красная. "На, ешь, ой они сладкие. А тебе они будут горькие. И никому их не кажи..." Она у нас вообще прозорливая была. Как кому уходить из монастыря... За неделю, за две начинает для своей куклы узелок собирать, котомку. Играет эдак. Это значит - кто-нибудь да уйдет из монастыря. А как кому умереть... Она тоже за неделю начинает куклу свою хоронить. Хоронит да и плачет, плачет... А мошкara у них там, как дождик мелкая, все в рот лезет. Говорить невозможно. Потом пошли мы в собор. Мне очень понравилось за службой, а на улицу выйду - опять не нравится, опять мошки в рот лезут, говорить нельзя... А я и не знала тогда, что у них за одежда. Мантии да рясофорные, а послушниц - камилавка да апостольник... Ладно-хорошо... Домой приходим Тятя спрашивает меня: "Ну, как, Санюшка, там в монастыре?" (Это он ласкательно, а то назовет - "голован толстоголовый". Он меня любил.) Я говорю: "Ой, которые богатые - хвосты-то длинные, победней которые - покороче, а уж совсем бедные, только вот тут у них..." А он и говорит "Если ты пойдешь в монастырь, я тебе долгий хвост куплю". А я: "Пойди-ка сам, там и говорить-то нельзя, все мошкara, как дождик". Ладно-хорошо. Год прошел и второй - не ходила я. А на третьем году заболела у нас Мама, болела долго - восемнадцать недель в больнице лежала, потом дома. И обещанье дала. У нас обещанье дают, кто болеет, как выздоровеет - в монастырь идти. Ну, не вышло у нее обещанье, пришлось меня послать вместо себя. И пошла я молиться опять в монастырь, во второй раз. Во второй-то раз мне тут очень понравилось. Стала я говорить монашам: "Я к вам хочу". Они меня отговаривают

"Очень трудно у нас". Мне уж четырнадцать лет было в то время. Я думаю: сами живут, а меня отговаривают, места им жалко. Пришла домой и стала потихоньку собираться. Лоскутное одеяло себе шила, да и проговорила по секрету сестре Аннушке. А она-то и родителям сказала. А Тятя с Мамой не хотели. А потом Тятя наш заболел, вот тоже обещание дал в монастырь сходить, в Сохоть. Ладно-хорошо. Дожили до весны, а тут самые работы. А у нас все больше на Троицу ходят. И опять меня отправили. Пошли мы в пятницу. Думаю, надо корзину взять, платье положила, платок положила, надеваю жакет ватную, Галины, сестры, башмаки. Ну, вот и пошла. Прихожу в монастырь, приходим к Манечке. Манечка опять всех распахала, опять меня за руку тащит вперед и говорит "Ты у матушки Августы живешь?" Я не знаю, что ей и говорить. "Я, - говорю, - нигде пока не живу, пришла помолиться". - "Матушка Августа тебя любит, она у нас строгая, а тебя любит". Пошли мы к письмоводительнице, к матушке Анатолии. "Так и так, - говорю, - я хочу остаться". Она говорит "Погодите, пойдем к Манечке, пойдем к матушке Игуменье". Опять пришли к Манечке. Она и говорит "Матушка Августа уж ей кровать- поставила". (А матушка Августа еще и знать не знает.) Ну, пошли к матушке Игуменье. Матушка Игуменья сидит на крыльце. "Вот, матушка Игуменья, девочка пришла в монастырь, жить хочет остаться". А матушка Игуменья говорят "Паспорт-то есть у нее? Да как родители?" Я говорю: "Я не сказала родителям". - "А Манечка как?" - "Манечка сказала, что ей кровать матушка Августа поставила". - "Ладно, пускай остается, уж как говорится..." А тут по воду идет мать Августа, у которой мне жить. Одно ведро деревянное, одно - железное. Игуменья кричит "Мать Августа, пойдика сюда". Она подходит. "Вот девочку к тебе жить". - "Благословите, матушка Игуменья". Ну, вот я и пошла к ней. Мне тут кровать принесли, конечное дело, матрасик, подушку, все дали. Вот и стала жить. А дома у Тяти аккуратно весь хлеб в это время отобрали, все у нас увезли. А то бы они сразу за мной приехали, а тут Тятя поехал в Вятку за хлебом, тут было не до меня. Хлеб весь выгребли. Да, так и стала я жить в монастыре. Дожила до Иванова дня, всего четыре недели прожила. А у нас одевали послушниц только через три года - все в своем ходили. А мне сразу в церкви послушание дали - записывать да принимать помянники. И на Иванов день приехал к нам епископ Агафангел. Он привез мало обслуги, только протодиакона да еще кого-то. А тут много надо и посошницу. А у нас была одна девочка в рясе. А Владыка говорит "Мне надо еще такую девочку одеть". Вот матушка Игуменья говорит "У меня семь есть еще не одетых". - "Давайте их всех сюда, в церковь". Всех

нас в церковь привели. "Поставьте, - говорит, - всех подряд, которая за которой приняты". Нас всех так и поставили. А я - последняя, меня только что приняли. Он вот всех нас обошел, всех благословил. Подошел ко мне, взял меня за руку и вывел. "Вот эту девочку мне оденьте". Вот меня и одели, к матушке Игуменье повели, туда одевать. А рясы такой не было маленькой на меня. У другой девочки взяли и одели меня в эту рясу. Благословили меня и повели. Матушка Игуменья говорит "Не убейся, да и меня не убей". А я: "Ничего, - говорю, - пройду помаленьку". Они говорят "Вот деревенская-то неопытность". Надо бы мне сказать: "Благословите, матушка Игуменья, помолитесь". А я вон чего сказала, чучело деревенское, - "пройду помаленьку"... И поставили меня на солее перед Царскими Вратами. Я с подсвечником, а та девочка - с посохом.. Отстояла я все это хорошо. После этого еще нас Владыка благословил и по голове погладил за это, что хорошо мы провели. Служил он еще и обедню. После обедни - пришли на обед. Трапезная у нас хорошая была, низ каменный, домовая церковь, а верх деревянный, там келий. И я там со своей старицей жила. Отобедали, встали из-за стола, благодарственную молитву отпели и стали Владыке хором петь стишок. Матушка Игуменья составила стишок и на ноты положили:

Ликуй, пустынная обитель,

Радость Бог тебе явил -

Наш Владыка и Святитель

Тебя сегодня посетил.

Владыка, Ты в годину страха

Для всей мятущейся земли

Носись душой превыше праха

И ликом ангельским внемли.

С Крестом в руках, как светлый гений,

Любовью к ближнему согрет,

Ты в мир страстей и прегрешений

Христовой веры вносишь свет.

Прими же, Пастырь вдохновенный,

Простой наш искренний привет,

И стих простой, самосложенный

Пустынный хор Тебе поет.

А он стоит, и слезы у него так и капают... Ладно-хорошо... А на Воздвижение приехали ко мне родные первый раз. Сестра да тетка. Привезли мне кое-что из одеянья да из обувки. Так и живу я у матушки Августы. Я у нее три года жила. Она меня любила. Если расстроится, не ругается - только скажет, бывало: "Ты, дорогая моя, ангел мой, как казанок, в самом деле". Лет ей было семьдесят с лишком. Она была у нас самая первоначальная монахиня, прямо в лес пришла. Первая Игуменья была Августина, по-мирскому Анна. Она была за священником замужем, полгода жила, он и умер. И был тогда старец Варнава, он ей благословил пешком сходить в Иерусалим, два года она ходила, потом опять к нему пришла. Он ее благословил: "Иди в это место и не оглядывайся". А тут всего-то была одна келейка да часовня... И пришло с нею шесть человек - матушка Августа моя, шестнадцати лет, матушка Таисия, регент наш, - зиму и лето босиком ходила и в бане не бывала - так жила. И еще четверо. Стали к ним приходить и другие сестры, стало двенадцать человек. Тут они домик выстроили, тесно в келье стало. Стали жить. И вот кто-то этот домик поджег. Среди ночи. Все у них сгорело. И они снова стали строить. И умерла матушка Игуменья Августа ста трех годов. Монастырь уж большой стал - землю им барин Лытиков пожертвовал. Два священника у нас было да диакон. Потом уж один стал: иеромонах отец Антонин помер потом, один остался - отец Петр. Его потом выслали и там, в ссылке, заморозили на Медвежьей горе. Его и отца Димитрия Воскресенского. В прорубь их опускали. Опустят, поморозят - лед схватится на них, потом опять опускают... Это уже в тридцать седьмом году, в резоляцию, когда нас всех поголовно забирали. А лес вокруг был дремучий. До самого Архангельска полоса, и уже двенадцати верст ни в

каком месте эта полоса не была. Медведей много было. Я, помню, коров пасла в скиту от Егория до Покрова. Коровы пройдут, телята сзади - а в середке-то медведи ходят. Сорок лет монастырь существовал, и ни одной не повалили они у нас. А как нас разогнали, да "скупйскую" артель сделали, так начали валять коров - я те дам... Семнадцать штук повалили медведи. Два пастуха пошли, да и с ружьями. А у нас, мы пасли - только дудка... А сестры на меня поначалу роптали. Зачем меня, такую, только пришла из миру - а уж в рясу одели и на клирос хотят поставить? А там все на работу идут - поют, а я к ним и приставала. А у меня пение было не хуже ихнего, я уж ноты знала... "Вот, - говорят, - хотят на клирос поставить, а надо бы на скотном года три. Каждая живет на скотном. Пришла какая-то из миру, соплятая девка деревенская..." Которая чего скажет. Ведь им обидно. И я сознаю, что обидно. А работы у нас очень много было. Не было времени, чтобы не работать. Осенью да зимой - лес. Один собор отопить в день - воз дров. Да три корпуса, их надо отопить. Да государству - лесозаготовка. Летом - сенокос, поля. Сено возить надо. Скотный двор - сорок дойных коров в монастыре, восемнадцать дойных в скиту. Каждый год гектар вырубим леса, выкорчем пенья, каждый год. Большое хозяйство. Десять лошадей езжалых да две обучать... А я на лошади наездник, не хуже цыгана буду. Я до чего любила лошадей. Был у меня жеребенок Соколик, вороной битюг. Он никому не дастся, только я да мать Клавдия - конюх. А так никому не дастся. Большой шаг у него был, широкий. А в хлев к нему никто, кроме меня и матушки Клавдии, зайти не мог. Я помню, уж и монастырь разогнали, я на приходе служила и шла к ним на всенощную под Севастианов день. Там еще семнадцать старух жило, и в трапезной служба была. Отец Сергей, диакон наш, служил, его уж в священники посвятили. И вот иду, а эти артельные муку с мельницы везут. Я как увидела: "Соколик!" Он и остановился. Он стоит, и я стою... Они его и стронуть не могут. Ну, пошел кое-как. А потом мне сказали, что пристрелили его, не давался он им Ох, я и ревела... Нет, без дела мы в монастыре не сидели. Летом в воскресенье после обедни - в лес по ягоды. Я больше всех наберу, я сроду лесовая бабушка... По вечерам четки мы делали - матушка Игуменья, я, Вера, Ефросинья. Девять бусинок, десятая пронизка. У меня четки красные были, голубые, хорошие. А когда Владыка обряжал, дал шелковые, черные, большие, я тоже их берегла. И вот на Николу на зимнего меня на клирос поставили. А Тятя с Мамою потом ко мне в монастырь ездили. Не один раз ездили. А последний раз Тятя Постом приезжал. Он уже был "оверхушенный" - это значит, на раскулачивание его... И всю-то

зиму он лес возил на своей лошади с заготовок. Всю зиму у них отработал. И привез мне такой вот лоскуток ситцу на платок да соли двадцать фунтов. "Вот, - говорит, - Санька, за всю зиму у них заработал и все тебе привез. Соли только маленько дома отсыпал. А это все тебе привез". А я дура была, на соль эту четки янтарные выменяла у матушки Анны Панкратьевой. УЖ больно мне хотелось янтарные. У всех белые - а у меня янтарные... А Тятя говорит: "Ну, бери, Санька. Может, соли еще, даст Бог, достанем". Я год на клиросе простояла, уж через год стала трио петь. Голос у меня был ужасный - дискант. Бывало "разбойника" запою, так у меня лампадки и заговорят. А потом стали меня учить на регента. Сама матушка Игуменья Леонида, она с трех лет в монастыре, хороший регент была. Было ей лет под семьдесят. А сама все делала. Вот уж и дрова для своей кельи заготавливала. Ольховые... В соборе-то у нас осиновыми топили - в день вод дров для собора. А она ольховые любила. Пойдет сама в лес... Пила у нее маленькая с одной ручкой. Ножовка. Повалит деревья, испилит все и сложит - только вывози. Наготовит на свою келью в зиму десять возов. Как-то идет из лесу с пилою, а я ей навстречу. "Благословите, матушка... Поди, дерева три повалили?" Смеюсь. А она: "Что уж, как говорится... Я двадцать три свалю!" Бывало, позовет меня к себе вечером. Сидим с ней. Поем. Она ой петь любила. А голос какой у нее был... В монастыре она была с трех годов. Сирота она была, ее и отдали. Только уж конечно не в наш. В Покровский какой-то монастырь, уж не знаю, где он и был... Чаю она не пила, только кофий. Была у нее кружка фарфоровая, аккурат на три стакана. Выпьет ее, скажет "Вот я кадушечку-то эту опорожнила, как говорится". Это у нее как пословица была - "как говорится". Она меня любила: "Шурка маленькая все сделает". Я в монастыре все "Шурка была маленькая". Мне не любо было, как меня Александрой Николаевной стали звать, я все думала, что я Шурка маленькая... Раз корчем мы пни да поем "Дубинушку", а матушка Игуменья мимо идет. Как услышала, кричит "Шурка!" Я молчу, притаилась. Опять: "Шурка! Ах, ты скачок этакой! Вот погоди, в праздник на поклоны станешь"... У меня все сходи ло. Раз зимой ельник рубили, уж темно, а мы все работаем. Матушка Эсфирь - она тоже была трудолюбивая - все работает и работает. А уж темно. Я еще в лаптях была, валенки мне не привезли. А я как запою:

Поглядели бы родные,

Чего Шурка делает:

В лапотищах по снежищу

С ельничием бегают!

А матушка Эсфирь: "Господи Иисусе! Пойдем все скорей домой. А то она у нас запляшет!" А тут у нас такое дело получилось. С Мать Иришей... У нее уж постриг был, она была рясофорная. И певчая превосходная, и иконописица. Она с трех лет в монастыре. Она не видывала, как пляшут, и как песни поют не слыхивала. Было ей уж лет под пятьдесят. А вот тут какое с ней получилось дело. В аккурат на Мариино стояние... Поем канон. Слышим, кто-то во всю головушку орет на клиросе. Матушка Игуменья думали - Ксения. И врозь орет. "Как говорится, Ксения, что ли?" - говорят Матушка. "Да нет, - говорим, - Ксения - вот она". - "Да кто же это?" Глядим, а это Мать Ириша - во всю головушку. Домой в келью пришла из церкви - все начала кидать. Деньги у нее тут какие-то были. Все выкинула: "Ничего мне не надо. Потому что я уж теперь не с вами. Я уж на небе". - "Да Мать Ириша..." - "Не Мать Ириша! Я - девица чистая, богоотроковица. Чего на земле делается?" - и смотрит так вниз. "Господи, Мать Ириша с ума сошла!" - "Я вам сказала, кто я!" Вот и началось. Все выкидала. "Ничего мне не надо!" И сила-то какая взялись - насилу шесть человек ее к кровати привязали... В окошко тут мы ей ставни вставили - лезет везде, совладать не можем. А сила-то, сила. Нас поставили, меня и мать Анну Власову к ней. За ней ухаживать. Она все меня: "Шуреночек, косареночек... дай мне попить водички с помойной ямы". - "Не дам, - говорю. - Вот скажи: Господи, благослови. (А с нее пот-то, пот-то...) Да перекрестись. Вот богоявленская вода, напою сейчас". - "Нет, не скажу!" - "Не скажешь, ну и сиди. Не дам воды". УЖ она просит, просит. До тех пор доведем: "Скажи: Господи, благослови, да перекрестись - сейчас попьешь". Как перекрестится, скажет - вся ослабнет. Попьет святой водички... Тут я снимаю с нее рубаху - хоть выжимай, вся мокрая. Надеваем на нее чистую. Положим ее на кровать - она уж ничего не может... Я побегу домой, печку истоплю, приберусь - ведь я у старицы жила. Иду обратно. Как она меня в дверях

схватит! "Ах, Шуренок, косаренок!" Как схватила, так у меня кофты как не бывало - разорвала всю. Как погляжу, крест у них был большой медный, толстый - пополам переломила - вот какая силища. Тут матушка Игуменья говорят "Надо у нее молебен отслужить. Спасителю". Спаситель-то у нас образ чудотворный был. Отец Петр у нас служил тогда. Я прихожу к ней, а она мне и говорит "Ты знаешь?" - "А чего?" - "Сегодня ко мне принесут чудовище. Два эфиопа. (Это она про икону да про матушку Игуменью с отцом Петром) Куда же деваться Святому Духу?" - "Какой, - говорю, - у тебя Святой Дух?" - "Куда ему деваться, пока они здесь?" Ладно-хорошо. Обедня отошла, матушка Игуменья несут икону Спасителя, водосвятие приготовили. А Мать Ириша: "Ой! Чудовище-то тащат! И два эфиопа идут". А она к постели привязана. Молебн отслужили. Она лежала как мертвая, вся даже потемнела. Окропили ее святой водой. Как они ушли, развязали ее, она говорит "Вот ведь Святой Дух на помойной яме стоял, пока были здесь..." - "Вот, - говорю, - и святой твой дух... Да и ты эдакая же..." Тут Мать Анна Каткова подошла. "УЙДИ, - говорит, - окаянный, страшилище, из рабы божией Ириши. Она ведь у нас какая хорошая была, а ты ее, окаянный, испортил. Страшилище!" - "Я, - отвечает, - не страшилище, я - хороший". - "А как тебя зовут?" - "Лёлёшенька". - "Почто ты пришел?" - "А она, - говорит, - сама виновата. (А у них кошка была Кисарка.) Она, - говорит, - в полночь выпустила свою Кисарку и напилась из кринки воды. Вот я в нее и вошел". Ой, что она, бедная, делала! Ее уж и в прачечную запирали. Там пляшет во всю головушку и предлагает себя всем. Пляшет "советского", пляшет, потом станет, вниз поглядит "Чего на земле делается?" И опять пляшет. И уж ничего мы не можем сделать. Пришлось ее отправлять в сумасшедший дом. А как везти? Ведь она не поедет. Никак ее не собрать. Пришли к ней; "Мать Ириша, собрание было". - "Какое?" - "Матушка Игуменья у нас уезжают". - "Уезжают? Вот и хорошо. Да кого поставят?" - "Да тебя выбрали". - "Меня? А все ли согласны?" - "Все, все согласны. Собирайся, поедем к епископу благословляться". Собрались. Это после Троицы. Пальто ватное, длинное. Подпоясалась ремнем. На голову большой платок теплый. Повезли на лошади эдакого чучела. Везем ее так. За каждым пастухом гоняется, каждому пастуху предлагается. Ловим ее, куда деваться? Трое нас с ней едет. А как в Рыбинск привезли, в Рыбинске-то еще хуже сделала. Солдаты навстречу идут. Она соскочила - не могли удержать. Так одного солдата под руку схватила. Он вырывается. "Чего же вы?" - говорит. А мы: "Да видишь, что сумасшедшая?" Сдали мы ее врачам, и отправили ее в Кострому. Тут уже мы не знаем, как было. Только уж нам скоро

написали, что она там померла. Она и году не прожила там, бедняга... Очень мне нравилась жизнь монастырская. Мне и работа нравилась" мне все нравилось, я никогда не каялась, что пошла в монастырь. Мне нравилось, что там никогда не ссорились: "Прости Христа ради". - "И меня прости". Вот и все. Делай нарядное (что велят) и ешь припасенное. А кормили как - щи, хоть портянки полощи. Чего там - капуста да картошка, да лук, да мучки ячневой прибавят, - а вкусно-то как! Потому что все с молитвой, все благословенное. Или хлеб... Бывало, богомольцы все просят "Нам бы маленько хоть вашего хлеба, монастырского". А мы такой же печем, только с молитвой... В праздник щи получше варили, из белой капусты. Большие праздники - суп с грибами. Шутка ли - сто тридцать человек накормить. А закрывали наш монастырь самый последний. Был уже двадцать восьмой год. А мы все делали, что они нам приказывали. И все налоги им платили. Приказали нам свиней разводить, мы купили свиней. Хоть и не монастырское это дело... В двадцать седьмом году, аккуратно на Похвалу Богородице, приехала из Пешехонья одна, партийная, будто бы учительница - Апполиария, и стала она нас по очереди вызывать, молодых. Меня - в первую очередь. "Зачем ты сюда пришла?" - "Жить". - "А кто тебя послал?" - "Никто не послал". - "А кто позвал?" - "Никто не звал". - "Надо тебе замуж идти. Вот я замужем живу, у меня мальчишка растет. У меня в жизни есть интерес". - "Пожалуйста. У вас свой интерес, у нас свои интересы". - "Это неинтересно. Вам здесь не место". - "Почему же? Мы здесь живем, работаем.." - "От вас пользы нет. Какая от тебя польза? Ты живешь одна". - "Почему одна? Нас вон сколько здесь живет. Мы работаем, государству платим, что на нас накладывают". - "Хватит вам здесь. Ступай замуж". - "Это дело не ваше, идти ли мне замуж". - "Ты такая хорошая, такая бы мать была..." Наобещала мне она раев да садов, всю жизнь расписала. "Значит, не пойдешь из монастыря?" - "Не пойду. Буду тут до конца. Живи ты, как хочешь, а я - как изволю". После меня другую вызывают "Ты чего скажешь?" - "Я - как она". Третья - тоже... Она говорит "А что Игуменья у вас делает? Наверное, спит да лежит?" Тут все поднялись: "Нет, у нас Игуменья работает больше нашего! Такое хозяйство! Два раза в неделю в По-шехонье, двадцать пять верст. Она загнет подолы, босиком и покатит Игуменья". Так и уехала наша Апполиария. Больше она к нам не приезжала... Ладно-хорошо. Отслужили мы Пасху, а после Пасхи форму с нас сняли - велели ходить как деревенским, в платках. Вот тут мы ревели. А летом приехали и собор наш запечатали... А мы, молодые, летом в скиту работали. И вот матушка Игуменья в скит идут, подзывают меня: "Шурка, беги в Сохоть. Попадутся они тебе

навстречу - их обойди... Скажи матушке Феодотии, чтобы из собора в боковые двери антимины вынесли". Я и побежала. А они мне навстречу едут "Куда?!" - "А там, - говорю, - лошадь молодая есть, нужна нам". Пропустили... Так через боковые двери всю святыню вынесли монахини. Стали служить в трапезной. Осенью приезжает Скуев. Приказывает отделить нас от монахинь-старух, чтобы мы их не кормили: "Это, - говорит, - хлебоешь ваша". Мы говорим: "Мы не будем так жить". Скуев говорит "Надо старые зубы выдергать да новые вставить", А я: "Знаем мы ваши зубы. Мы нажили, а вы прожить хотите". - "Это кто говорит?" - "Это я говорю". - "А ты кто такая?" - "А вот вы же видите, кто я такая". - "Давайте, подписывайтесь, кто в артель". И вот стали новые зубы вставлять. Приехал эстонец Вевер Сергей Августович, Петр Алексеевич Яя, Петр Петрович Петров (мы его прозвали "косоротый" или "три Петра в одном Петре"). Ну, уж работали они не по-нашему. А год сырой был, с сенокосом - беда. Дождь" глядим, собирается, надо сено убрать. А они сидят, обедают. Мы прибежали: "Скорей" А Петров как старший отвечает "Пока не отобедаем, не пойдем". А всего-то к ним в артель из наших человек двенадцать записалось, молодых. Скотницами они остались. Ну, которым некуда было идти. А у меня уж место было - за мной сразу приехали. Выгнали нас аккуратно на Покров: "В 24 часа освободить!" И дали нам по два пуда хлеба каждой - за лето... Приехали за мной из Грамотина, двенадцать верст от монастыря. Поехала я к ним псаломщиком. Служил там отец Димитрий, которого заморозили в резоляцию. Воскресенский. Отец его у нас в Сохоти был диаконом, они меня хорошо знали... Ну и народ, прихожане. Они наши соседи были - двенадцать верст, ближе к монастырю жилья никакого не было. Большое было село, приход большой - двадцать пять деревень... С отцом Димитрием мы хорошо служили. Спевочку в церкви сделаем Я пригласила всех желающих, приходите петь... И служили мы с ним четыре года. А было это время, когда всех обирали. Вот приходят они сначала ко мне - обыск! А у меня была одна шуба, в которой я в лес ездила. Да два полотенца. Помню, как Мациор мою шубу тряс: "А где у тебя остальное?" - "Остальное, - говорю, - на себе". И спрашивает других монахинь (одна у нас была просворня, другая - сторож: "Где у нее именье?" А матушка Еликонида, она у нас в Грамотине просворы пекла, отвечает "У ней одна рубашка на себе, другая в трубе". - "А где у нее хлеб?" А муки у меня в кадке с пуд всего. Так ничего и не взяли, ничего не нашли. А после меня пошли к батюшке, он в своем доме жил. И обрали его дочиста. В одном тонком подряснике оставили. И было у него такое маленькое Евангелие и Псалтирь. Он им и

сказал: "Мне ничего больше не надо". А дом-то у него был двухэтажный. Они там наверху все золото ищут, а я потихоньку внизу из ларя ведрами муку таскаю. Шесть ведер муки унесла к себе. Дом у него отобрали и повели их с матушкой в другую деревню. Три семьи жить в один дом. А мальчишка был у них Генка, пять годов, - я его к себе жить взяла. Он все мне говорил: "Давай молиться: радуйся, Серафиме. И никого не вышлют - ни папу, ни тебя, ни маму..." Я к ним тогда каждый день ходила. Испеку хлеба - мука-то у меня - и принесу им. А потом уж они в сторожку жить перешли... Хороший был священник, шутить любил, но серьезный был. И матушка у него очень хорошая была. Мы с ней были, как сестры, все вместе. А по соседству в Яковце у нас матушка Таисия жила из нашего монастыря. Она у нас первоначальная была - сорок лет только в нашем монастыре прожила. Она очень хорошая регентша была и на фисгармонии бесподобно играла. Только уж она взяла подвиг юродства - зимой и летом босая ходила и в бане не мылась. Как раньше чистоту любила, так тут залюбила грязь. И двадцать лет в церковь не ходила и не причащалась. А прозорливая была, вот как Манечка. Вот загореться у нас диаконову дому. Смотрим, за неделю до пожара матушка Таисия, босая, подлом снег к дому этому таскает да и стены снегом обваливает. Да и приговаривает "Таскайте! Таскайте! Все таскайте! - а никого с ней и нет. - Валите, валите снегу-то". А через неделю этот дом и загорелся. А потом наш корпус желтый - тоже горел. Это аккурат на Николу. Тоже она за неделю снег таскает... А тут уж в Сохоти, у нас в монастыре, вшивики эти жили. Три фисгармонии у нас забрали, а к ним и подойти у них никто не умеет. И у матушки Таисии в келье стояла фисгармония. И вот она два года еще к ним ходила играть. Они ее ждали даже. УЖ она в Яковцеве живет, придет - босая. А они: "Идите, идите, там отперто". Она садится и целый день играет. А они соберутся и слушают. Так целый день у них и играет. Утром в Сохоть уйдет, а вечером домой прибежит. Ей уж поди было лет восемьдесят. А тут заболела она и перед смертью говорит: "Мне надо исповедоваться и пособороваться". А хозяйка ее Анна Матвеевна говорит "Какого тебе батюшку позвать?" - "Меня, - говорит, - наш Митенька пособорует..." (Отец Димитрий ведь у нас в монастыре рос, сын диакона.) Анна Матвеевна бежит ко мне в Грамотино: "Матушка Таисия заболела да зовет отца Димитрия". Пришли мы с ним. Исповедал ее батюшка, стали соборовать. Причастилась. Стала я с ней прощаться. Я говорю: "Не умирай. Пока я в город съезжу, в Пошехонье. Мне надо Манечке да матушке Паисии, казначее, муки им свезти... Я приеду, хоть по тебе почитаю". - "Нет, - говорит, - ты уж не почитаешь. Хорошо бы,

ты почитала, да не почитаешь". Я ей сахару принесла да чаю - тогда ведь нигде этого не было, а мне председатель безрукий Ваня доставал. Чай-то я всем им и делила. Поехала я в город, а она через два часа и померла. Отпели мы ее с отцом Димитрием, похоронили у церкви в Грамотине... Ладно-хорошо. И тут как-то приходит ко мне отец диакон Николай, из Янгосыря, нашего прихода. Он меня когда-то и петь учил на клиросе, дома. Только уж он не диакон был, а так ходил - шорничал. У него как получилось: дочка у него была Нина, моя подруга. Училась она в Вологде, на учительницу. И вышла замуж за коммуниста Бориса Пьянкова, он ее и перевоспитал. А она на мать да на отца... И заставили они отца от сана отказаться. И вот пришел он ко мне, ночевал, и в церковь пошел со мной, и на клиросе пел. Две ночи у меня ночевал, все плакал. А я ему говорю: "Не поздно, можно еще возвратиться, покаяться". - "Нет, - говорит, - теперь жена не пустит". А я их всех знала. Еще из монастыря, я помню, отпустили меня навестить родных. Там узнали, что я приехала, да и посылают ко мне сына Мишутку. Дескать, Нина с мужем приехала. Тут я их и увидела. Двое детей у них было, девочка - Сицилия (Циленкой ее звали), а мальчишку звали Ленгорск. Я говорю: "Чего вы это выдумали?" - "Как чего? - говорят. - Самое хорошее имя, тут Ленин поминается". А девочка у них все ходит да поет

Дым с кадьницы идет

К небу кольцами,

Ничего попам не сделать

С комсомольцами!

"Это, - говорит, - меня папа научил". Ну и чем у них все кончилось? Жена у диакона в больнице померла, да так ее там и похоронили. А потом сам он в больницу попал. Сыну говорят "Мишка, отец в больнице лежит". А он: "Ну и пусть лежит". Так и его там похоронили. А уж какие в больнице похороны... А Пьянков, он в ГПУ у них работал, каким-то предателем оказался. Жена же на него и донесла. Его и расстреляли... Ладно-хорошо... И прослужили мы с отцом Димитрием в Грамотине четыре года. А

потом пришлось ему в УГЛИЧ переехать. Год он там прослужил, потом его забрали, и уж как в камский мох - ни слуху ни духу. Много тогда увезли, первый набор был. УЖ потом знакомые (были с ним высланы) сказали, что его заживо заморозили, вместе с отцом Петром. На Медвежьей горе... И стала у нас церковь без службы. И вот идет ко мне одна наша певчая и говорит "Пришел к нам батюшка Мелкосидел". Я думаю, что за чудо такое? Пошла, смотрю, а это - иеромонах Мелхисидек. Он еще в монастыре у нас бывал, был монахом на Валааме. Валаам-то вперед всех монастырей разогнали. Да только он недолго у нас в Грамотине прослужил, году не служил, - налогу, видно, испугался, да и ушел. А на Покров пришел к нам отец Иван Захаринский. Нашего же уезда. Страшный пьяница. Над женой издевался, Тут ему пудов семь муки собрали да самовар. Самовар он топором в лепешку пьяный разбил, а муку всю в уборную высыпал. Все кричал: "Самогонку заваривайте!" И служил почти что год. А зять у него был Карповский, инспектор уголовного розыска. Зубы - как волчьи. Вот он зятю-то своему все и рассказал, где у нас в церкви да что. И приехал Карповский - отобрали ключи, все увезли, церковь запечатали. Это был тридцать третий год. Ах, какая церковь была! Большая, вот как здешняя. А Ваня этот Захаринский четыре церкви так-то вот закрыл. Зиму и лето все в тапочках ходит, все пропивал. И помер он, шел пьяный и помер у пруда в деревне Гвоздеве. Там у пруда его и зарыли. Вот ведь какую смерть себе нажил... И тут целое лето я не служила. Но без места я мало была. Приехали за мною из Телепшина, тоже от Сохоти двенадцать верст, только в другую сторону. Церковь там Вознесение, а священник был Покровский, отец Петр. Было у него три сына, один женатый, а два - неженатых. Их обоих еще до меня посадили. И прослужила я с ним неполный год. Девятого июня, там праздник Кирилла Белозерского, Кириллова година, - меня забрали. И привезли в Пошехонье, в тюрьму. А тогда еще тюрьма "закдом" называлась и окошки еще были не заколочены. Сначала-то я две ночи ночевала в ГПУ. Забрали босиком, не дали даже одеться. И вот привели меня в тюрьму. Я говорю: "А теперь меня куда?" - "Все, вот здесь будешь". - "Квартира-то, - говорю, - хорошая. И хлеба будут давать?" - "Будут". (А еще там никого не было, я первая пришла в камеру.) - "Вот, - говорю, - дожила; квартира бесплатная, хлеб". - "Не скаль, - говорят, - зубы". Ну, немного прибралась в камере, сижу. Первые две недели очень строго - даже в туалет с милиционером. Тут стали подсаживать баб. Всех - за колхозное добро. С колхозного поля. Две бабы по подолу гороха нарвали - дали по десять лет. Одна выдернула три свеклы - этой восемь лет.

Теперь сидим, приезжает прокурор области, кулаки, как моя башка. Всех спросил, кто за что сидит. Ко мне... А начальник тюрьмы Тихвинский говорит. "Это монашина подозрительная, у нас с ней разговору нет". И так ушел прокурор. Три дня прошло, приезжает начальник областной. И он обо мне спросил. Тихвинский ему так же ответил. "Нет, - тот говорит - дай-ка я с ней один поговорю". Все меня расспросил, как фамилия... И говорит "Я твое дело видел, ты сидишь ни за что. На днях тебе освобождение". И тут вскоре приходит опять Тихвинский и посылает меня работать бригадиром. Мне утром дали прибавку сто грамм хлеба и огурец... Дергали мы лен. Вечером пришли, опять мне прибавка сто грамм... Три дня проработала, приходит опять начальник: "Знаешь что, принимай прачечную". Приняла я прачечную. Дня четыре поработала, потом меня солить капусту и огурцы... Тут уж мне и пропуск на волю дали. И даже старостой сделали, заключенных я принимать стала. Вот раз и говорят "Иди новых принимай!" Пришла я, обалдела - матушка Игуменья! Как и принимать... Я говорю милиционеру: "Она из ГПУ, наверное, вшей у нее много. Надо в баню ее". А он говорит "Не надо". Я говорю: "Нет, она нас вшами наградит". И принесла я две шайки горячей воды, вымыла ее. Белье ей чистое подала. А Матушка говорит "Ничего мне не надо. Я и спать тут не буду, и есть не буду". - "Нет, - говорю, - Матушка, все будешь - и есть, и спать". И просидела я с ней месяц. Ее все в одиночку водили, все золото спрашивали у нее. А у нее ничего не было. Они не верили, ее много мучили. И вот сижу я уже три месяца - четвертый. И пишу я заявление, а меня - к Карповскому, это инспектор уголовного розыска, зять Ивана Захаринского, четыре церкви они закрыли. "Сижу, - говорю, - без вины". А он: "Погоди, будет тебе и вина". И решила я объявить голодовку. Написала заявление, положила кусок хлеба да и отправила обратно. Прибежал начальник, стал уговаривать: "Ты не дело делаешь, в таких годах себя гробишь". А я: "Все равно не буду есть хлеб. Буду умирать". На второй день приносят мне две доли хлеба - за оба дня. Отправляю и эти, прошусь в одиночную. Меня не переводят. Вечером пришел врач, пришла, комиссия - судья пришел, следователь пришел. Врач говорит "Очень слаба". Следователь стал спрашивать: "Что за дело?" - "Не знаю, - говорю, - я монашина, была в монастыре". А судья Посадский: "Снимай голодовку, двадцатого тебе будет суд". Тут уж я стала есть. Привели на суд, самую последнюю спрашивали. И постановление: освободить из-под стражи. А мне женщины пошехонские наташили всякой еды - пирогов да булок. Я целую шаль набрала да в тюрьму отнесла - матушке Игуменье. Начальник не отпускал меня: "Куда пойдешь? Ночь. Ночуй,

дождь..." (В одиннадцатом часу освобождалась я.) - "Нет, - говорю, - возле ограды лягу под дождем, а на воле". И блудилась я по городу в темноте до двух часов. Утром пришла домой в Телепшино. Только тут уже не отец Петр стал, он умер. Стал тут теперь отец Иван Зайцев. Он монах был. Хорошо служил. Да только меня таскают да допрашивают. Раз отпустили: дескать, как себя поведет. А я все так же себя веду - в церковь хожу, пою да читаю. А тут и церковь у нас закрыли, свои же, местные. Отобрали ключи, и все тут. Коммунистка у них была Иголкина, так она на меня больно кричала: "Такая молодая, а в церкви служишь! Могла бы в сельсовете работать!" - "А я неграмотная", - говорю. "Врешь! Была бы неграмотная, в церкви бы не служила!" Но тут уже я в Телепшине почти не жила, узнали, что я без места, в Лесине, за сорок верст. Там Анна Петровна была, сама-то из Телепшина, а замуж была. выдана в Лесино. А меня уж там знали. Приходит она и зовет к ним в церковь, письмо принесла от отца Константина. Пошла я туда на воскресенье. Церковь большая, батюшка старый... Квартира - сторожка каменная, большая квартира. Ну, поступила я. Дали мне две подводы, со мной еще одна монашенка поехала - Мария, я ее сторожем устроила. Отец Константин. Старый старик, хорошо мы с ним служили. Вот пойдем с ним на требу, чаем угостят. Он только одну чашку выпьет да прикроет ее рукой: "Больше не буду". А я говорю: "А я одна пить не буду". - "А ты пей, пей, пей". Вина не выпьет - Боже упаси! Церковь сам запирает всегда, ключи у него были... Ладно-хорошо... А тут году, что ли, в тридцать пятом пришли к нам обновленцы. Сначала к батюшке во флигель. Псаломщик ихний Сергей, староста и священник обновленец отец Арсений. Пришли к батюшке: "Вот так и так. Переходите к нам". А отец Константин: "Нет, уж я какой из колыбельки, такой и в могилку. Не пойду, - говорит, - никуда". Арсений: "Служить вам не дадим, теперь уж везде обновление". - "Ну, пускай там обновляются, а я старый. Какой есть доживу". - "А кто тут у вас еще есть?" - "Псаломщик есть у нас". - "А где псаломщик?" - "А вон, - говорит, - в сторожке живет. У нас не псаломщик, а псаломщица Александра Николаевна". Пришли ко мне. "Вот, - говорят, - псаломщица". - "Вот и слава Богу. Ты к нам пойдешь?" - "Нет, не пойду". Повернулась, да и вышла. А псаломщик ихний, Сергей Донской - он часто ко мне ходил, у них приход всего пять верст от нашего - за мной пошел. "Как, - говорит, - думаешь, устройте?" - "Думаю, устроим. Бог поругаем не бывает. А это у вас раскол. Я в раскол не пойду". Так и не пошел он с ними больше. Ушел на другой приход. А Господь так устроил, что они только еще года три-четыре послужили, а потом их всех выкинули... Ладно-хорошо... И

так прослужили мы с отцом Константином до тридцать шестого года. И вот после Успения церковь нашу закрыли. Пришли председатель сельсовета Куринов и милиционер Петухов, сотрудник НКВД из Пошехонья. "Где ключи?" - "У батюшки". - "Подайте ключи! Никаких разговоров!" Батюшка ключи подал... А на другой день колокола сбрасывали. Ой, сколько я церквей оплакала, как закрывали... Монастырь, Грамотино, Телепшино, Лесино... И тут вызывают меня в сельсовет. Петухов спрашивает "А где у тебя муж?" А я говорю: "Мой муж обьелся груш, и утащил его уж". А Куринов говорит "С такой проституткой разве муж будет жить?" - "Нет уж, - говорю, - проституткой я не была". - "Это, - говорит, - хуже проституции. Придется тебе посидеть". - "Не все, - говорю, - сидеть: придется и полежать, и постоять". - "Не скаль зубы-то"... А они чего так злобились - я со старостой все хлопотала, чтобы церковь у нас опять открыли. Я по деревням ходила, записывала верующих - пятьсот семьдесят человек у меня подписалось... Ну, на этот-то раз они меня отпустили. Только тут вскорости приходят ко мне и говорят "Тебя не сегодня завтра арестуют. Надо тебе уходить". И тут стала я скрываться, а это хуже, чем в тюрьме сидеть. Пошла сначала в Патрихово, там старики двое жили, а сын у них партийный. Постучалась - пустили. Накормили. "Полезай, - говорят, - поскорее на печь. Авось Ванька сегодня не придет". Три ночи я у них ночевала. Потом хозяйка пошла в Телепшино узнавать. Говорят "Только вчера были, о ней спрашивали". Вернулась я домой. Ночь переночевала, вечером Стеша идет "Приехал Постнов, опять про тебя спрашивает, опять о тебе разговор". Надо бежать, а уж ночь. Тут уж никакой буки не боишься, ни волка, ни покойника, лишь бы человек тебе не попался. Тут я пошла в Якушеве, километр от нас, тут старушка была, с дочкой жили. Вот в этих-то двух домах я все больше и скрывалась. Сама Татьяна да дочка Паша. Потом пришла домой - опять нельзя. Пошла в Вологду, потом на родину. На родине ночевала две ночи у Мамы и двух сестер. "Иди, - говорят, - мы из-за тебя боимся". А зять один тоже был партийный... В самой Вологде три ночи ночевала у знакомых. Надо идти домой. Стеша говорит, вот уже три дня никто не ездит. Вроде бы спокойно стало. И тут я всю зиму прожила, не трогали меня. До Пасхи. Да и лето все жила Церковь у нас стоит - не служит, отец Константин в своем флигеле живет. Тут уж я совсем успокоилась, работала. Думаю, видно, не будут меня забирать, оставили. А в августе, с пятого числа, начали забирать. Много народу по деревням увезли на машинах. А меня в первый-то набор почему-то не взяли. А уж жила я не в сторожке - выгнали меня. Жила я в барской усадьбе, против бывшего барского дома в

маленькой избушке. И в этот день я ничего не пила, не ела - не хочу. А вечером самовар согрела, грибов соленых и сухарей. Да так и оставила и легла спать на печку. Вдруг мне сон снится: идут ко мне с обыском Куринов, Петухов и сотрудник НКВД.. И тут мену в избе что-то упало, и я пробудилась. Слезла, глянула в окно - идут с фонарем- Я сразу подумала: за мной. Встала, три поклона положила - у меня большая икона Георгия Победоносца... И сразу вся озябла Стукаются у меня, у калитки. Я вышла: "Кто?" И говорит мне председатель: "Шура, открой". Идут трое - Куринов, Петухов и аккурат этот, что мне приснился... Подает Куринов мне бумажку. Я посмотрела; обыск и арест. И стала одеваться. "Ты куда?" - говорят. "А куда сказано..." - "У тебя Библия есть?" - "Вот у меня все книги на столе, больше нигде нет". Библия лежит на столе, а первого-то листа нету, не видать, что Библия. А они понимают в Библии, как свинья в счетоводстве. Поглядели: "Значит, нету. Подпишись: обыск сделали, ничего не нашлось". Орудии никакой не нашли у меня. Говорю: "Может, чаю по чашке выпьете, такую дорогу прошли?" Куринов говорит "Неудобно". А я: "Вы пять километров прошли. У меня самовар кипяченый, сейчас лучину опущу, он тут согреется". Куринов повторяет: "Неудобно, Шура, нам". А я огня опустила в самовар, налила им по стакану. "Ничего неудобного нет, вы такую дорогу прошли". Они попили. "Я, - говорю, - готова". Рубашку в корзиночку положила. "Ну, пошли, - говорю. - Только не пойдем той дорогой, там далеко идти - пять километров. Пойдем, - говорю, - лесом. Здесь три километра лесом". А Куринов говорит "Ты нас, как Сусанин, не заведешь?" - "Я не вредная, как вы думаете обо мне". Ну и пошли мы. (Сам-то Куринов тоже потом не уцелел. Его потом арестовали и замучили. Мне потом, как освободилась, Удалов рассказывал - он с ним работал. "Это, - говорит, - перегибщик был. Лишка он перегибал. Вот его и арестовали, да там и замучили". Так что и он не уберется. А жену его выселили, она от нас уехала.) Ладно-хорошо. Привели они меня в Матюшкино, в контору, в деревню. Целая контора битком набита. Народу навожено все. А женщины только две: я да Харитина Ивановна - председатель церковный. "Ну, - говорю ей, - сейчас нас повезут, белый свет нам покажут бесплатно". - "Ладно, Шура, как-нибудь..." Нагрузили нас на три машины трехтонки, все целые нагрузили, целиком. Привезли в Пошехонье нас, ночевали три ночи. Тут-то я шла, как на гулянье, не ревела нисколько, а в Пошехонье двое суток все ревела. Набита была целая тюрьма. Потом нас: "С вещами выходите!" - по фамилиям нас, в Рыбинск повезли. Рыбинская тюрьма нас не приняла, некуда было. Перегрузили нас на поезд, повезли в Ярославль. На главный этот вокзал, на Всполье. Тут высадили

всех. И этап наш был двести тридцать с лишним человек - это только из нашего места. Погнали нас по городу пешком на Московский вокзал. А это у нас запели:

"К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей? Аще на к Тебе, Царице Небесная? Кто план и воздыхание мое примет? Надежда христиан и прибежище нам, грешным..."

Нам кричат "Не пойте! Стрелять будем!"

"Услыши стенание мое! И приклони ухо к молению моему! Буди мне Мати и покровительнице! Вручаю себя милостивому покрову Твоему!"

Все равно поем - не отстали...

"Владычице, Мати Бога моего! Не презри требующие Твоя помощи! И не отрини мене, грешного!"

Нам кидают ярославцы - булки, крендели к нам летят...

"Вразуми и научи мя, Царице Небесная! Ты мне Мати и надежда! Ты упование и прибежище! Покров, заступление и помощь!"

Поднимать нам не дают, нагибаться нельзя - бьют прикладами...

"Радуйся, благодатная! Радуйся, обрадованная! Радуйся, преблагословенная. Господь с тобою!"

Все спели - до конца. Когда забрали, все стали набожные. Даже урки... Пригнали на Московский вокзал. С вокзала погнали в тюрьму Коровники, там мы были трое суток... Сидела там с нами Груша. Красавица была, лет тридцать пять. Только в глазах у нее - темная вода. Так вот она многим предсказывала... У нас десятница была, староста камеры. Она ей предсказала, что через три дня освободится. Многим предсказывала. А мне сказала: "Не просись на работу и не отказывайся. Куда будут посылать, туда и иди. Тебе, - говорит, - хорошо будет". А я: "Крестик потеряла, боюсь без крестика". Она вынимает из обшлага крестик, надевает на меня: "Не потеряешь, пока сидишь, в нем и домой пойдешь". А с нас снимали кресты-то на этапе. Кто как прятал - кто в чулки, кто в обшлага. А у меня этот сохранился, и домой в нем пришла, и дома еще не один год носила. Простой медный крестик. А в лагере уже не снимали, кто с этапа принес. Вот помню, ко мне подходит стрелок-хохол: "Ето што в тэбэ высът?" - "Крест". - "Скынь да брос". - "Нет, не скину и не брошу". - "На што ты яго одэла?" - "А я его не надевала. Сколько помню, он все на мне. Кто надел, тот и снимет"... Ладно-хорошо... Сидим в Коровниках. Вызывают на третьи сутки человек по сто в контору. И вычитывают статью тебе и срок. Так и вызывают - сотню, кому по десять, кому по пятнадцать... Мне дали восемь. Нас таких семьдесят шесть человек вызвали. И прямо в вагоны телячьи, называется этот поезд "Максим Горький". Тихо он идет, вот его и называют "Максим Горький". И повезли нас. От Ярославля до Вологды целую неделю. Ночь везут, а день стоим в стороне. От Вологды повезли в Архангельск. Тоже целую неделю везли в аккурат. В Архангельске привезли нас в баню сразу всех, вшей побить надо. Там нам белье дали чистое, конечно, мужское - кальсоны, рубашки. Мы и то радехоньки, потому что чистые - безо вшей. Это все в архангельской тюрьме пересыльной. Через трое суток нас на реку Двину. На берегу всех на коленки поставили. Холодно, а многие только что забраны - одна сорочка да платье. Тут многие простудились. Я почему-то не простудилась. Два часа на коленях все стояли - пароход нагружали большой, это чтобы стрелкам было видно, что все стоят на коленях, никто не убежал. И повезли нас в Пинегу - нас на баржах с окошками, а мужиков - в

темных баржах. А простуженные стали тут помирать по дороге, мужики все больше. Так в Двину их и кидали. А мне хотелось заболеть да помереть, а так ничего и не сделалось. От Пинеги погнали нас двадцать километров лесом в Красный Бор. Там согнали в сарай - карантин отбывать. Сарай большой, не мшеный, две печки железные маленькие. Пять человек у каждой печки греется, остальные дрожат. А другой сарай для мужчин. А воды не дают. А мы консервными банками запаслись - кто в Архангельске, кто в Пинеге, да за пазухи их попрятали. Набьешь снегом банку, поставишь ее на печку, он и тает, вот и попьешь водицы. Без воды хуже, чем без хлеба... Ладно-хорошо... Пока в карантине сидели, нас человек пять верующих набралось. Мы по вечерам всенощную пели. А урки-девки сидят и слушают. А потом говорят "Хоть бы нас научили петь "очи"". (Это они так "Отче наш" называют.) Мы их научили, и они с нами пели. Тут уже и на работу стали нас помаленьку таскать - бараки мыть. И там я с отцом диаконом познакомилась, он в мужском сарае карантин отбывал. Раз прибегает он ко мне "Пошли, пошли, там архиерея привезли!" - "Откуда архиерей, не знаешь ли?" - "Из Архангельска". Мы подходим. А вохра-то над Владыкой издеваются - кто ткнет, кто пнет. А подрясничек на нем тоненький. За бороду дергают. И насмеваются: "Сейчас мы митру на тебя наденем!" Пнули его - он упал и сказал только: "Прими, Господи, мою душу". - "Примет, - говорят, - как же, примет!" Насмеваются. Эфиопское воинство. Так от побоев и помер Владыка, царствие ему небесное. Замучили. Издевались, как над Христом. Человек десять их было... Да... А тут и карантин наш кончился. И стали вызывать по одной к начальнику. Пришла моя очередь. Начальник спрашивает: "Как фамилия?" - "Такая-то..." Он глядит в формуляр, потом на меня: "Откуда же ты?" - "Изо всех мест". - "А уроженка?" - "Вологодской области, Вологодского была району". Он говорит "Так, так, деревня Кожино... А ты Андрюше-то не родня?" - "Какому Андрюше? У меня брат Андрюша! Так и он сидит?!" - "Нет, он не сидит. Мы с ним вместе учились четыре года. Да, бывало, на одной койке спали". - "А твоя-то как фамилия?" - "Хрусталева". Я поглядела, у него глаза-то один больше другого. Он у нас, помню, гостил... "Ванюша, - говорю, - ты?!" (Это начальнику-то.) - "Я, - говорит. - Так за что же, - говорит, - тебя посадили?" - "Жить не умею, - говорю, - хулиганю да ворую. У тебя вот все мои бумаги". - "Да, - говорит, - на какую же мне тебя работу поставить? А сколько срок имеешь?" - "Да, - говорю, - пустяки - восемь лет". А он: "Погоди, большой срок не устрашает, маленький не утешает. Не думай, что столько отсидишь... Так куда же тебя направить?" - "Не знаю, - говорю, - я хоть и второй раз, но в лагерях не была, я в

тюрьме сидела". - "Я тебя, - говорит, - назначу в ВОХРУ кухаркой. Наверное, приготовить сумеешь"... Ладно-хорошо... Только в ВОХРУ меня урки не пустили, десятница в бараке "Я туда тебя не пущу, своих девушек пошлю". А ихних "девушек" нигде не держали, как ответственная работа, так 58-я статья идет туда работать. А тут приходит завхоз, говорит- "Мне три прачки нужны в больницу, в Кулой". Это лагпункт был, километров восемь. Вот и пошли мы - я, моя Харитина и Марья одна - тоже набожная. Приходим туда - сарай. Навстречу выходит вольный фельдшер - лекпом. "Вот, - говорит, - мне в столовую повар, санитар и прачка". Всех троих взяли. Пришли мы вечером, поглядели на эту слабосилку - ужас нас взял. Все - поноски, лежат на сене, а оно уже как навоз. Которые и без кальсон лежат, да холодно, да мокрое-то все эдакое. Утром я приняла кухню, шесть ушатов котел висит на бревне. "Давайте, - говорю, - греть его да обиходим их, пока продуктов нам не привезли". Стали их обихаживать. Сначала всех в одну кучу. Харитина говорит "Не будем, они запачканные". Я говорю: "Сегодня они такие, а завтра, может, ты такая будешь. Давайте, - говорю им, - в одну кучу, кто может - переползайте". Кто не может - тащим. Ихний навоз вытаскали, доски ихние кипятком все ошпарили. Сарай открыли, чтобы проветрило. Их вымыли всех, поноски. Сено чистое настлали и положили их. С них все выполоскали, конечное дело, развесили. День хороший выдался, много высохло на ихнее счастье. Знакомые тут мои лежали, из одного места, из Лесина - Куликов Иван Петрович, Кошкин Иван Иванович, Введенский Константин Васильевич - священника сын, учитель. "Ну, - говорю, - я кухарка ваша". - "Ой, - Кошкин посмотрел на меня, - Шура, это ты?" - "Я". - "Слава тебе Господи. Теперь мы оживем". Я получила крупу, сварила им каши густой. Всем разнесла по кружке каши. Потом плохо стало с Кошкиным к вечеру. "Поверни, - говорит, - меня". Я повернула. "Плохо, матушка..." Только с полчаса еще пожил... На другой день рису получила, отвар им наварила, стали поправляться поноски. Но семнадцать - двадцать человек помирает каждую ночь. Сначала хоронили - сколачивали из четырех досок гробишко. Какой-никакой. А потом стали хоронить без гробов. А отец диакон тут у нас тоже санитаром пристроился, вот мы с ним всех их отпевали. Тихонечко, конечное дело... Мы с ним друг дружке слово дали - я вперед помру, чтоб он меня отпел, а он - чтоб я его отпела. Но не который не умер. А покойницей тут никакой не было. Были ворота большие подвешены так на метр от земли, на них клала. Это чтобы крысы их не объедали. И то они объедали носы да уши - лица уж не узнать. Сколько там крыс этих было! Ночью спим, только лица

закрываем, а они по нас так и прыгают. Утром встанешь, они к реке, к Кулою бегут. Метров сто - одна крыса. Или в каптерку идешь... Пока свет не зажжешь, ноги не поднимай, так по полу двигай, чтобы не наступить. Наступишь - заверещит она, и все на тебя кинутся - загрызут. Это меня начальник предупредил. А свет зажжешь, они разбегаются. Так и работала я больничной кухаркой. А кухни так и не было - на бревне котел висит, и на этом же бревне общей кухни котел. А тут собрали зэки собрание и стали кричать: "Пусть хоть раза три нам сварит больничная кухарка! Нам варят больно плохо!" Начальник разрешил. (Это уже не Хрусталева был, а Рыжиков.) Вызывает меня: "Вот завтра и послезавтра сваришь общий котел". - "На сколько человек?" - "На шестьсот". - "Какой котел?" - "Шесть ушатов". - "Сколько продуктов?" - "Столько-то"... Я все подсчитала и на пять ведер жидкости убавила. Оно и погуще стало. Мясо, конечно, не проиграла в карты, все положила. Картошки. Луку вяленого. Свеклы. Крупы. Можно сказать, что превосходная баланда. И при раздаче я была, когда разливали. Всем понравилось это. Поварам только не понравилось. Три повара там были. Один повар ученый был, учился на повара. Неделю я им варила - продукты получала. Потом меня поставили следить. Получала продукты, валила их в котел и при раздаче присутствовала. И так я была у них с января до мая... А тут приезжает к нам парень на лошади, говорит "Собирайся в больницу, в Красный Бор". Собралась я, поехала. Главный врач мне говорит "Принимай прачечную. Больничную". Накормили хорошо, постельные принадлежности выдали - одеяло мягкое, теплое, две простыни, наволочку - стружкой набивали. И комнату мне сразу дали отдельную... Корпуса там хорошие были. А я при складе. Койка, тумбочка, стол. Работаю я в прачечной. Вызывают к главному врачу: "Принимай анатомию, инструменты". Приняла я инструменты. Потом говорят, горячее сильно тратится. Надо запирать да выдавать по норме... Опять я. И так целых шесть должностей у меня стало. И покойников мне поручили. Днем два могильщика ямы роют. Ну там-то я не бывала, где они роют. А ночью из покойницкой вытаскиваем их. Накинут им веревку на ноги, хватают за руки да за веревку и кладут поперек саней - широкие такие дровни. Да еще и накрыть надо, там лагерем везти, чтобы не видели, чего везут. Матрасом я их распоротым накрою, и повезут их. Там зароят, конечно дело. Каждую ночь... Да... А я тут своих вытаскивала - Харитину Ивановну на раздачу пищи, Мария Григорьевна - портниха. Да были у нас еще два старичка бухгалтера - Иван Михалыч и другой тоже Иван Михалыч. В моей комнате соберемся, всю ночь поем. Иван Михалыч деревянный крест нам сделал, шестопсалмие я наизусть

читала, канон споем. Хорошо ятам жила. Только все Господа молила, чтобы мне не научиться курить да ругаться. И - слава Богу - не научилась. Только трудно мне с учетом было, я каждые три дня сама себе ревизию устраивала. Грамота-то у меня какая - полторы зимы. Белья у меня триста пар в ходу, да четыре отделения одеты. А врачи там были все евреи, и до чего же люди хорошие, просто превосходные. Севрук - два Севрука, отец с сыном, Шик, Березовский... Они заключенных жалели. Александр Антонович Севрук - хирург был хороший, он себе в штат набрал 58-ю статью. "Я, - говорит, - штат себе набрал - во! Ни одной урки! Все тихие, не будет мату в моем отделении". А доктор Шик говорит "У меня пускай и мат, я отважу. У меня - не будут!" Ругачка он был, а уж какой хороший. Простой. Вот прибежит ко мне: "Дура ты! Лагерный придурок!" А я ему: "А почто мне ум-то? Таскать-то его? Тяжесть-то такую?" - "Тыфу!" - только плюнет и убежит. Горячий. И вот Александр Антонович Севрук мне говорит "Чего ты не напишешь жалобы и заявления об освобождении? Все пишут, одна ты не пишешь". - "А я и не знаю, чего и писать". - "А ты напиши, как есть. Чем проще - тем лучше. А я тебе хорошую характеристику дам". И адрес он указал мне в Москву. Я и написала, он мне характеристику дал и адрес сам подписал. У нас все один заключенный писал для всех, по сорок рублей за бумагу брал, чтобы написать. А я сама написала, уж как сумела. Ладно-хорошо... Три месяца шла разборка, ходило, видно, взад и вперед. И пришло мне оттуда - освободить меня. Утром я встала, вызывают меня в контору. Я так и обалдела. Зачем требуют? По складу у меня все хорошо, и так все в порядке. Зачем требуют? Я прихожу в контору, сидит Калашников - начальник. "Ну, Саня, пляши!" - "Сказывайте, чего я требуюсь, скорее!" - "По-моему, надо плясать тебе". Не сказывает еще, морит меня. Потом говорит: "Ты освободилась". А я как не бывала на ногах, со мной обморок сделался. Ну, помогли мне тут. Говорят "Иди, сдавай дела. Как у тебя там?" А у меня все хорошо - ни прибытку, ни убытку. Пошла получать продукты на дорогу да деньги. Два кило селедки дали, хлеба полторы буханки, сахару двести грамм - на дорогу все дали. И в котором часу меня взяли, так в этом часу и освободили. Минута в минуту - три года. И отправилась я в Вологду, к родне своей, у которых тогда скрывалась. У них три ночи ночевала, а потом кое-как добралась до Водоги, это Пошехонский район, где мой первый приход был. Там на квартире поселилась да одну зиму жила - не служила. Варезки, носки на войну вязала - сорок первый был год. Одеjala стегала, шила - машина швейная моя уцелела, только поломали ее без меня. У меня и зимой хлеб рос. За пару носок - буханка хлеба, за одеяло - фунтов тридцать ржи.

Пришла на Казанскую, в октябре, а к Пасхе уж у меня три пуда муки было. Потом служить стала у Спаса на Водоге. Там и сейчас служба - она не нарушалась, та церковь. У Спаса мало платили, совсем там доходу не было. Вот отпевание - принесут с покойником каравашек с килограмм, подаст его староста батюшке и мне... Или на дом пойдем отпевать. Там для нас с батюшкой чистый испекнут каравашек, а тем, кто поминать придет, - уж с мякиной, льняной, да еще с чем, с клеверной мякиной. Ужасное время было, прямо ужасное. А служил у Спаса отец Георгий Рженицын - хороший батюшка, очень хороший. Года три я с ним сначала прослужила, только ходить было далеко - семь километров. Устроилась я в школу техничкой. И квартиру мне дали там, в школе. А потом я купила свой дом в деревне Михееве. Небольшой домик, крыша плохая была. Я его на швейную машину выменяла - так восемь годов я прожила в своем дому. И каждый год на меня три гектара накладывали обрабатывать, как на лишенку. Голоса я не имела. Или лъну дергать, или жать... А отец Георгий пошел в гости в Дмитриевское, у кого-то там был праздник. Ну, поговорили они, а там был шпион... Наутро всех пять их забрали. УЖ чего они там говорили - не знаю... И тут пришел к нам отец Асинкрит - отца Георгия отец. Он недалеко во Владычине служил, пока церковь там на сгорела. Загорелась она от молнии в Великий Четверг. Аккурат отец Асинкрит двенадцать Евангелий читал. И пока он службу не кончил, из церкви не вышел. Отца Георгия увезли, а отец Асинкрит пришел через неделю. Почти девяносто годов ему было, служил он до девяносто трех - это самостоятельно... УЖ и отец Георгий вернулся к нам из заключения. Года только три он сидел, сактировали его по болезни. Так-то бы они его еще поддержали. Пришел он - совсем плохой. Тут мы давай его лечить. Молоко ему бабы носят. А он в среду и в пятницу - не пьет. Бабы скандалят "Вам врачи велели молоко пить!" А он: "Врачи-то мне велели, а вот Бог мне не являлся, не приказывал в постные дни молочное есть. Так что отстаньте от меня". Он насчет этого строгий был... И вот стали оба они служить - отец с сыном У ж потом-то отец Асинкрит только ему помогал, служил, когда хотел приобщиться. Очень петь любил "О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь...". Голосок уж стал тоненький, я под руки его водила. Видеть он - хорошо видел, без очков, а ходил плохо. Вот поведу его к дому. "Ну, - говорю, - скок через порог!" - "Сейчас вскочу, сейчас вскочу". Придет, разденем его, и он сейчас на печку полезет. "Ты самовар заводи, а я пока тут на печке". А чай любил с молоком. И отец Георгий тут же жил, в том же доме. Овдовел он рано, лет тридцати, - и все жил один. Две дочки у

него были, обе замужем. Аккуратный он был, очень аккуратный. Мне он был одногодок. Вот прихожу к нему. "Что долго не была?" - "Как долго не была?" Я только две ночи дома ночевала. "А у меня новоселье". - "Что за новоселье?" - "А вот на стену посмотри. (Это он перевесил портрет патриарха.) Надо новоселье справить, иди в магазин". - "Чего покупать?" - "Купи пол-литра да селедки купи". - "А сколько?" - "Сколько купишь, там сама гляди. Да и вякалам (это певчим-то) скажи: приходите, вечером у отца Георгия новоселье". Ну, все придут - часов до одиннадцати посидим, попоем. В одиннадцать часов: "Ну, хватит, пора спать. Отправляйтесь". Он петь любил, регент был хороший... Ладно-хорошо... А в пятьдесят втором году пришел к нам из заключения Александр Павлович. Был он раньше священник обновленец. Служил за Пошехоньем, и там сгорел у них сельсовет, тут его обвинили, посадили. А жена у него и дочка Анюта пропали - так и не знает куда. А отец Асинкрит был у нас очень жалостливый, принял Александра Павловича, так он с ним и стал жить, хоть и тесновато было. Священником он уж больше не хотел быть. Ему предлагали покаяться из обновленцев, но он не стал. А устав хорошо знал, псаломщик был превосходный. И ко мне часто приходил, все об дочке грустил, об Анюте. Но он, конечное дело, тронутый был уже. Спал только на полу, на мешке с соломой. Раз вхожу к ним, гляжу, газетой накрылся, а сам святцы читает и плачет... Ладно-хорошо... А тут телеграмма мне и отцу Асинкриту, вызывают меня в епархию. Это, уж, наверное, год пятьдесят шестой был. А как ехать? Мимо нас тогда лен возили в Карамышево, там завод, принимали. С ними я и доехала. А там на Кукобой шла пешком, тут деревнями недалеко. А было это в декабре - перед Варварой и перед Николой. А от Кукобой уже на поезде... Приезжаю в епархию, отец Николай Понтийский, секретарь архиерейский, хороший. И тут нас, псаломщиков, у него шесть человек. Феодора, Люба, Параскева какая-то была, не знаю, откуда она, два мужчины - у одного рука плохая, а другой из сторожей. "Я, - говорит, - уж шесть годов служу сторожем, так уж маленько маракую". А Феодора всех нас насмешила. "Я, - говорит, - старостой работаю и псаломщиком. Две должности несу, да и ответственные"... Выходит к нам сам епископ Исайя, всех благословил, все тут подошли под благословение. Усадили нас и стали спрашивать, кто что знает. Все молчат, как воды в рот набрали. Сначала Феодору спросили. "Я, - говорит, - две ответственные должности несу - старостой и псаломщиком". - "Ну так спой чего-нибудь". - "Пою, пою..." - "Ну, спой". Спела она "Достойно"... Ладно-хорошо. Любу спросили - она наша монашина - она говорит. "Устав я хорошо знаю, а петь я не пою. Хотя по

крайности все спою". (Конечно, гласов она не знала.) - "А "Хвалите имя Господне" умеешь петь?" Она как захрипит "Хва-а-ли-те и-им-я Го-от-по-дне..." - "Ну, ладно, - говорят, - хватит, хватит. Можешь, можешь", - оставили ее. А дядьки ни который ничего не спели. А Параскева эта чего-то пела. А последнюю меня спрашивали: "Шестой глас умеешь петь?" Я запела. Потом восьмой спросили - "Господь воззвах..." - "Третий глас?" Я опять: "Господь воззвах..." И так все вразбивку, не подряд спрашивали. Потом прокимны спросили. Первого и пятого гласа, потом четвертого, и я все спела. Понтийский сказал, отец Николай:

"Эта вообще может псаломщиком работать". Владыка всех нас вместе благословил эдак и ушел. Потом выходит, выносит шаль шерстяную, тонкую, завернута в бумаге. И подает мне. До сих пор у меня цела. А Любе благодарность, что устав знает. Тогда ведь псаломщиков вообще не было. А у нас на Водоге целых два оказалось - Александр Павлович и я. А тут мы узнали, что еще есть место в Дмитриевском, за Пошехоньем. Александр Павлович туда идти боялся. "Опять, - говорит, - они меня заберут". А до войны он служил там, в тех местах. Думала, думала я и решила ему место уступить. А тут слег у нас отец Асинкрит. Еще за неделю до болезни говорит "Я хочу приобщиться. Буду служить". И служил обедню. Причастился, выходит ко мне: "Я хочу, чтобы ты сейчас спела "О тебе радуется, Благодатная..." И я с вами буду петь". - "О тебе радуется..." - поет голосок тоненький, а слезы так и капают. А через неделю он слег. Три месяца не вставал, как щепочка исхудал. А тут прихожу, он лежит, словно поет что-то. Я подхожу: "Батюшка, что это вы будто кого отпеваете?" - "Это я себя отпеваю. Пора уж меня отпевать". - "Да полно, батюшка, вы еще поживете". - "Нет, нет, надо уже меня отпевать". После этого соборовали его. А за неделю до смерти он вдруг вина попросил. А так-то в рот не брал, не пил. Принесли ему кагору хорошего. "Ну, - говорит, - сейчас пьянствовать буду". Глотка два сделал и говорит: "Уберите. А то приучишься, так беда". А помирал тихо, спокойно. Будто уснул. И умер он у нас на четвертый день Крещения, в январе - девяноста шести годов. Отпевали его два Георгия - сын да из Дмитриевского пришел отец Георгий Киселев. А народу на похоронах было - в церковь войти не могли, а церковь там большая. И всех поили, кормили, в трех домах готовили. Два мешка только белой муки ушло. Это сам отец Асинкрит нам сказал, кто будет на похоронах - всех поить и кормить. Отпели мы его, похоронили и сели поминать в церковном доме. И тут отец Киселев стал меня в Дмитриевское звать. Я ему ничего не обещала, сказала только, что побываю. Он говорит "Хорошо. Только не задаливай". И мне так грустно стало, что с Водоги уходить надо, что место я уступаю. "Теперь все, - говорю, - отпела". И тут приснился мне сон. Приходит моя тетка покойная. Тяти сестра и монастырская наша монахиня - матушка Анатолия, письмоводительница. "Что ты расстраиваешься? - говорят. - Ты не отпела еще. Еще попоешь, да и как. Пойдем, мы тебя поведем". И вот повели. Завели сначала в Дмитриевское в церковь. "Тут, - говорят, - тебе еще не конец". Потом привели в слизневскую церковь. "И тут - не конец..." Опять дальше повели и привели меня сюда, в летнюю церковь, поставили на клирос. "Вот, - говорят, - здесь тебе конец". Я ведь и не видала тогда этих

церквей, потом только, как приходила - узнавала... Ладно-хорошо... И вот Великим Постом пошла я в Дмитриевское. Пришла прямо к отцу Георгию, ночевала у них. Матушка у него очень хорошая, двое детей - Сережа и Леня. Они с матушкой еще молодые были - по тридцать три года им. Церковь там большая, каменная, очень хорошая церковь. Летний алтарь - Святых Жен Мироносиц, а в зимней два придела - Великомученика Димитрия и Параскевы Пятницы... Смотрю, узнаю - но еще не здесь мой конец. Мне там понравилось. Певчие там хорошие - из Пошехонья некоторые приходили, пели две учительницы старые. Вот я и согласилась у них служить. Проводил меня на лошади сам отец Георгий Рженицын. А дом-то в Михееве я еще раньше продала, больно плох стал - потолок совсем опустился. Продала я его в школу за двести пятьдесят рублей и жила опять на квартире. И вот перебралась я в Дмитриевское. Служил там отец Георгий Киселев хорошо, только на него иногда что-то находило, он как сам не свой делался. Вот на обедне поем ему "Достойно". Он вдруг из Алтаря говорит "Еще раз спойте, мне не понравилось". Мы еще споем. "Еще! - опять не понравилось". Я ему после службы говорю: "Батюшка, ведь нехорошо, это - обедня..." - "Не учи меня, я - поп!" Или вдруг за обедней в облачении выбежит из Алтаря да кочергой в печке шурует. Но меня не обижал, грех жаловаться. И прослужила я с ним год восемь месяцев. И тут он у нас уехал, и стала наша церковь без службы. И вот нам говорят, за Белым Селом приехал к сыну какой-то священник без места. Мы за ним лошадь отправили, за десять километров, у Егория Плохого, сын у него там жил. И вот привозят батюшку - да огромный, да страшный, да мордастый - рождество-то шире масленицы да красное. Да пьянехонек весь... Зовут Евдоким Да и привезли-то не к старосте, а ко мне в сторожку. Входит. "Ой, я отсель никуда не пойду, я замерз". Посадили его, я дала ему шубу. "Это меня не греет". - "У нас больше никакого тепла нет, кроме этого". - "Нет, так найди. Магазин-то здесь есть?" Купили ему. Он тут - хоп-хоп-хоп - всю поллитровку выжрал, прости Господи. Улегся на моей кровати. Пошла я к старосте: "Куда хотите девайте". - "Погоди, Николаевна, он протрезвится". А дом-то священников порожний стоит, никто в нем не живет. Утром встал. Собрали собрание. А как подрясник у него, не знаю, на что и похож. А у меня в сторожке висела картина "Страшный суд" - мертвых воскрешение, муки грешников. Он смотрит на картину. "Это, - говорит, - надо ликвидировать. Тут все наврано". А я с говорю: "Если наврано, так нам и вас не надо. Мы боимся и трепещем этого". - "А ты что больно дерзко?" - "Потому что вы дерзко. Мы трепещем страшного Дне Суднаго". - "Никакого, - говорит, - такого дня не будет". - "Раз

не будет, - говорю, - пошто нам и тебя?" - "Я, - говорит, - думал, ты хорошая, а ты, оказывается, никудышняя". Ну, выстирали ему тут подрясник, да еще и выкрасили. В епархию к Владыке ехать. Денег ему дали, отправили его в епархию. Говорит: "На Ильин день приеду обязательно". Ильин день подошел - нет. Неделя прошла, другая - нет. Тут послали меня в епархию. "Ну, - Понтийский говорит, - зачем пришла, курносая?" - "Как, - говорю, - зачем? У нас батюшка пропал". - "Как, - говорит, - пропал?" - "Скоро месяц, все нет". - "Куда же он девался? - уж он все знает. - Эдакой большой не мог провалиться. Ну, рассказывай, чего там у вас было?" Рассказала. Он достает мне вот такую хартию, митрополит Питирим из Минска про него прислал. Чего там только не написано!.. "Так какой же, - говорю, - он батюшка?" А отец Николай смеется: "Ну и счастливая ты на батюшек. То Киселев, да теперь этот. Ничего, - говорит, - все перемелется, мука будет". А он, Евдоким, из шести церквей ушел, самовольно, ни одну не сдал. И все вот так-то пил. Так и пропал он, ничего о нем больше не слышать. Да... Церковь у нас в Дмитриевском не служит, и опять я без места. А тут мне пришло письмо из Слизнава от отца Платона. Одна наша певчая, Александра Васильевна, она десять лет тоже в тюрьме сидела, священника была жена, - она и к нам, и к ним в Слизнаво ходила молиться. Вот она отцу Платону и сказала, что я без места. И пошли мы с ней в Слизнаво на Преображенье. Там тоже церковь хорошая, была я в ней, гляжу, во сне-то. Но только это еще тоже - не мой конец. Поступила я к ним. Квартиру мне в сторожке дали. Отец Платон служил хорошо. Он раньше псаломщиком восемь годов был, а женился на протоиереевой дочке - отца Романа - Зинаиде Романовне. Они из Минска приехали. Матушка у него была очень хорошая, а уж теща Софья Михайловна - просто превосходный человек. Первое-то время мы с ним хорошо служили. По грибы да ягоды ходили. А там белые только в двух местах растут. И он эти места знал. И вот я утром пораньше встану, побегу, оберу их. И лесом иду домой, а он уж после меня туда же дорогой идет. Он лесом не знал. А я-то лесовая бабушка. Приду домой, чищу их. Он прибежит: "Опять все обрала?" Вот соберемся вместе по ягоды. Он нарядится в голубую трикотажную рубашку под поясок. А я уж - как баба-яга... Поглядит на меня: "Не пойду с тобой!" А я: "Так и я с тобой не пойду. Ты куда это вырядился?" Слава Тебе Господи, иду одна. Нет, догоняет. "Я так без ягод останусь!" А потом мы стали с матушкой Зинаидой ходить. Так два года мы с ним хорошо жили. А через два года он стал почему-то плохо ко мне относиться. Как чего не сделаю, все - неладно. Минею на клиросе придет исчеркает. Нехорошо у нас стало. Тут он и народу

объявил, что псаломщик ему не подчиняется. Хотел он тут в Шестихино переехать, да его там не приняли. Даже квартиру не отперли, не показали. И в церковь не пустили. Ну, как говорится, не наше дело попов судить, на то черти есть - они рассудят. А мне тогда и говорят, что тут место есть, батюшка отец Иван просит прийти... Ну, отправилась я пешком на второй день Благовещения. Зашла к батюшке, он самовар разогревал. Только и спросил: "Гласы знаешь?" - "Знаю". - "Ну, запой". - "Который?" - "Да хоть какой-нибудь". Я ему запела. Вот и все. Повел меня на квартиру к Дуне, покойнице, сторожу церковному. Прихожу в церковь. Как глянула - потолок голубой, в окне поле видно - вот он, тут мой конец. Последнее мое место. Точно, как во сне... Потом я у старосты жила, у Александры Родионовны, тоже покойница. И потрудились я тут - церковь сторожила, печки топила, просфоры пекла, ремонты мы с Родионовной делали. Так у храма все и живу. Мне и в детстве все хотелось у церкви жить. Бывало, говорю: "Тятя, с Николы в церкви сторожа поряжать будут. Порядись. Вот Александр-то Широгоров там живет". - "Дура, - скажет, - у него одна корова, а у нас четыре коровы. Да куда мы с таким-то хозяйством?" - "Все, - говорю, - продадим. Больно мне у церкви жить хочется". А "Соломой" это меня ребятишки прозвали. Не могут сказать "псаломщица", не понимают, что такое. Вот и вышло у них - "баба-солома". А только подумать, сколько я мытарств прошла - и тюрьму, и все, не знаю, как и прошла. Помаленьку-то и прошла... Я ведь и в лагере на них не обижалась, что вины у меня нет. Вины нет, так грехи есть - за них страдаешь. А в тюрьме я все придурком была, и мной не распоряжались. Хотя работы у меня было много. А по мне хоть и сейчас пусть опять заберут, я не боюсь. Только вот жить-то мне осталось полтора понедельника. На похороны у меня есть деньги. В церковь на помин - сто шестьдесят рублей. Сто рублей - батюшке, какой меня отпевать будет. Гроб мне надо некрашенный. Музыки мне - упаси Бог! - ихней не надо... Пьяницы эти марш играют, а бесы пляшут, радуются. Тпфу! И ограды мне на могилу не надо, надо только крест деревянный. Лишь бы отпели, а там хоть в болото пусть кладут... Я никому не завидую. Мне еще отец Асинкрит, Царствие ему небесное, говорил: "Бог тебе богатство дал. Господь тебе знание дал, разумение и голос. И должна ты благодарить Господа". Я и вправду богаче всех. Кусок хлеба у меня до смерти, и одежды - не сносить. Еще после моей смерти жечь придется. А что старые платья, наплевать. Все проехало уж теперь. Не Абрам и смотрит, не Макарь любит, не Захар интересуется. Мне теперь какие женихи? Надо ждать жениха Лопатина, Могилевской губернии из села Грбовщиков. Этот -

всех берет. Так что богатства у меня - через борта. Плохо только, покаяния настоящего нет. Как бы надо идти к покаянию, не так, как мы, грешные, каемся. Такого покаяния нет. А службу я без ума люблю.

Горинское, октябрь - декабрь 1980 г.

НАША ШУРА

В сорок первом году, в октябре шла я из заключения на Вологду, в Пошехонский район. Женька у меня еще грудной был, а Колю своего я три года не видела - с самого ареста. Прихожу в Кузьминское, и вот идет мой Коля мне навстречу по деревне - шубейка маленькая, обтрепанная, идет и поет во всю головушку

Милая моя, на кого похожа, - ух!

У тя курицьи глаза, петушечья рожа, - ух!

Хорошо тебе, товарищ, тебя матка родила, - ух!

А меня - чужая тетка, матка в лагере сгнила, - ух!

Ему кричат: "Коля! Мать идет!" А он: "Какая мать? Мама-то, я знаю, какая была. Мама была в белом платье и бегала люто. Как вон теленок. Никому ее было не догнать. Как за хвост теленка схватит, так он и падает". (Это еще до ареста было. Теленок у нас все сосал корову. А я его догнала, как за хвост дерну, он и повалится. Вот это ему и далось, это он и запомнил. Все говорил: "Мама бегала люто"). А как меня арестовали, он у меня посреди полу остался. Трехгодовалый. И целый год не знала, где он и есть. Я из заключения все писала, да мне никто не ответил. А мне тут

посоветовали:

"Напиши в районную милицию". Через две недели мне и пришло: его батька взял. УЖ он вторично тогда женился, так и жил в Телепшине... Я ведь сама-то как замуж вышла. Меня там все в сельсовет таскали и говорят "Выходи замуж, да и будешь жить. Тогда тебя не арестуют. Ты уж будешь тогда не лишенка, не монашина". А жила я на квартире у тетки Феклы, а Иван-то через дорогу, напротив. Он и моложе-то меня был. Они меня всей семьей ходили уговаривать. Немного мы с ним нажили. Да и не венчались, так что я его и за мужа не считаю... У них семья эдакая - ни одного дня нет, чтобы у них без скандалу. Как Коля у меня родился, так я вскоре и ушла от них. Тут уж я Бога стала молить:

"Выведи, Господи, меня из Телепшина Хотя через тюрьму, а выведи... Ладно-хорошо... Так что после ареста моего Колю батька с мачехой забрали. А держали они его худо, голодовка была... Колю-то в Телепшине знали. Вот он трехгодовалый придет да встанет у магазина. Ему и дают. Говорят "Это ведь Шурин паренек". Надают ему денег на буханку. Купят ему буханку. А батька уже стережет "Пойдем домой!" Хлеб-то у него дома и отберут. Потом это все узнали. Стали Марии Павловне давать денег, пекарке. И ему сказали: "Ты ходи есть к тете Мане. Она тебя будет кормить". Ему четыре года не было, он от отца пошел в Вологду - за десять километров - к крестной, к Марии, к товарке моей. Его вернули, а потом так и отправили к ней. Петро Кузьмич его привез зимой - да без валенок. Ноги половиком завернуты. А мои чесанки новые так у них и остались. Не отдала мачеха. Они все забрали. У меня ведь остался парнишка - восемь рубак у него было. Они все своих маленьких одевали. Пришел - только шубенка на нем. Я по этой шубе его и узнала, Я ведь шила ее сама. Вся уж истрепалась - три года носил. Он у них и на постели не спал. На лавку постелют половик - ложись тут. А в Кузьминском они с Марией, с крестной, жили у председателя Розина. У него низовка была, первый этаж - вот там и жили. И я с Женькой туда пришла. Я пришла, а у Марии моей тоже уж ничего моего нет. И рубашки у меня нет - с дороги надеть. Выпарилась в печке, пришлось кофту с юбкой так надеть. А Мария говорит "Все твое украли". - "Какие воры, - говорю, - интересные были. Все мое украли, а твоего ничего не тронули?" А Коля-то как ни мал был, а помнит. "А вот, - скажет, - это мамин ведь был платок. Теплый-то, новый-то, серый-то". И тут же опять Марии шепнет "Ты тетке-то не давай". А ее спрашиваю: "А шаль-то моя жива ли?" У меня шаль

новая, хорошая, пуховая была. Мы с ней обе по шали купили. "Ой, - говорит, - я ведь твою шаль заложила за пуд муки". - "А зачем же ты закладывала? Ведь ты после меня восемнадцать пудов хлеба получила? Я ведь тебе из заключения доверенность посылала". (У меня заработано было. Я в заготскоте косила овес) А она: "Так я твой хлеб по займам раздала". А про шаль врет, это она племянке своей отдала. А тут опять Коля: "Крестная, а еще два маминых полотенца у тети Опроси". - "Ой, - говорит, - дурачок. Я ведь тоже заложила. За муку". Да... За муку заложила, а парнишку по миру водила. А Коля - ему седьмой год - никак меня не признает. УЖ я тут и одела его, сшила ему рубашку хорошую, а штанишки, башмаки купила. Всю деревню обошел - хвастался обновами. "Да кто же это тебе справил, Коля? Мать?" - "Какая мать? Будто не знаете... Тетка эта. Научилась одеяла стегать да вязать, вот и говорит я - мама". А то пойдет наверх к хозяину нашему, к председателю Розину. "Дядя Розин, как бы эту тетку выгнать? Ведь из-за нее моя мама не придет. Письмо давно пришло, что мама освободилась, а все не идет". Розин говорит "Ну, давай, ты придумывай, как ее выжить. А я тебе помогу". Заревел: "Я придумал". - "Ну, и чего ты придумал?" - "Да свеземте в город этого парнишку, Женьку. Она за ним пойдет, да уж и не придет больше". Да... А я как пришла, так без работы уж не сидела. В Кузьминском-то. Неделю прожила, а война-то, сорок первый год. Всех забирают. А ни у кого ни носков, ни теплых варежек А председатель сельсовета говорит "Наша Шура приехала. Скорее ее никто не сделает и лучше не сделает. Несите к ней. Она и берет буханку хлеба за пару". Мне и потащили. А у меня как сутки - так пара и вылетела. Коля, бывало, щиплет шерсть. А я ночью наряду, я прясть быстро. Шестьдесят восемь пар связала в зиму-то. Я уж себе и шерсти заработала. Себе валенки скатала и Коле скатала. На Пасху нам скатали. И постелей ведь у нас не было. Мария одно: "Все твое украли". А я бабам говорю: "Принесите мне куделей из гребей". Они мне двадцать шесть куделей и принесли. Я весь этот лен спряла да две постели и выткала. Живем... А тут у них в школе техничка спилась. Ее и посадили - на работу не ходит... Мария у меня ушла гулять с Колей. Он все с ней ходил. А я сижу, вяжу чего-то. Приходят ко мне учительницы две "Поступай к нам в технички. Посадили Параню, техничку. Два года ей дали. Она уж который день на работу не выходит". Тогда ведь строго было. "Завтра, - говорят, - приходи принимать". - "Ладно". Я и довольна Паек мне тут давать будут, карточки. На себя и на ребятишек. Потом на меня одну давали - триста грамм. И жить тут я в школу на квартиру перешла. Я за всякую работу бралась - я ведь с детства не наважена. И домовничала, и в

огородах работала. Была у нас там Маша-Гаша. Тоже ходила работала, помогала, как и я. Она в девках деток наносила. С мужиком тут жила. И работу она делала хорошо, только за ней трое деток идет. И она везде садится за стол, и они трое. Скажет: "Садитесь". И деток своих садит. Так вот ее накорми да их накорми. В такое-то время. Вот и не стали ее брать никуда. А я все одна ходила, пошто я в люди деток поведу? Меня и брали. На Пасху по девять изб я мыла. Тогда и крынка молока больно дорого стоила. Я премоюсь, принесу деткам домой крынку молока, да еще и кусок хлеба. Наедятся. Это большое дело было. Бог нигде не оставляет. Так и живем... А Коля меня все мамой не называет. Целый гол А тут заработала я хорошей пшеничной муки. УЖ и не помню за что. И напекла я нам пшеничных пирогов. Сели есть. Я ему отрезала середку пирога. Он попробовал: "Ой, мама, я ведь и не ел такого-то пирога". Первый раз мамой назвал. Ладно, хорошо... Дожили до лета. А на Иванов день пришла из Телепшина мачеха его - Мария. "Ивана-то, мужа-то, - говорит, - убили". Погостила она у меня. А Коля с ней даже и не поздоровался. А на прощание я подаю ей полпирога. У нее ведь ребятишки. А Коля подошел к ней да и вырвал пирог-то. Мне говорит "Ты, мама, видно, меня не жалеешь нисколько". Я говорю: "А чего? Надо ребятишкам-то". - "А ты знаешь, - говорит, - они у меня все вырывали, убирали мой хлеб". А она тут "Ой, дурак, ой, дурак, ой, дурак". - "Ничего, - говорит, - не дурак". А я ему говорю: "Отдай это. Алешке да Люське - хлеба-то пошли им". А голодовка страшная, целыми семьями умирают... Вот пошла я в церковь ко Спасу. Тут от Кузьминского семь километров. Я уж и службу там правила. Прихожу из церкви. Мария Михайловна, учительница, говорит "Шура, подавай в суд". - "Чего?" - "У тебя обыск делал Хазов". А это сосед наш, у школы жил. Он меня сразу невзлюбил. А я: "Да хоть каждый день делай, я не запрещаю. Ты же знаешь, я не запираю". Это он колосков у меня срезанных искал. Тогда за колоски-то сажали. Без разговоров. Смотрю, он и идет. А вчера, я сама видела, евонная дочь весь день колоски срезала. Я говорю: "Иван Петрович!" - "Чего?" - "Ты ведь ошибся обыск-то делал". - "Почему?" - "Потому что у тебя надо обыск-то делать". - "Как это? - такая мать", - изматюгался... "Так, - говорю, - у тебя дочка вчера весь день колоски обрезывала. Я все видела А мы никто не сорвали и колоска. Пожалуйста, ищи у меня хоть каждый день". - "Так чем же ты кормишься?" Я говорю: "Обо мне три прихода молятся, чтобы не умерла. А об тебе три прихода молятся, чтоб ты скорее подох". А потом они правда все умерли - и жена, и он, осталась одна сноха. Ведь семьями у нас умирали... А я тут еще и заболела - операция была у меня. Нельзя мне стало техничкой

работать, так дом в Михееве - по соседству - купила. Восемь лет в своем доме жила. Михеево от Кузьминского полтора километра. Тут все деревни рядом - Михеево, Горка... Это тот дом, что я за машину выменяла, за швейную. Хорошая у меня машина была... А в Михееве я пасти стала. Порядилась. За двенадцать пудов хлеба и за пятьсот денег. Сто двадцать четыре головы да телята. Там все вместе - и деревенские, и колхозные. И потом выговорила, чтобы мне избу покрыть соломой. Ну, и кормить, конечно, кормили. И летом двадцать килограмм муки на месяц. И молока литр в день - пока пасешь... Ну, я поряжаюсь, в первую очередь говорю: "До Егория, какая угодно будет погода - не выгоню". А бывает, и кормить-то нечем... "Надо - выгоняйте, до Егория пасите сами. А в Егорьев день я схожу в церковь. Я - именинница. Себе молебен - царице Александре, скотине молебен - великомученику Георгию. Водосвятный". Они деревней соберут денег на водосвятный-то молебен, принесу им всем воды бидон. Им дам - в доме каждый окропит, а потом всю скотину окроплю - и колхозную, и ихнюю. Это - на второй день. Говорю: "Кто будет пускать телят с коровами сейчас, пока не окропила..." Беру крест, беру икону Георгия, три раза стадо обойду... "Ну, теперь, - говорю, - скотину в поле не бейте - вы не хозяева. Бог пасет у меня... Ээй!" - и скотина за мной вся. Я никогда и не ходила сзади скотины. Все вперед, и вся скотина за мной. Весь день за мной и ходят. У нас и дома ни Тятя, ни Мама скотину никогда не били. А весной у нас скотина выгонялась, как вымытая. Ведь у Тяти такое место соломы было - по двести суслонов ржи. В неделю раз он во дворе стелет солому. И стелет сам, рядами. И навоз потом легко вывозить. Соседи, бывало, Маме говорят "Ты, Пелагия Автономовна, чего-нибудь да знаешь. Слово какое. Вон как скотина твоя домой бежит". А Мама: "Знаю, знаю. Как же не знать? Вот по ведерку им припасу пойла, да еще муки туда подсыплю, отрубей. Вот они бегом и бегут". И никогда мы не бегали за скотиной. А у нас-то там на Водоге в колхозе скотницы - гонят их, да с матом, с батогами. "Ой, - кричат, - Шура, помоги загнать". А я: "Только отойдите вы. - И скотине: - На место, милые, на место. Вон твое место. Беги на место". Они зайдут... И они тоже говорят "Ты чего-то знаешь". И председатель колхоза Павел Тараканов тоже... Я ему говорю: "Вот я у вас сколько годов пропаса, и ни одна скотинина не пропала". А он: "Ну, дак ты со словами". - "Ах, я со словами?" - и не пошла к ним больше пасти. Он потом приходит, зовет. А ему: "Ты ведь партийный человек, председатель. Как тебе не стыдно это говорить?" - "А почему?" - "А потому, что мертвый потонул. Никаких слов у меня нет". Женька мой обойдет с крестом да иконой весь выгон. Георгий Победоносец - иконка. Потом на елку

ее тут повесим. Так она там и осталась. Три раза так обойдем. Как мы начали пасти, так Женьке еще восемь годов было. Бывало, побежит за коровой, ругает ее, чуть не плачет "Ты страшная... на рукомойник ты. похожа. Ты погляди на себя - какая ты есть. Ты - дура!" Да и заревет. А быки-то его любили. Бык Фомка все ходит по выгону, ищет, где Женька лежит. Найдет его, так рядом и шлепнется. А Женька из него все вытаскивал каких-то гадов... Толстые, а голова тонкая. Всех их вытаскал у него... У меня ведь ребятишки не воровали, так их все люди жалели, все их любили. Бабушка Варвара Коле говорит "Ты уж ко мне почаще ходи. Вот бы надо матери твоей сходить одеяло отдать выстегать, да мне не дойти". А он: "Выстегаем, баба Варя, я умею". - "Как ты умеешь?" - "Да так. Я ведь видал, как мама стегает. Давай выстилай". Наметил: "Выстегаем, баба Варя, сами... не понесем". Он уже у меня в Колодине учился... Вот и выстегали. Она его неделю кормила. В такое-то время... А то у меня соседи Куликовы были. Эти все воры. И мать, и отец, и три парнишки. А она все говорит "Какие у меня ребята путные - все в дом тащат". А я ей: "А я своих за эту путность убью. На ногу встану, за другую раздерну". - "А у меня все несут". Я говорю: "Анна Александровна, у тебя огород-то вон какой большой. Неужели тебе своего луку не насадить? Больно он не-дорог". А тут ребятишки по ночам воровать идут. Так и батька ходил с мешком за зеленым-то луком. А как выросли они, так все и по тюрьмам, так уж и не выходили. За хулиганство, за воровство - все три сына. А я тут пошла домовничать за полкилометра. А у меня мешок пшеницы был, за пастушню заработанный. Утром прихожу - отперто у меня. Я сразу в чулан - мешка нет. Я побежала к соседу Володяхе: "У меня мешок пшеницы украли". А бабушка Марья говорит "Ой, девка, да я ведь и видела. У тебя огонь-то засветился ночью. Ой-ой-ой, как жалко". На санках увезено-то - след есть. Говорят "Это - Витька Репин". Я к ним пришла, меня мать его Люба еще и отругала: "Как чего пропало, так думаете, уж и Витька!" Ну, ладно, взяли - пускай берут... А через два дня выборы. Они все были в Колодине. Приехали в Колодино. Ко мне подходят люди-то, говорят "Тетя Шура, у тебя пшеницу украли?" - "Украли, милая, да что поделаешь". - "А мы, - говорят, - знаем, где твоя пшеница. Ваня Седой купил у Витьки Репина". Я подхожу к Володе - к евоному дяде, он сирота. Лет ему четырнадцать было, Витьке, без отца рос. Я дяде и говорю: "Люба-то меня отругала твоя. А пшеницу-то Витька ваш украл". - "Да что ты?" - "Да, - говорю, - вон Ване Седому продал". - "Ну, - говорит, - отберем". Он пришел домой, видно, там поругали этого Витьку. Он бежит ко мне: "Тетя Шура, я уж не поеду за мешком Съезди ты сама. Я ведь боюсь и ехать туда.

Ведь он мне не отдаст". Я говорю: "Мне отдаст". - "Ты поди и в суд подашь?" - "Нет, - говорю, - почто мне суд? Нашлась, так чего тут в суд подавать, по судам ходить. У меня у самой два растут, может, еще хуже тебя будут. Нет, не буду подавать". Пошла, прихожу к Ване в Климовское. "Ваня, пшеницу купил?" - "А тебе какое дело?" - "Давай мне мешок пшеницы!" - "Плати деньги!" - "Нет, не буду платить. Я у тебя не покупаю, я за своим пришла. Давай без разговору! А то сейчас Митрий Григорьевич придет, депутат". Подал мешок. И уж он меня, он меня катит по-всякому. "Ничего, - думаю, - пойте молебн мне сзади". А мешок-то я домой повезла. Вечером прибегает Витька. "Тетя Шура, получила?" - "Получила. Будь в покое. Скажи Любе и Володе, чтобы не ругали тебя. Больше воровать не ходи". - "Тетя Шура, больше никуда не пойду". - "Не ходи, милый. Видишь, как худо воровать-то, стыдно..." А Седой-то мне больше году на глаза не попадал. А тут к зиме на четвертый день Знаменья у меня бабушка Татьяна сидела. А огня-то ни у кого почти не было, у одной меня из всей деревни. Вдруг слышим, стучается у калитки. А у меня изба старая была, а запоры хорошие, поперечные. Я выхожу "Кто?" - "Да я, Ваня". - "Чего тебе надо?" - "Бабушку Татьяну". Отперла я. "Бабушка Татьяна, я к тебе". - "Вижу, батюшка, что ко мне. Чего тебе надо-то?" - "Балалайки". - "Да ведь у меня без струн". - "Ничего, - говорит, - давай и без струн". Она встала, пошла, а меня он вот эдак за шею ухватил. "Ты что, - говорю, - ошалел?" Они пошли, я и заперлась. Он там сходил, ну, без струн - куда балалайку? Обратнo идет. Опять стучается. "Кто?" - "Я". - "Тебе у меня делать нечего". - "Найдем работы". - "Ах, ты седая б...!" Я другим ходом выскочила и к соседям: "Ванюха! Володюха! Седая б... пришел ко мне ночью работы искать!" Они соседи хорошие, они с ума по мне сходили. Они выскакивают, один кол схватил, другой - оглоблю, да и за ним.. Всей деревней прогнали. На другой день всем известно. "Что, Ваня, не нашел работу-то?" - "Да ну ее. Она дура ведь нагольная". - "К такой-то дуре и пошел работу искать..." Ладно, хорошо... А я к своим ребятишкам все говорила: "Чего вам надо, я из-под земли достану. А узнаю, что украл, - убью. Ни за что не убью, а за это - убью. На одну ногу встану, да за другую раздерну". Так мы с ними шесть лет и пасли... Да тут ноги у меня разболелись. Боли - страшные. Вот обуваюся, - а ведь надо пасти идти, - обревусь вся. Я уж и сапоги большие резиновые мужские достала. И опухоли никакой на ногах нет - ничего. А боли страшные. Два года мучилась. Чего-чего не делали... И уколы мне прописывали, и сидеть на муравейнике. А тут наши ехали к Спасителю, это в Тутаев. Там у них икона большая, явленная. И Женька мне: "Мама, поезжай ко

Спасителю. У тебя ноги-то и заживут". - "Да и ехать-то не в чем". А он: "Да я к тете Опросе сбегаю, тебе сапоги резиновые принесу". Принес, дала, говорит, ко Спасителю съездить. А голодовка-то... Я ему говорю: "Ты муки тете Опросе снеси, она тебе колобух напечет". И вот поехала. Приехали в Тутаев, в церкви там и ночевали - в соборе - там всю ночь поют, молятся. Икона - Спас Нерукотворный. А утром до обедни все пошли мы на источник, три километра от собора. Тогда еще его не заваливали, он сильно бьет. Я ноги-то и поставила. И вот, веришь, оттуда пошла - туфли свободно надела. С тех пор вот уже почти сорок лет ноги у меня никогда не баливали - исцелил Спаситель... Летом-то у меня грибы, ягоды, летом пастушня. А вот зи-мой^го... И ведь полями хлеб да картошку заваливало - а тронуть нельзя, сейчас посадят. Десять лет - без всяких разговоров! У нас на горушке, помню, целое поле картошки некопаное - семь гектар замерзло. А к весне совсем есть нечего. Я получаю на троих на неделю кило триста хлеба. А Коля мой уж в Колодине учится - пятый класс. Из церкви в воскресенье иду я в Юрьево, за тринадцать километров. Там в Юрьево и получали хлеб. Прихожу домой. Кило триста. Надо Колю в школу отправлять. Надо с собой хлеба дать. И Женьке надо дома оставить. Женьке отрезала маленько, даю: "На, Коля". Его проводила за реку. Пошел в школу. Пришла домой, думаю: "Господи, что делать?" Женька говорит "Пойдем, мама, собирать горох гусиный на гуменнике под сеном". Ничего и не набрали. А день хороший - солнце. Я гляжу: на горушке, на картофельнике на этом - там прогалинка. Оттаяло. А туда попасть как? Снегу вот по это место... "Пойду, - думаю, - с топором. Может, чего и вырублю". Пошла, Снегу столько... "Пойду, возьму лыжи". А на лыжах не ездила - одна туда, другая сюда. Все-таки добралась до прогалинки. А тут конюх у нас был, смотрит издали на меня: "Ой, такая мать, медведь - не медведь, человек - не человек". Пошел домой, выстрелил кверху. Если медведь - так побежит... А я и пробралась. И в аккурат только одна ботвина вытаяла, Я ее вырубил. И лежат, как яички, пять картошин. "Ой, - думаю, - слава Тебе Господи!" Принесла домой. Говорю: "Женя, не умрем!" - "Слава Богу, мама, не умрем". - "Не умрем! Сегодня я испеку колобуху". Истолкла картошины и испекла на сковородке. Пополам разрезали и съели. Слава Богу! Сегодня поели. А день-то хороший... На другой день пошла туда - пять колобушек нарубила! И уж больно хороши - белые, как пшеничные. Испекла, говорю: "Ешь!" Два раза мы поели. На третий день пошла - полведра нарубила. Принесла. А еще никто ничего не знает. Соседнего. Напекла. Думаю, если сегодня Бог нищего какого пошлет, досыта накормлю. Хватит. И Женька тоже это говорит.

Это мы, значит, до среды дожили, это в среду я нарубила... И только Женьку я накормила - идет нищий. Волосы дыбом - как со страшного суда сбежал. "Здравствуйте". А ведь и я симпатичная - под глазами такие вот мешки висят - с голоду-то. Пеку колобухи. "Пилы точить, - говорит, - ножницы!" - "Ножниц нет, - говорю, - в дому, и пил нет в дому". - "Ну, дак милостыньку". - "Садись, - говорю, - на порог". Он мне почти все колобухи обделал. Думаю, оставить хоть Женьке-то... Ест да похваливает "Ну и хороши... Пшеничные? Как ты хорошо живешь, - говорит. - Ты с кем живешь-то?" - "Вот с ребятишками, - говорю, - один в школе, другой на печке". - "А где твой муж?" А я говорю: "Объелся груш, да утащил его уж". - "Ой! Да ты без мужа эдак живешь? А ведь поди плохо без мужика?" А я уж догадалась, чего он говорит. "Да ведь плохо, - говорю. - Вот картошки мороженой нашла, вырубил, да едим. А мужика-то не вырубишь". - "Да, да, милая, да, милая. Да, мужика трудно найти, да, трудно". Знай заливает, наелся. Потом говорит "Давай-ка возьми меня. Будем жить". - "Ой, - говорю, - эдакой-то хороший, да и пойдешь ко мне, к такой страшной?" - "И пойду, и будем жить". - "Ой, - говорю, - такой-то ты хороший, да без рубашки". - "Да ведь и у меня-то рубашки нет". - "Так как же будем жить-то?" - "Наживем!" Я говорю: "Один ты без рубахи ходишь, а у меня ребятишки. Катись к такой матери да не оглядывайся. Чтобы твоя нога тут не была! Думаешь, я тебя из-за этого кормила? На что ты мне нужен?" Так ведь год не попадался навстречу. А потом, что ты скажешь, женился, взял Лизу в нашей же деревне. Дура она была нагольная - заработала в колхозе два мешка хлеба, надо взять Сашу. Пошто?! Я говорю: "Пошто ты берешь? Ведь у тебя ребятишек двое?" - "Дак ведь что ты... Ведь он молодой мужик". А я: "Да что в нем толку. Один и по миру бегаёт. Маленько-то у тебя голова-то варит?" - "Да чего там..." Раздерутся - ко мне идут. Оба идут ко мне Я уж когда дом в Михееве продавала, он ревел, как корова, - некуда будет от нее бегать. А потом уж все у нас в деревне про картошку мороженую эту узнали и стали печь колобухи, "тошнотиками" их называли... Надоели они потом - сладкие. Был у меня такой протвешок - испеку их три протвешка. Утром ребятишкам дам по три колобушки и в обед - по три колобушки. И вечером - по три. А Женька не ест, все свое уберет. Буду пол мыть - в платке завернуты... Не ест, а все убирает, - может, потом захочу. А потом у нас вика была некошенная, он туда стал ходить. На эту вику. Пойдет. Стакана два наберет. Я ему и сварю. Это он уж лучше ел. А то ячмень ходил подбирать - тоже прошлогодний. Ячменю в котелке принесет. Может, грамм триста. Я ему смелю. Испеку... Пойдет. А соседка Поля кричит "Женя пошел?" - "Видишь сама, - чуть не плачет, - задерживает. Пока

задерживает, он бы уж горсть набрал". - "Погоди, и я пойду". - "Погоди, погоди, сама еще кошелится". А она не пойдет, нарочно его. А ведь еще холодно. Идет домой, замерз. А она: "Женя, озяб?"

- "Видишь сама, что озяб..." - опять заревет. "На, - скажет, - стакан молока выпей". - "Нет, мама меня испортит всего из-за тебя". - "Я не скажу, я загорожу". - "Тетя Груша увидит". - "Да я загорожу, выпей". Придет домой: "Я, мама, не брал, она заставила меня. Я не просил". А на Страстной Коля пришел из Колодина, а мы с Женькой оба страшные. У меня вот такие мешки под глазами висят, а у Жени ноги тоненькие. А лапы вот какие... "Ой, мама, - Коля говорит, - вы ведь умрете". На второй день побежал в Полтинкино. Бабушка Настасья оттуда послала мне пять эдаких картошин больших. Хороших. Хлеба тоже послала... А ведь везде голодовка. А там, он видит, на поле рубят кочерыжки - после капусты на поле остались. "Ой, какие, - говорит, - мама, хорошие. Я попробовал нарочно". Пришел домой, а у нас еще и не знают этого дела. Схватил корзину, взял ножик - притащил корзину нам этих кочерыжек. Я их все обиходила, сделала. И два противня сделала колобух... Чего мы только тогда не ели. Липовый лист... Его истолкешь, как мука будет, больно уж хорошо. Только у меня от него по всему телу провалы пошли, двадцать два провала по кулаку. Мне не наклониться, не пошевелиться. А ребятишки у меня тут лен дергать ходят. Они соседке Кате помогали дергать. Так вот вечером она несет нам маленькую чашечку муки да пять-шесть огурчиков. Ведь тогда на четыре дома одну корову держали - по одной титьке... Липы все объели, за конским щавелем по пять километров ходили. Корова сдохнет, ее зароят. А народ уж видит где - ночью откапают... и едят. И от этого многие помирали. Да что там околеватину - людей мертвых ели. Была у нас такая, я уж про нее слышала. Да и была она у меня. Про нее уж все тут знали. Она уж отсидела да из заключения шла. Зашла ко мне ночевать. Я ведь всех пускала - все знали. "Я, - говорит, - иду из заключения". А за что - не рассказывает. А я-то ее узнала. Я спросила фамилию, имя. Я уж знаю, кто это. Она девочку, свою дочку, - эту она мертвую съела. Сварила да и съела. А потом и сына Ваню убила да и съела. Я ей и говорю: "Как же ты так сделала? Ванюшу-то?" А она говорит: "Да он мой. Из меня шел - в меня и пошел. Так и должно быть". Голодовка. А девочку первую она мертвую съела. Свезла пустой гроб, закопала А ее изрубила и сварила. А я: "А как же у тебя руки-то на него поднялись?" А она: "А мы, - говорит, - пошли с ним к моей матери. У нее корова. Она подоила корову и несет. Мне стакан наливает молока, а Ване-то целую кружку. А я говорю: "Мама, кабы не было у меня Вани, ты бы мне целую

кружку налила бы". А Мама говорит "Дура, да ведь он маленький. Ему надо". И так мне обидно стало. Посидели мы у нее, я говорю: "Пойдем, Ваня, домой". Домой пришли. Я ему говорю: "Будем мыться сейчас. Давай раздевайся". У меня стул деревянный тут стоял у стола. Ваня сел на стул на этот. А я: "Раздевайся, раздевайся, сейчас будем мыться". Он и разделся. "Сначала, - говорю, - поиграем в прятки, А потом полезем в печку. Ты наклонись, а я буду прятаться". А топор-то у меня тут лежал. А ему видно. "Нет, - говорю, - ты не эдак. Ты вот так положи голову, чтобы тебе не видать". Он и положил. А я топором - так голова и откатилась". А я тут "И ты в уме устояла? Не сошла с ума?" - "А что? - говорит. - Я все изрубила. Посолила в ведерочко. И стала есть помаленечку... А соседи спрашивают: "Где у тебя Ваня?" А я говорю: "У шел к сестре". Там справились - нету Ваньки, не бывал. Милицию потребовали. Милиция приходит, а я говорю: "У шел он, не знаю я. Надо бы искать его". А челюсть-то и лежит на окошке. И милиционер эту челюсть-то и взял в карман. К доктору. А она - человеческая". Ей семь годов дали... Так она у меня и ночевала. Я ее напоила, накормила. Только уж больно страшно... Ко мне, бывало, все идут. Вот приходит нищая бабушка Акулина. У ней и сын есть, только они ей не помогали, она по миру ходила. У нее была двоюродная сестра в Савинском, она все к ней приставала... Приходит она ко мне, говорит "У меня есть две меры мелкой картошки... Я, наверное, умру". (А уж вся опухшая.) - "Ну, что ты, - говорю, - бабушка Акулина, поправишься, может". - "Нет, милая. Вот я умру, так ты эту картошку себе и возьми. А у меня боле ничего нет. У меня простыня есть да полотенце. Это я умру, так ты мне саван сделай. Ты все сделаешь, я тебе доверяю". И правда, она тут через два дня умерла- А картошку я и не взяла, у меня тогда была своя картошка А то еще бабушка Прасковья Ковалева. Это - богачиха страшная. Сначала у нее муж умер. Она ко мне идет "Шура, дедушка у меня умер". - "Ну, уж, - говорю, - ему годов-то много". Она говорит "Восемьдесят шесть". - "Ну, так чего же. Два века ведь не будет жить". - "Приди, - говорит, - почитай по нем". - "Почитаю, приду". Пошла, почитала. Надо хоронить. Я говорю: "А саван?" А она: "Матушка, не из чего шить". А я: "Не дам тебе с лавки взять покойника. Дедушке Ивану жалеешь на саван? Да как тебе не стыдно?!" - "Так где же мне взять?" - "Не ври! - говорю. - Я знаю. Пожалуйста, не ври". И приносит - суровая тканьина: "Вот только и есть". - "Ну, эта, - говорю, - годится". Я взяла да всю ее и искроила на три полотнища, чтобы ей не осталось. "Вот теперь, - говорю, - ладно". Похоронили. Такое богатство, всего - хлеба.. Хоть бы собрала бедных покормить. Нет... Испекла калачиков эдаких - всем по

калачику подала. И все. И спрашивает меня: "А батюшке за отпевание чего?" А ведь и у батюшки ничего нет - голодовка Я говорю: "Батюшке, отцу Георгию, снеси муки". - "Ой..." Я говорю: "Да! У тебя, - говорю, - много сгниет". - "Ну, так ладно, ладно, снесу". Пошла и ко мне по дороге зашла: "Вот несусу. Ты не думай, что не понесла". Ну, килограмм семь-восемь. Это - отцу Георгию. Обратно идет "Снесла. Ой, как благодарил! А на сорок дней испеку ему каравай - настоящий, большой"... Уже не знаю, испекла или нет. А потом она сама заболела - люто болела, месяца два. Тяжело болела. Приходит ко мне ее сноха: "Пойди, почитай по бабушке Парасковье". - "Так а чего? Она не умерла еще?" - "Нет. Ей надо читать за болящую". Я пришла к ней, за болящую прочитала. А она: "Читай!" - эдак вот. А я: "Чего читать-то? Я ведь за болящую прочитала". - "Читай, я сказала!" Я говорю: "Не кричи". Тут я на исход души ей прочитала. "Пойду, - говорю, - домой". - "Читай! Не отходи. Ты читаешь, так мне лучше. Ой тяжело, ой тяжело". Я говорю: "Конечно, тяжело. Поди как всего жалко?" - "Ой, не говори. Эдакое-то место всего-то. Семь пар новых валенок. Два тулупа. Одежда шубные новые, это меховые". И все эдак: "Читай! Читай! Читай!" Но вот померла. Тут я по ней опять читала. Сноха говорит мне: "Саван-то не знаю из какой тканины?" И выносит целый ворох - да тонкие, хорошие все. А я говорю: "Не из какой из этой не сошьем.. Вот из этой". Да и взяла самую грубую да худую. "Почему?" - "Нипочему, - говорю, - она дедушке-то пожалела, вон из какой мы сшили. А ей - что?" Ну, уж по ней-то сноха сделала поминки. Отец Асинкрит приезжал, мы с ним отпевали. Ночевали тут у них. Про нас все настряпали постное. Сноха-то хорошо все сделала... Ладно, хорошо... Мне-то еще и не так плохо было, как людям Мне-то еще многие и помогали. Вот и матушка Еликонида. Она на квартире в Яковцеве жила. От Михеева три километра. Сначала-то после монастыря она в Грамотине жила, просворы делала. Она и меня там научила. Ведь всех нас тогда выгнали. А потом, как в Грамотине церковь закрыли, она уехала на родину, приехала за ней племянка. Увезла ее. Далеко туда, станция Вожега. Там она пожила год и приехала опять обратно. И у меня жила зиму - еще в Кузьминском. А в Яковцеве она в колхозе работала, она работать любит. Она все сеяла. А было ей уж годов восемьдесят с лишком. И все работала, все делала до последнего. И все сеяла. Ее все звали - и мужики, и бабы - матушка Еликонида. "Матушка, у нас посеешь?" - "Посею, посею. Что эдак делать-то?" Раньше ведь руками сеяли. Она получала хорошо. И каждую неделю бежит ко мне в Михеево. "Шурка, я об тебе с ума схожу!" Я говорю: "А чего?" - "Как уж ты с хлебом-то? Ведь у тебя ребятишки". - "Да гляди-ка, у меня много".

- "Ой, Шурка, ты все довольна, все много... Какой же это хлеб? Дура, у меня мешок муки стоит". И полкаравая мне подает: "Ты себя-то не обижай". Картошки мне принесет. Еще луку. "Вот это, - скажет, - вместо масла. Ты луку-то покроши". А болела она у нас недолго. С месяц только болела- А хозяйка все не сказывала, чтобы я-то не пришла к ним - чтобы все имение ей осталось. А она лежит и просит "Да скажите Шурке-то, что я хвораю-то. Мне надо Шурку-то"... А мне все не говорят. А потом Аннушка к ней пришла, Александра Ивановича дочка. А она: "Как мне надо Шурку. Ведь она не знает, что я хвораю". - "Я, - говорит, - схожу сегодня". Она за мной и прибежала. А я: "Мне сегодня и снести-то ей нечего. погоди, хоть я клюквы..." У меня клюква была. Да брусники чашку. Пошла. "Матушка, да ведь мне и принести тебе нечего". - "Мне ничего уж не надо. Ты мне только компресс сделай". - "Какой тебе компресс?" - "Вот на это место". А я поцеловала ее туда. "Вот как хорошо", - говорит. А я ведь ничего не сделала, только поцеловала. "Вот как хорошо-то мне стало. Я знала, что придешь да компресс мне сделаешь, у меня все хорошо будет. Я уж Васе все наказала. Меня хоронить-то в Евдокию". Это она за два дня до смерти. "Да что ты, - говорю, - матушка?" - "Нет уж, - говорит, - Вася придет". (Это сын хозяйки.) А тут за мной приходит Аннушки мать: "Пойдем к нам, почитай. У нас паренек-то больно хворает". Я пошла, почитала. Прихожу к ней опять. Смотрит на меня. "Милая, - говорит, - все, все... У меня хорошо стало все. Прости... все..." И - готова. Я ее тут обмыла, все сделала и домой пошла. Отвезли мы ее ко Спасу, там отпели ее по монашескому чину, похоронили. Она рясофорная была. Я еще ей в монастыре все правило читала - она неученая была. Ее, бывало, на мельницу посылают, а она: "С Шуркой дак поеду". А я ей там все читала правило. Тридцать лет она управляла скитом, работала, как мужик. Вот пойдем косить, она глазами поглядит, сколько сегодня надо. А там ведь все были подсеки. "Мои, - крикнет, - ко мне! - Нас семь человек с ней косили. - А вы шушера, мякина, говна половина - на эту сторону!" Это - кто плохо косит. Докосим до края - а земляники-то много, на подсеке. "Шурка! Иди сюда! Вот землянику-то ешь!" А я ведь тоже косить-то люта была. Коса у меня была именная, литовка- У нас только у двоих были такие косы. Любила она меня, царствие ей Небесное! Много мне помогала. Мне вообще помогали. Был у нас Фатичев, он из города валенки возил Это которые на шерсть выменивают. Жил-то он в Колодине. Вот едет из Пошехонья. А у меня дом-то на дороге. Подъезжает. "Ну, чего сидишь у окошка, как чувырла?" А я: "Своя изба, где хочу - тут и сяду". - "Ладно, давай чаю-то грей". Согрею чаю. Заходит. "Ну что? Поди тебе

валенки надо?" - "Так ведь надо, да у меня ни денег, ни шерсти. Чего мне тут спрашивать?" - "Я у тебя ни денег не прошу, ни шерсти. Я тебя спрашиваю: валенки нужны или нет?" - "Так ведь надо, конечно". - "Так и говори: надо". Ладно. Чаю напьется. "Ну, сегодня ко мне не ходи и завтра не ходи, а послезавтра приходи. У меня жену попаришь да полы вымоешь". Вот и все, больше ничего не скажет. На третий день надо идти в Колодино. Приду. А мне валенки выбраны и ребятишкам выбраны. Дочка уж отобрала. Ну, вот полы вымою, выпарю его жену - она у него больная была. Все сделаю. "Ну, погоди,- скажет, - не торопись еще. В огород сходи, погляди, чего там как". В огород схожу, все там сделаю. "Вот тебе и валенки. А ведь тебе поди и варежки нужны - выбирай шерсти". А у него шерсть-то всякая... "Что мало берешь?" - "Да я ведь знаю, сколько на варежки надо". - "А я сказал: мало!" Наберет шерсти с килограмм "И мне, - скажет, - варежки свяжешь. Чтоб вот эти места широкие, чтобы надевались на рукав". Ладно. Свяжу. А он и за это опять заплатит... Или вот керосин. А тогда не было керосину-то. Как вот едут деревней, нигде огоньков нет. А у Шуры все маленький огонек. А я все сижу - то вяжу, то еще чего - надо все делать-то. А потом у меня стал и керосин. Как стал ездить Овчинников за товаром-то. Это - из леспромхоза. Снял он квартиру рабочим - тут кормить. Тридцать километров от Носова да тридцать еще. А тут остановка... У Ивана Ивановича сняли напротив меня. А сам-то Овчинников все ко мне. Денег-то везет мешок. Как приходит: "Ну, отворяй ворота". Это у шкафа, у меня. Ставит туда мешок с деньгами. "И чаем меня пой". А я: "А дедушка Иван не осердится?" - "Я сказал: меня чаем пой!" А огня у меня нет. Я пузырек зажгу эдакой - масла принесу от Спаса. Он говорит. "Это с таким-то светом?" Говорю: "Да нету у меня".

- "Ах, вот что... Последний день сегодня так живешь. Завтра у тебя будет свет. Василий Петрович будет тебе каждую неделю завозить литр керосину". А я говорю: "Да у меня и лампы-то нет"... Василий Петрович приехал и лампу привез, стекло запасное привез. И керосину. Ни у кого нет, а я как богачка живу. Нас Тятя так учил: "Нищим никому не отказывайте, всех пускайте. Кусок-то многие подадут, а вот ночевать не пустят"... И вот в жизни моей я ни одному нищему не отказала. Какие только у меня не были - и вшивые, и больные, по семнадцать человек у меня ночевало... И на лесозаготовку гонят - всё нашей деревней. Гонят их в такую даль, и никто наши деревенские их не пускают. "Вон, - говорят, - Шура там живет, она всех пускает"... Которые послабее, на печку полезайте, а этим я маленькую печку затоплю... Или лен, трясву

везут нашей деревней сдавать. Заготовки. На коровах везут - война. И эти ночуют. А еще у меня рязанцы ночевали. Они на лесозаготовки приехали, семьями. И поселили их у нас в монастыре, в Сохоти. Весь почти монастырь рязанцы заняли. Они зимой приехали - сена нет, а коров своих привезли. Они все и ездили покупать сено-то. На санках, сами их везут - лошадей не было. По шесть пудов накладывают и везут. Бывало, санок по семь, по восемь стоит у меня у дома-то. Ведь в Михееве никто ночевать не пустит. Все ко мне... А я: "Ночевайте. Хлеба у меня нет. А похлебкой накормлю вас". Сварю щей - у меня опенок много засушено, да и грибов. Кислица есть. Котел у меня полуведерный. Печка маленькая посреди полу стоит. Она чугунная, расколота. Так я кирпичами обставила. Сварится похлебка. "Ой, милая, да как хорошо..." Ночуют и поедут. А потом они какие хорошие. На праздники они ко Спасу на Водогу все идут ведь молиться - больше уж церквей не осталось. Как обратно идут, заходят ко мне. Чего-нибудь да несут. То конфет, то хлеба несут буханку. А я к ним тоже ездила: половики продавать да постели - я за зиму-то натку. Приду к ним в Сохоть. "Сиди, - скажут, - устала с дороги". Сами унесут. Утром несут денежки. Как услышат "Тетя Шура приехала из Михеева". Бегут - человек пять прибегут. Они и очень верующие. Они мне говорили, что на месте-то, где собор наш стоял, - пение слышали. И много раз слышали... Все и мужики у них верующие. А у меня еще сосед - Григорий Иванович Калинин. Этот говорит "Ты пошто всех пускаешь? Ведь захвораешь, заразишься от них. Мы тебя лечить не будем. Так в дому тебя вместе с заразой и сожжем". А я: "Это уж как Богу будет угодно". А видишь ты, я не заболела-то, а он. Да и люто, так что помер. А без меня и похоронить его не могли. Не идут мужики гроб делать - он надосажал всем Он был тайный агент. Про него говорили: "Там собака есть черная. Потихоньку лает, а люто кусает". А как помер, так родня не знает, что и делать, - нет гроба. Я говорю: "Ну, уж не без гроба хоронить. Погодите, я к Гусеву схожу в Зубариху". Пришла. Говорю: "Василий Матвееч, пожалуйста, сделайте гроб Григорию Ивановичу". - "Ну, к такой матери! Стоит он гроба!" А я говорю: "Жена заплатит. У ней деньги есть". - "Пятьдесят рублей заплатит, так сделаю". - "Да заплатит, только делай, пожалуйста. УЖ я тебя прошу!" Ну ладно, он сделал гроб. Теперь могилу никто из мужиков копать не идет - сестра копала. А он ее бил люто - зубы ей вышиб. Вот она закопала могилу, да притоптывает "Не придешь больше ко мне! Зубы не вышибешь!" Затаптывает да приговаривает. Я ей: "Мария, кончи разговаривать здесь. Ты чего делаешь-то?" - "Я дело говорю. Больше не придет - зубы не выбьет"... Я ведь пятнадцати годов из дома в монастырь ушла, а

оттуда с родины ко мне нищие идут и всем я - "наша Шура": "Где тут наша Шура живет?" От Богослова нищая идет - "наша", из Коробова идут - все "наша". А где я их видела, когда? Одна приходит с парнишком, уж ему седьмой год. А сама-то большая, красивая. И вся в лохмотьях. Пришла ко мне: "Где наша-то Шура?" - "Какая - "наша""?" - "А вот из Янгосаря". Говорю: "Это я". - "Ой, так я ночевать к тебе пришла" - "Ночуй", - говорю. "Я с пареньком". - "Ночуй и с пареньком". Стали чай пить. Я подала свеклы к чаю - сладости-то не было. Она: "А конфет?" - "У меня, - говорю, - никогда конфет нету. Вот, - говорю, - щей похлебай. А хлеба нету". - "Ладно, - говорит, - завтра я обойду деревню-то. Насобираю, так, может, наемся". Легли спать. Ночью, слышу, он титьку сосет. Я ей: "Ты что - обалдела?!" - "Нет, - говорит, - я его кормлю". Шляется, вот и кормит. Утром пошла собирать. А то еще от Богослова одна пришла. Тоже к "нашей Шуре" ночевать, утром говорит "Тетя Шура, не надо ли кому попрясть?" Ей лет тридцать было. Моя соседка ее наняла да кормила, а она ей и пасмы за целый день не напярала. Какая это пряжа?! А она пришла, я аккуратно захворала. "Ой, - говорю, - Наташка, у тебя поди вши?" - "Да, и много, тетя Шура". - "Да я вот захворала, я бы у тебя их всех выгнала". А утром я и встать не могу, печку-то топить. Заболела люто. Я говорю: "Свари щей. Вот капуста, вот чугунок", - все указала ей. А она только затопила печку - дым-то валит - тут и поставила. Варить-то. В дыму-то. И грибы-то не помыла, эдаких-то щей наварила... Горькие. Ребятишки хлебать не стали. Я их потом все пугала; "Вот заболею, а нищая придет, вам щей наварит". А у нас в Михееве престольный был праздник Знаменье, двадцать шестого ноября по-старому. И пришла ко мне сестра Прасковья с зятем с нашим, с Лидушкиным мужем. "Ну, вот, - говорю, - гости пришли. А у меня для праздника ничего и нет. Пиво, правда, есть". Пиво я хорошее варила, у нас Тятя настоящий пивовар был. "Хлеб, - говорю, - мягкий. Грибы соленые". - "Ой, - говорят, - так и больно хорошо". Я им хлеба нарезала, котелок им пива поставила

- пейте. Уж и чаем не буду поить - нет у меня никакой сладости. Ничего нету. "Ладно, - говорю, - подождите. Может, и придут сегодня ко мне. Жду, да не знаю..." А у меня шесть одеял выстегано. Лежат. И она мне тоже принесла одеяло стегать - Прасковья. "Ладно, - говорю им, - ложитесь спать". А я стала ей одеяло стегать - пока они гостят, надо выстегать. Только они у меня засыпать стали, у калитки стучаются. Еще у меня и муки нет. "Тетя Шура, бери муку! - соседка. - Из-за твоей муки и мне дедушка Иван смолот, кабы не тебе, он бы мне и молот не стал". - "Ну, - говорю, - теперь пирогов напеку". Сходила к бабушке

Татьяне через дорогу, принесла молока кринку. Все. Растворила пирогов. Опять стегаю. Стукаются опять, в двенадцатом часу. Володя едет, сосед тоже. Везет товар в Носово. Варя, жена его, бежит ко мне, стучается: "Тетя Шура, на конфет, Володя привез, велел тебе подать. Полкило конфет". - "Ну, - говорю, - праздник есть. И чай есть, и пироги есть". А зять Иван лежит, все поглядывает. Утром Алексеевна идет - она хлеба пекет на магазин - каравай хлеба несет. "У тебя, - говорит, - гости пришли, заходили в магазин". - "Да, - говорю, - пришли". - "Вот тебе, - говорит, - пол-литра самогонки. Вот тебе два стакана". Думает, у меня и посуды нет. "Да, - я говорю, - у меня посуда-то есть". - "Ну, принесла, так не принесу обратно. Гостей угости"... Я говорю: "Ну, Иван, праздник на все сто!" - "Чего, крестная?" - соскочил- "Самогонки, - говорю, - пол-литра принесли!" - "Ну, крестная, я гляжу - тебе хорошо жить!" - "Так заработай, и тебе принесут. Ведь мне не так несут. Вставай, - говорю, - Параня, картошку чисть - рыба свежая есть. (Володя привез мне и рыбы.) Пожарим картошки с рыбой, да рыбников напеку"... Идет Анна Александровна, соседка: "Шура, выручи. Дай мне хоть двух половиков. Приехал брат из Рыбинска, а ни постельки, ни одеяльца". А я: "Так вот и постель возьми. Из Рыбинска гость, что уж половики-то. На вот и одеяло дам"... И эта несет поллитра самогонки. Я гляжу - ну и богато, ну и хорошо. Сели чай пить, а Иван: "Ну, крестная, тебе и живется!" - "А ты спроси, - говорю, - крестная ночи спит ли?" Мне сын Коля, покойник, все говорил, бывало: "Мама, ведь это удивительно, как ты сама с голоду не умерла, да и нас с Женькой не уморила. Ведь мы и полуоколевадины не едали..."

Январь, 1986 г. Петрово

ГОЛОВАН ТОЛСТОГОЛОВЫЙ

Тятя наш после отца остался годовой. А сиротой круглой остался шестнадцати лет. На одном году у него было три покойника - брат, сестра и мать. Два года он жил один. Опекуны у него были - дедушка Илья, сосед тут, он по свойству, только дальняя родня. И еще отец протоиерей ходил к нему, навещал

его. Две коровы у него были, лошадь. Работать ему помогали, опекун заботился обо всем. Очень строго его держал. Ведь раньше старших-то слушались и Бога боялись. У меня тятя Бога боялся. Он до восемнадцати лет и на беседы не хаживал. У нас в деревнях все беседы были - девки, парни сойдутся... Только все с работой. Девки кружева плетут, а ребята из кудели стельки стегали валенки подшивать. Вот и разговаривают. Раньше ведь не шлялись, как теперь. А Тятя на беседы не ходит, если пойдет, дедушка Илья переметником напорет его. Он его боялся. В восемь часов обязательно придет дедушка проверить его... Дожили они до осени. Дедушка говорит "Пойдем в лес лыка драть". - "Какие лыка?" - "Какие укажу". Березы ему указывал - на этой будем драть. Большой пук надрали. Пришли домой. Дедушка говорит "Очини, обрежь ровно". Тятя обрезал. "Заплетай, - говорит, - лапоть". - "А как заплетать?" - "Помучишься, так научишься. Возьми четыре лыка да поворачивай". Сначала у него вроде как кошелек получился. Потом сплел кое-как лапоть. Второй лучше получился. И сплел он четырнадцать штук, да все на одну ногу. А потом научился плести и на другую. А лапти раньше - двенадцать - пятнадцать копеек пара. Дедушка Илья и продал ему их. "Ну, - дедушка говорит, - научился лапти плести, теперь учишь совки и чаши деревянные резать". И это Тятя научился. Он у нас все умел. Еще чаши плел из еловых корешков. И из бересты корзинки. А хлеб ему бабушка Марья свой носила - дедушки Ильи жена. И вот говорит она ему как-то: "Чего мы, Колька, тебе все хлеб носим. Давай тут, дома испекем". Завела ему квашенку, поставила на печь, завязала, да и ушла. До утра. А он сел лапоть плести. А квашенка-то заходила, да и на печке: пык, пык, пык. А он думает кто-то на печку у меня забрался. "Не пугай, - громко говорит, - не боюсь". А она все пыкает и пыкает, да все громче. Он скорее одевается, обувается да бежать. Да в дверях себе чего-то прихлопнул. "Отпусти, - кричит, - не буду! Отпусти!" Чуть в портки не наклал... Прибежал к дедушке Илье: "Кто-то забрался на печь да пугает меня!" А дедушка, у него поговорка такая была - ядри-голова: "Так я ему сейчас дам, ядри-голова. А если ты наврал, тебе будет переметника". - "Да пойдем, дедушка Илья, он меня там все пугает и пугает". Пришли. И бабушка Марья пришла. "Слышишь, все: пык, пык, пык". Бабушка Марья говорит "Дурак ты, ведь это квашенка ходит". Был ему семнадцатый год. Парень живет один, двор большой, большущий. Неповадно парню одному. Исполнилось ему восемнадцать. Дедушка Илья говорит "Колька, пойдем со мной в магазин". - "А что делать?" - говорит. "Пойдем, надо тебе обнову покупать". Пришли. Купил он ему на полупальто, на штаны и на рубаху. Покупает материалу хорошего

и подкладки: "Пойдем теперь к портному". Портной меряет его, шьет пальто, штаны. А рубашку шить пошли к Агафье Ломоносой. И сказал дедушка: "Чтоб в воскресенье все было готово". А они уж с отцом протоиереем уговорились, что его женить надо. Сшили, одели во все и говорят "Надо тебя, Колька, женить. Хватит. Живи самостоятельно, сам по себе". А они уж ему и невесту нашли. Грибанова свояченица. Хорошая девка. Они уж там и с Грибановым договорились. "Пойдем, - говорит дедушка Илья, - я тебе на беседе ее укажу". Указал он ему невесту, вот все и знакомство. На второй день пошли с невестой Богу молиться, а через четыре дня и венчаться поехали. Стали жить они очень хорошо. Была она на год его старше, прожили четыре года. Двое деток, две девочки. А в третьих родах она померла. И ребенок, девочка, померла, только что окрестить успели. И остался он с двумя - обе девочки - Мария и Анна. Овдовел он Постом Великим на первой неделе. И тут отец протоиерей ему сосватал Маму. Она сирота была. Девять годов ей было, как отец помер. Их у матери было три девочки да брат. Жили они в деревне Щетниково. И вот мать отдала ее к господам в одиннадцать лет. фамилия барину была Медведев. От нас усадьба была девять километров. И жила она у них семь годов. Сначала нянчилась, потом кухаркой, а потом уж горничной. Вот отец протоиерей ее Тятю и сосватал. Ну, господа замуж ее выдали, одели как положено. Все приданое, платье шелковое хорошее, и нижняя юбка шелковая. Платье шерстяное. Шуба лисья. Бурнус - это драповое летнее пальто, и оно все обделано кистями да бисером. Косынку вязаную и шаль. Ну, все, буквально все. И к ним еще и в гости они с Тятей после свадьбы ездили. А свадьба у них была после Пасхи - в Егорьев день. Я у них была самая старшая. А всего родилось тринадцать человек. В живых осталось только пятеро - четыре сестры да брат. А те все маленькие умирали - год, полтора. Хорошо у нас Тятя с Мамой жили. Только уж без дела не сидели, не шлялись. Работа круглый год. Я сама пошла десяти лет работать - боронить на молодой лошади, жать, косить. А Галина, сестра, та девяти лет пошла. С весны первое дело у нас - пахать. Тятя у нас пахарь был. У нас всегда из всего поля полоса выделялась. Отец протоиерей, бывало, придет "Ну, Колюшка, пахарь мой, когда будешь пахать?" - "А вот дня три-четыре, - скажет Тятя, - и пахать поедем". А у нас ручей разливался аккурат за двенадцать дней до пашни. Так уж повелось. А у нас полосы были большие, хорошие. В каждом поле. Три поля: озимое, яровое, паренина. Паренина - это пар будет. Паренину три раза пахали. Первый раз вспашут, заборонят хорошо. Потом навоз возят и опять пашут - это заваливают. Навоз завалят и уж не боронят. Только вспашут, оно и стоит. До Ильина

дня. "Ну, - бывало Тятя скажет, - давайте помолимся, надо пахать начинать". Встанем все, помолимся. Тятя поехал пахать. Тогда ведь все с молитвой. Тогда ведь все с молитвой. А самое первое у нас начинают сеять овес. Пахал до обеда, с обеда поедem сеять. Опять все - благословясь. На крестопоклонной неделе у нас пекли кресты, а в Благовещение дают в каждый дом из церкви хлеба благословенного - вот хлебец этот и крест растолкут и прибавят к семенам. Тогда все с молитвой, все благословясь. До Егорьева дня скотину пасти не пускали. А в Егорьев день для каждой деревни водосвятный молебен служат и воду с собой уносят - скотину кропить. И в Казанскую летом тоже заказывали водосвятный молебен с крестным ходом. В этот день никто скотину не отпускал, а после молебна гонят ее мимо - а батюшка всех кропит водою. И лошадей всех тут ведут. Молебны были и об дожде, и об ведре, чтобы дождя не было. Как нету ведра, скажут "Надо молебен". Соберутся тут три прихода. В церковь придут - народу ужас сколько. Все молятся. Диакон у нас хорошо больно молился - каждое словечко понимаешь, и все со слезами. А то как-то в самый Иванов день, в Рождество Предтечи пришли из церкви. А у нас в Иванов день гуляние в Сокольникове. И вот все пойдут с двух часов там на гуляние. Только сели пить чай, маленькое облачко идет, небольшое. Тятя говорит "Ну и ладно. Гуляние нарушится, не пойдут мокнуть-то". Потом уже не облачко - туча, стала краснеть, краснеть. И вся как огненная сделалась. Все перепугались. Какое тут уж гуляние. Все скорей обратно в церковь, молиться. И пошла туча краем на лес, там и пропала.. Тогда люди были верующие. Вот тетка моя Татьяна девица была Так в девках и умерла. Она и не гуливала, на беседах не бывала Их четыре подруги у нас было - они вчетвером дружились. Вот придут из церкви, уйдут на поляну, там сидят псалмы поют, каноны. А службу как знали? Вот в воскресенье в храм идти, а они знают, какое Евангелие читаться будет... Вообще тогда люди не эдакие были. У нас из Путилова - нашего же прихода - был монах отец Серафим. Иеромонах в Обнорском монастыре. И было ему там искушение - хочется на мать поглядеть. Никакого нет терпения. А она так у нас в Путилове и жила. Надо ему идти. А отец-то Никон, игумен, тоже вроде прозорливого был, и говорит ему: "Ну, уж раз эдакое нетерпение - пойди! С Богом!" Благословил его. Он и пошел. Всю дорогу пешком ведь шел. Долго шел - далеко. Пришел в Путилове. Кругом дома обошел. Поглядел в окно - мать сидит. Сам себе сказал: "Ну, душа окаянная, насмотрелась? Теперь иди на место". Так ей и не показался, обратно в монастырь пошел. А после матери говорят "Серафим у тебя был?" - "Да где, - говорит, - я не видела". -

"Приходил, - говорят, - многие видели, как шел". Как сейчас его вижу. Голосок тоненький: "Паки и паки миром Господу помолимся..." Да... А еще весной у нас корье драли с ивушек. И я сама по десять пудов надирала. Сорок копеек пуд было корье-то. Бывало, надерешь пучок и идешь вдоль деревни, чтобы в деревне-то видели, что я корье несу. Бывало, волокнешься: "Ой, Санька, где ты такого корья-то надрала? Да больно у тебя долгое корье-то". Это они нарочно. Бабы-то. Высохнет оно, Тятя свяжет, и поедем мы до Иванова дня в Вологду. И на деньги эти платье мне купим и башмаки. Аннушке на кофту и Маше на кофту. Это на корье-то. А нас маленьких тогда оставляли караулить лошадей. Иванко сидит, и я на своей. А они там покупают ходят. И вот Тятя круг черкасской колбасы принес. А я и не видала, что он принес. А он и положил ее в корзину-то. А внизу крендели еще лежат. А я как заглянула в корзину, так и обомлела - я ведь ее никогда и не видела. "Ой, - говорю, - пыга-носопыга, деревенская мотыга, что наделал-то... чего-то мертвенное от лошади принес". Это я на соседа, на Иванку подумала. "Ой, - думаю, - Тятя придет, заругается, скажет, прозевала". Я скорее палочкой ее подцепила и - шарах в крапиву. "Не скажу, - думаю, - ничего. И крендели есть не буду - опоганены". Тятя приходит, все уложил: "Ну, поедемте". Поехали. Езды от Вологды до нас сорок пять километров, верст. Ездили в один день - лошади хорошие были. Обрато на порожне. Приехали, стали все в дом носить. Тятя говорит "Мать, я купил черкасской колбасы". - "Да где?" - "Да в корзине". - "Да нету, батя". - "Да куды же девалась?" А я молчу, я ведь и не знаю, что за колбаса. Искали - нету. Сели за стол чай пить. Галинка кричит "Разделить крендели, а то все расхватают". - "Больше твоего никто не схватит, сиди!" - "А мне, - говорю, - так и не надо крендели". - "А почему не надо?" - "Не надо, да и все. Не буду я есть крендели". Тятя говорит "Что это с тобой?" Я и заревела: "Пыга-носопыга, деревенская мотыга крендели опоганил". - "Как же он опоганил? Чем?" - "Да он чего-то мертвенное от лошади положил. На крендели. Я не буду есть". - "Какое мертвенное? Да где это?"

- "Да я в крапиву там, в Вологде, бросила". Тятя говорит "Так вот где наша-то колбаса". И жалко-то, и смеются-то. Вот тебе и колбаса-то... Отпахали, посеялись, и начинается у нас сенокос. Тут утром рано будили, в два часа. Тятя встает, косы бьет "Вставайте косить!" Встанем, неохота... Я к лавке встану на коленках, пока косы бьет, я еще дремлю маленько. Идем косить. Мама дома остается одна, обряжается, стряпает. Обрядится, и она идет, а я уже домой к ребятишкам пойду... В восемь часов идут завтракать. Поехали опять косить, сено сушить. У нас хорошо

сено сушили - разобьют, повернут раз. Потом в копны, с обеда возить в овин. В овине на другой день растрясают. Опять ворочают. Овин у нас большой был. А тут уж и ягоды пойдут - земляника, голубица. Ягоды у нас рядом - километр. Тятя скажет "Голован, бегите-ка наберите голубицы". Нас вдвоем и отпустят с Галиной на болото. Наберем больше ведра - пироги печь с голубицей. Петров пост. У нас ягод-то много было. Черника, малина, морошка, брусника. Малину-то у нас сушили, а бруснику парили. Наложат целый ушат и запарят его, крышкой накроют. А самую последнюю бруснику - мы уже перед Покровом ходили - Мама горячим суслом заливала. Эту бруснику с мучниками есть, а ту - с блинами. Я по эти ягоды не больно ходила. Я ходила по полянику. Я поляники немного наберу - фунта четыре. И иду к отцу протоиерею. Несу. Матушка скажет "Санюшка пришла. Батюшка, отец протоиерей, погляди-ка, чего она принесла!" И он безо всяких подает мне полтинник. Вот я больше всех сестер и заработала. Поляника коричневая, вот такая крупная. А запах! От одной ягоды по всему дому. И никто не знал места, где она растет. Это Тятя меня свел, показал место. Я все одна ходила, никому не показывала. А сестры все узнать хотели. Скажут "Санька, утром пойдешь по ягоды?" А я: "Да не знаю, у меня что-то голова болит". А утром они еще спят, еще темно, а я убегу в лес... Кончится сенокос, уже и рожь поспекает. Надо жать. Жали серпами. Свяжем, поставим суслонами. В суслоне - двадцать два снопа. Ой, жать я любила. В десять лет начала. "Много ли, Николай Ипполитыч, нажали?" - спрашивает бабушка Синклития. "Много, слава Тебе Господи, - Тятя скажет, - пятнадцать суслонов. Да Санька суслон". А мой суслон особенный. У меня снопы-то вон какие длинные... Да руку обрезала. Десять-то лет... Пойду по деревне жать-то, чтобы все видели, что я жать пошла. В одной рубашке, жали ведь без сарафанов. Воротушка ситцевая, розовая, вот по это место серпинка пришита. Серп в руке - чтобы все видели. Бабы-то: "Бог помощь! Ой, ты жать пошла?" - "Да, жать". - "Ой, жать пошла Санька". А потом-то я по десять суслонов жала. А на Ильин день в нашей деревне праздник. Называется богомолье. У нас в деревне накануне Ильина дня мужики на сход приходят, собирают денежки. Соберут, пойдут за вечерню. Заказывают там все, чтобы завтра крестный ход, молебен. И вот утром, после обедни, - крестный ход по всем нашим полям. Потом водосвятный молебен. Вот где нынче будет озимое поле, на этом поле водосвятие приготовят. А потом, было, по очереди угощали священство. А после Ильина дня пора озимое пахать да сеять. Это - на паренине. Тут третий раз ее и пашут и сеют. Между первым Спасом и Преображением. Тут самое время. Горсть возьмут, три

шага шагают, потом опять горсть. А после Преображенья - горсть возьмут и только два шага шагают. А уж после Успенья кто сеет, то, говорят, нарастут только Флоры да Лавры... Тут уж как шаг, так горсть, как шаг, так горсть. Не каждое зерно всходит. Как озимое посеём, а я бороню, я девяти лет боронить поехала на молодой лошади. Тятя скажет. "Голован у нас косить не будет больше. Она будет в лес ходить". Я уж в лес хожу. Утром они еще не завтракали, уж я принесу грибов на жаренину. Маслянок. У нас маслянок много было. Я знала места. Еще мне девять годов, уж я все места знала. Грибовые и ягодные. Меня Тятя везде выводил. Я уж ношу грибы. Рыжики. На Успенье уж у нас насолено два ведра одних рыжиков. А осенью у нас по грибы на лошади ездили. Километров пять едем на лошади. Поставят на телегу два плетня, кадку. Там наберем все целое. Это солить, много солили. А сушить - за этим не ездили, эти дома наносим. У нас недалеко грибы, не ленись только... Много и сушили. Грибы все едим, ведь вон сколько постных дней в году. В Иванов день - на Рождество Предтечи - еще у нас грибы соленые старые. Раньше ведь не воровали, картошка-то у всей деревни хранилась в поле. У кого там яма, у кого - две. Песчаная горушка называлась, песок один. Яма досками обставлена, чтобы не осыпалась. А другая у нас яма чистая - хорошо обделанная. Как последнюю картошку оттуда выгребут, туда кадку и свезут соленых грибов. В эту яму. Вот и ходим. Как суббота, так и пойдем с ведром туда. Это весной и летом. А зимой дома стоят грибы... По грибы идем, Тятя скажет "Старайтесь, ведь это даровое мясо - лесное. И век с ним будете жить. Может ведь, мяса-то не будет". А Галина: "Вон все мясо едят, а у нас не будет..." А дожились, так не только что мяса, а ничего не стало. Голодовка какая была сколько раз... И вот пойдем по первые-то грибы. Тятя скажет "Не жалеите! Как кто придет, давайте первых-то грибов, потчуйте. Будете больше брать, так жалеть не будете". И еще Тятя скажет "Запасайте. Чтобы зимой не бегать по деревне с чашками - положи грибов", - терпеть он не мог этих чашечников. Озимое посеём, а в овин все возят яровое - овес, ячмень, да и рожь еще - у нас по триста суслонов. Ночью сушат, а днем молотят. Выстелим снопы во все гумно, так и проходим все в четыре молотила. Потом перевернем снопы, опять молотим. Надо чтобы ударять врозь - такая гармония получалась... Послушаешь по деревне - там молотят, здесь - очень красиво, прямо как музыка. Я с тринадцати годов молотила. А вечером-то поглядишь, все овины топятся. У кого печка там, у кого яма. А к Тяте под овин вечером сидеть мужиков пять подойдут. Ближние соседи. Сидят, разговаривают. Тут картошку свежую варят - нет вкусней картошки, как из-под овина.

А свежие грибы мало еще у кого есть... Подойдет, бывало, тетка Аполлинария: "Николай Ипполитыч, у вас поди грибы есть?" - "Да вон Санька чего-то таскает. Не знаю, спроси там у матери. Я ведь в чашках не распоряжаюсь". Я бегу к Маме: "Тетка Аполлинария спрашивает у Тяти, нет ли грибов?" - "Ладно, - Мама скажет, - сами наносят..." А уж чашку ей накладывает. Всем хватало. И сами ели. Ведь трапеза была ангельская, истинно ангельская. Бывало, несем на стол скатерку, ложки все в ней. Помолились. Тятя скажет: "Ну, садитесь". И локтя на стол никто не поставит. Тятя не даст - толкнет "Ты что? Где сидишь? Стол - что Престол!" Утром встаем - "А ну-ка, вымой харю-то! Перекрестись! Богу помолись, а уж потом есть проси". Он еще пешком под стол ходит, а уж Богу молится. И все благословенное, все с молитвой. Ели ведь все свое. Постный день. Мама сварит щей с грибами. Чугун изрядный, больше полведра. Картошки нажарит на льняном масле - свое было. Блинов напекет. Утром к завтраку. Пекет в две сковороды. Сделает икру грибковую из сухих, а то и из соленых грибов. На обед капусты с квасом накрошит, картошки. Там репы пареной крошат. Это холодное. Потом щи с грибами. А еще - горох, то какой-нибудь суп. Гороховый кисель. Подадут на тарелках. А в скоромный день так мясо. Тоже холодное с квасом. Мяса крошат, картошки, все с квасом. Квас у нас все время хороший был. Дробины-то много было. Это что остается из-под сусла, когда пиво варят. Мама соберет ее, испечет караваем. А потом из нее квас делают, каждую неделю. Квасник у нас больше двух ведер был. Хлебы Мама пекла через день. День пироги, день хлебы. Семья большая была. Печет три-четыре каравая. На поду. У нас вся семья любили подовый хлеб, в плосках не любили. А пироги - как молочный день, так молочные. С картошкой, нажмут сметаной сверху. А в постный день печет с грибами солеными - губники зовут. А то мучники. Это ячменную муку обдирают на мельнице. Она белая, как пшеничная. Творят их на дрожжах. Постом, так на воде, а то и на молоке пекут. Печка топится, а тут ржаные сочни сучат. Тонкие пресные лепешки из ржаной муки. С тарелку. Разложат их по противням. Эти сочни... И вот это ячневое тесто сверху раскладывают. Крайчики загибают. Вот и пекут. Молочный день, так сметаной намажут люто, чтоб уж они зажарились, были румяные. Вот и едим... Были торканцы. Это как снегу свежего, чистого навалит. Так бегут, накладывают целую крынку, насеют муки гороховой, насыпят и торкают - воду тут не льют, только снег да мука. Посолят и опять торкают. И до того доторкают, что уж уходить будет оно, как с дрожжами. Вот тогда и пекут их во всю сковороду. На масле. Хорошие, мягкие, вкусные... А блины Мама пекла каждый день. Надоедят. Мы с

Галиной на полатах лежим: "Санька, погляди, там чего у печи чудится?" - "Да блины опять пекут". - "Тише! А то сейчас позовут блины-то есть. Молчи!" - "Эй, - Мама кричит, -- марш блины есть, пока теплые. Слезайте!" - "Я говорила, что молчи!" Слезем. Возьму я блин, подсолю. Да маслом льняным помажу. У нас лен-то сеяли только что на масло. На все посты. У нас лен снопами считали, не грудями. Мама скажет "Пятьсот снопов нынче льну". - "Ой, как и много, Пелагея Автономовна". - "Да вот надо столешников выткать. (У нас ведь не обедают без скатерки, за грех считалось.) Да надо и ручников выткать". Лен у нас вытеребят, на гумне постилают его, как он высох, идут двое и кичигами - это как валеk, только долгий - колотят его. Повернут, опять колотят, встряхают. Потом провеют семя. И перед постом на маслoбойню надо ехать. Повезут с полмешка, да и будет масла с полведра, да и более. Масло такое, что и сливочного не надо. И это перед каждым постом. Постом-то молочное не ели. Грибы, огурцы, капуста, квас, брусника... А то Тятя скажет: "Надоело это все. Голован, бегите-ка в лавку к Мише Антонову, возьмите гольца соленого. Да не резал бы, целого бы вам вешал". (У нас в деревне двое торговали - Михаиле Антонов и Димитрий Гребнев.) Принесем гольца. Вымоют его теплой водой. Сейчас самовар. Нарежут его кусками, а он толстущий. Ошпарят. Закроют. Вот садимся. Тятя скажет: "Вот вроде бы маленько и отошло". Бывало говорил; "Это разве у нас пост? Только так - перемена пищи". Мясо у нас свое круглый год. Еще и не приедали. На Ильин день уже колют свежего. У нас все по четыре да по три коровы Тятя держал. Если три коровы, то подтелок пущен. Телушка. Одна корова для себя, Тятя скажет "От пестрой коровы молоко не носите"... А так молоко носили на сыроварню, 45 копеек пуд. Сыроварня была тут же в деревне. Куры свои были, яйца. Свиной Тятя не держал. У нас вся семья свинину не ели. А овец держал. Три матки всякий год были. И два раза в год они ягнились. Баран свой. А лошадь у нас была первая из прихода. Ваганко звали. Как у нас его отобрали, я думала, я по нему с ума сойду. Двор у нас был большой - два хлева на этой стороне, а по эту сторону подвал, подполье. А на середине ясли стояли. У нас навоз увозить, так не надо телегу закидывать, кругом яслей можно объехать. Двор большой, новый. А к зиме скотину надо прибирать. Ведь не будешь ее кормить столько. Трех теленков да ягнят заколют. Семья большая. А то, бывает, и такое дело. Тятя скажет: "Надо корову эту сменить нынче". А уж есть телушка полуторница. Вот и корову заколют. Мясо солят. Вот какую кадку насолят. Холодильников раньше не было. Берется кусок мяса, солью обшаркивается. Я видела, как Мама солит мясо. Солью каждый

кусоч обшаркивает и кладет в кадку. А постом великим его вялили, что осталось. Положат на противни и в печку. Соленое-то. А летом варят его, вяленое. Мясо ели, как репу пареную. А с Рождества Богородицы ребятишки в школу шли. Я семи годов пошла... Тогда с девяти годов ходили, а тут отец протоиерей пришел ко мне: идти и все! Мама говорит "Да семь годов ей". А он: "И хорошо, что семь годов. Пускай идет учиться". Школа у нас была приходская, при церкви. Сначала буквы нам показывали, потом учили читать да считать. Потом закон Божий стали учить, два урока были в неделю закон Божий. Славянский язык, русский язык. Я закон Божий хорошо отвечала, я и читать, и считать... Вот только писать... Учительница Зинаида Владимировна все говорила, у меня не чистописание, а грязномарание. А псаломщик Димитрий Васильевич учил нас петь. Ходила я в школу только полторы зимы. До Рождества вторая зима у меня была. Больше меня Мама не отпустила. Отец протоиерей больно жалел меня: "С таким понятием будем на учительницу Саньку учить". А Мама: "Не в солдаты идти! Нечего тут. Садись кружева плести". И с маленькими водиться надо было. У Мама как два года, так и ребенок. Тогда ведь не канителились, декретов никаких не было. Помню, возили навоз. Мама приехала с поля на пустой телеге, да и говорит "Батька, я уж больше сейчас не поеду. Мне, - говорит, - и некогда". - "Ладно, - говорит, - я и сам свезу". А она: "Девчонки, пейте чай-то в коридоре. Там, - говорит, - пейте. Нежарко и мух нет". Ладно. Мы собираем там стол. А она взяла чашку чайную, да и побежала. "Мама, ты куда?" - "К бабушке Олимпиаде. Надо мне дрожжей". - "Так вот у нас-то..." - "Так у нас худые". Сбегала туда, идет опять, чашку под полкой несет. Смотрим, и бабушка Олимпиада бежит. Идут в избу. А мы в коридоре уж чай пьем. Знаем, сейчас Тятя приедет - последнюю телегу навоза повез. А Мама с бабушкой Олимпиадой уж залезли в печку. Нагрела ее в печи, вылезают оттуда. Вдруг слышим, в избе ребенок заревел. Все... Вот как раньше рожали, а не эдак. До конца работали. А то, помню, сено косили. Мама говорит мне и Галине: "Девчонки, я завтрак понесла". Туда носили - на покос. "Я, - говорит, - скоро вернусь. Я сегодня не буду косить. А вы тут растрясите сено. Которое уж привезли". - "Ладно, - говорим, - растрясем". Растрясли мы с Галиной. А Мама все не идет еще. Потом и катят оба с Тятей. И ребенка тащат. "Вот, нашли паренька". - "Оттого и проканителились". - "Под сосной лежал". - "Взяли, нам понравился". А мы и верим. Иванушко... Так уж мы его и звали - "Иванушко подсосновый". Осенью у нас хлеб собирает староста магазейный. Был выбран он. "Давайте, собирайте хлеб на магазю". Там сколько кого обложат. Вот и везут в магазю хлеб.

В поле стоит большой амбар. Большой, большой амбар. В эту магазеею и свозят хлеб. Весной там не хватает у многих хлеба. Вот и будут делить из магазееи, у кого не хватает. Им и делят. И на семена, да и есть нечего. У нас в деревне, так у многих не хватало. Она в поле, магазеея, там место высокое, вокруг нее лавки сделаны. Вот летом тут гуляния. Тут повадно, тут все и играли. Место высокое, хорошее. Из Кобытова придут, и из Алексеева явятся. "К магазеее пойдемте гулять". А по ночам не гуляли, нет. Как коровы домой, все по домам - марш. К Покрову у нас все сделают, все обмолят, все уберут. Бабы тут кружева плести начинают, а мужики в лес дрова заготавливать. Тут и праздник наш престольный - Параскавеея, двадцать восьмого октября... Мама скажет "Надо постели вымыть". Вытрясем постели, старую солому. Вымоем. Они тканые были... Опять набиваем свежей овсяной соломой, она помягче. И спим. Говорили: перина с первого овина, каждая пушина не меньше аршина. Спали-то все на полу, ну, а кто на полатах, я все на печке. Утром встали, Тятя скажет "Убирайте постели". Несем их на волю. А вечером обратно несем, да такие-то холодные... И ничего, не простужались. А на Параскеву, на праздник, у нас человек сорок гостей. У нас родни-то много. Из Дубников приедут, из Коренева. Гостят до четвертого дня. Мама спросит "Батяка, много ли ныне будем ставить пива?" - "Пять горшков", - скажет. А горшки - по два ведра горшок. У горшка у этого повыше дна дырка провернута, ее тут затыкают деревянным гвоздиком... Заваривают вот так - шесть фунтов муки ржаной, шесть фунтов солода на один горшок. И чашу полотицы - шелуха с овса - на каждый горшок. И заваривают кипятком в кадке, в горшок льют ковшиком, а в горшок кладут крестовины деревянные, а на нее камешок... и жгут соломы, туда, к гвоздику, чтобы не забило течь... Потом печку топят жарко и ставят туда горшки. Часика через два поглядят - кипят ли они? Если повыкипело, доливают кипятком... Вот и стоят в печи до вечера. А вечером стол большой, на стол тащат желоб - широкая доска и желобок. И эти горшки ставят на доску - горшок за горшком. А под один конец подкладывают и начинают вынимать гвоздики - горшок за горшком, и течет оно в кадку, сладкое, хорошее... Стынет это на воле, чтобы хорошо выстудить. И еще нацедят маленький ушат сусла - это нам, детям. Нам пива-то не давали... И разводят приголовок - кладут сусла теплого, хмель, дрожжей, муки - начинает этот приголовок ходить... Хорошо ходит. А утром приносят это остывшее пиво, кладут туда хмель и приголовок пускают. Так оно у дверей и ходит, чтобы не очень тепло было. Выходит, начинают хмель отжимать и цедают в бочку. Налиют в бочку-то, а она стоит и все шевелится, пиво-то ее

шевелит... И уже готово. Гости приезжают первый день к обеду. Сначала чай. Закуски подают. Первую очередь подают кулебяки. Это с рыбой называется кулебяка. Тятя поднесет им по рюмке. Рюмками пили-то, не стаканами. Пива ендова. Попьют чай, потом обед. Студень с квасом - первое блюдо. Второе блюдо - щи мясные с мясом. Третье блюдо - лапша с мясом. Четвертое блюдо - сальник. Это из овсяной крупы каша крутая, и она когда с маслом со сливочным, когда с салом. Тут пива ендову на стол - были такие большие, медные - и вина Тятя несет бутылку. Наливает пива по стакану, по рюмке вина. Садятся, пьют-выпивают, сначала не больно отважно... А мы с сестрой на полати забираемся и лежим поглядываем. Они уж начинают тароваться, отважнее уж гости... Тятиня рюмка коричневая, он нальет ее, она у него и стоит "Ну, давайте выпивайте, ребята, выпивайте!" - "А ты?" А он: "Я на чужом месте не выпиваю". А сам пойдет на свое, да и поставит ее. Он с этой рюмкой всех гостей угостит. Бутылки три выпьют в первый вечер. "Вы пиво-то, пиво-то выпивайте". Пиво он хорошее варил - настоящий был пивовар... И так сидят часов до девяти. У нас праздник - пироги со стола не убираются, чтобы все на столе тарелка была с пирогами. До этих гостей еще нищие придут - человек семь-восемь, их накормят обедом А потом песни запевают - "Зачем ты, безумная, губишь", "Уродилась я, как в поле былинка", "Сама я розоньку садила", "Вьется сокол над осокой" - много они пели песен. А вот песню "Пускай могила меня накажет" - эту мы с Галиной подпевали... Вот еще помню: "Скажи, краса моя, Анюта, скажи, в кого ты рождена? Вся краса моя, мамаша, двенадцать лет, как померла". "Ланцова" пели. Вот я любила, как "Ланцова" пели. Потом эту песню воспретили петь. Как он из тюрьмы убежал, как в тюрьме сидел. Потом еще такую пели: "Держу саблю на весу, царю голову снесу". Как брат спас брата своего... Еще была песня - "Сидели две голубки, одна против другой...". Эту Мама у нас любила. Она у нас песельница. Голосу - с воз. Она еще когда в девках была, у барина жила, петь больно любила. Их там, молодых-то, четыре было. Бывало, обрядятся, выйдут в сад, на скамеечке сядут. Сам барин подойдет "Ну, запевайте". Они и поют. Тут и сама барыня выйдет... Тогда ведь жизнь мирная была. Я ведь все помню. Я и хорошую жизнь помню, как при царе жили. Как сахар был восемь копеек фунт, как хлеб был сорок копеек пуд... Да... А гости у нас ночевали - все ночуют. Тяти двоюродные братьовья, шесть человек, все родня. На полу им постеляют, на полатах - у нас печь большая, еще и нищих пустят. Изба у нас большая была. На второй день, они еще спят, Мама обрядится, из печки пироги достает горячие, самовар... Садятся завтракать, опохмеляться. Но таких пьяных, чтоб

валялись, таких у нас не было. Тятя купит полтора ведра вина, оно с пивом и хватит на весь праздник. До упаду-то не пьют. На второй день сходят, пройдут вдоль деревни - что там делается - деревня у нас большая, сто домов. Потом вернутся, опять за стол. А на четвертый день домой отправляются. Чай попьют, Мама даст по пирогу всем - гостинцы... и отправляются. А ведь у нас в деревне поначалу-то и самоваров не было. Чаю не пили. Я еще помню, пили осолодку. Сладкие такие коренья. Накладут целый чугунок и ставят в печку. Оно накипит, потом так на шестке и стоит. Пили осолодку и горячую, и холодную. А потом уже самовары пошли, чай. Сначала всего четыре самовара в деревне было - только у богатых. Тогда и часов не было. Помню, девке одной, богачи были страшные, часы купили. Часы-то она носит, а как смотреть, не понимает. А к ней парни подходят нарочно: "Барышня, который час?" А она поглядит на часы: "Скоро коровы придут". А зимой у нас кружева все плели - и парни до пятнадцати лет, и бабы, и ребятишки. У нас дома и игрушек никаких не было. Была только одна кукла - Агаша Ломоносая. Мне было года четыре, пришел к нам дядя Алексей, Тятиной сестры муж. Он плотник был хороший. Взял полено: "Я вам, - говорит, - сейчас сделаю куклу". И вырезал просто хорошо. Так - наперехват - как платье на ней вырезал. Голова... А нос-то деревянный у нее быстро отломился. Вот мы ее и называли - Агаша Ломоносая. У нас в деревне портниха такая была - Агаша с проваленным носом... В семь лет меня уже кружева плести учили. Да ведь лень, неохота. Тятя говорит "Пять мысков - вот столько - выплетишь, так копейка тебе на семанки". Вот и стараешься. Сначала тихо плетешь-то. Выплетишь десяток, это десяток аршин, да никуда он негодный. Только люльку привязывать, чтобы качать... А потом уж плетешь хорошо. Нитки готовые, не покупаем ведь. Мама ездит к Бахвалову, привезет две пачки ниток. А платит он только за работу. Сорок копеек за десяток. Это за узкие, а пошире - эти дороже - рубль десяток. Рубль двадцать - первый сорт. А эти сорок копеек. А узоры разные • "колодчик", "речка"... Бахвалов с нитками и бумажки выдает, таких вот больше плетите. Там нарисовано... Он в Филине жил, в деревне, три версты от нас. Мы на него десять годов плели. Мама поедет через две недели - короб кружев повезет. Восемь десятков. А оттуда везет короб ситцу. А булавки в кружевах, как иголки такие. А головочки на них красивые - янтарные, голубые там - всякие. А то еще уточки. Булавка побольше, а на ней аккурат утка сделана - белая, крылышки зеленые или голубые... Эта булавка больше этих. А у меня не было такой уточки-то. А было мне годов уж десять... А через дом у меня товарка жила. А у нее не одна

утка в кружевах-то. Я и взяла потихоньку ее, да и домой. Мне уж не забыть. Мне уж восемьдесят четвертый год - не забыть мне эту утку. Домой пришла, так мне не терпится. Беру кружева, сажусь плести. А было воскресенье. А у нас в воскресенье кружева не плели. Мама: "Ты что это вздумала кружева плести?" - "Да мне захотелось". Она подошла, а у меня - утка. "Это где же ты взяла?" - "Да вот шла от Пановых-то, на дороге нашла". Это в снегу-то... Она, ничего не говоря, пошла, взяла ветвину березовую, кружева оставляет, загибает мне... И давай лупить. "Иди, где взяла утку". Да это-то ладно, что иди. "Пойди да скажи: 'Я у вас утку украла'". Вот это-то хуже битья. И так пока я шла к Панковым, все сзади шла да меня хлестала. Тетка Анна говорит "Ты что же это, кума, эдак?" - "А вот больше не возьмет. Узнает, как воровать"... У Тяти много книг было - божественные, "Земная путь Спасителя", "Потерянный и возвращенный рай". Вот такой короб - все книги. Зимой мужики чуть не каждый день идут "Дяденька Николай, почитаешь?" - "Да почитаю, приходите". А у нас изба-то большая была, не стулья тогда - лавки. На пол все сядут, ноги протянут кругом. Целая изба. Тятя читает... Его у нас все любили. И старше-то его которые, все зовут "дяденька Николай". Вот пойдет он зимой по воду. У нас для скотины колодец под окошком, а на чай да на похлебку брали через дорогу. А девки большие у нас под окошком, всё под окошком у нас притон. Вот Тятя пойдет по воду, а они его и схватят - валить. "Давайте его в снегу накатаем!" А он - вон какой дядя был - свалишь его. Он как начнет их откидывать, так я те дам, - всех перевалает. А Мама у нас никогда и не ревновала. А с Покрова у нас уж беседы, посидинки идут. Ходят поочередно в те дома, где девки есть. Где прошлый год кончили, теперь с тебя начнут, со следующего дома. Каждый вечер беседа. Девки кружева плетут, а парни на беседе кружева не плетут. Если только стельки стегают для валенок. На полу лежат и стельку стегают. А девки на лавках сидят и кружева плетут. Ой, что ты, у нас люто плели кружева. Девки тут свои, а парни приходят и из чужих деревень. Приходят: "Девки, закрывайте кружева! А то обрежем коклюшки!" Ну, разве дадим обрезать коклюшки. Одну "заеньку" сыграют - и снова садятся плести. Тут "кадрель" зовется, а у нас - "заенька". А которую девку не берут, не выбирают на "заеньку", так говорят весь вечер светила сидела. Ведь раньше девки не плясали, раньше было позор девкам плясать. Парни плясали, девки - нет. Только сыграют "кадрель" и на места. И так идут беседы от Покрова до самого Поста Великого. А в заговенье на Филиппов пост уж парни невест приглядывали, кому жениться надо, девок. С Николы приглядывали. На лошадях парни приедут. А после Святков

свадьбы. Как Пасха поздняя, так говорят: "Межговенье большое, девок много замуж выйдет". Последнее венчание в воскресенье на масленицу. После обедни сразу. А уж тут не будут венчать. Дома Тятя скажет "Мать, нынче заговенье. Не забудь - вон Марфу Шантариху, дедушку Алексия..." - "Не забуду". Наварят щей мясных, мяса. Вечером понесем тетке Марфе, дедушке Алексию и бабушке Катерине. Щей мясных снесем. "Да, милая, нам принесли уже". - "Я не знаю, послала Мама. Возьмите, пожалуйста"... А масленица у нас начинается со среды. Чаю попьем, Тятя скажет "Ну, я пойду к дяде. (У него дядя в нашей деревне.) Схожу к дяде, чем там пахнет, схожу узнаю". Ушел. Девять часов - нет. "Ну, - мама говорит, - батяка застрял. Надо пироги творить". Начинает пироги творить. Тятя является уж в первом часу. "Мать, пирогов твори". - "Да растворила уж". А утром только обрядился, уж и идут. Дядя Алексей - тетка Анна не ходила, брат с сестрицей Марьей идут к нам, сын и сноха. Садятся за стол. "А что, ядри голова, - Тятя скажет, - неповадно, мало. Сходите-ка за Евгением". Дядя Евгений. "Ну, позови Федора Ермилыча". Их позовем. Наберется уж стол как положено. Тут все до самого понедельника, все по очереди друг к дружке и ходят. Мы заберемся с Галинкой на полати. Сидят, Тятя нальет им по стакану пива, по рюмке - не пили ведь вино стаканами. Мы не видавали Тятю пьяного. А накануне пятницы - субботу, воскресенье - три дня ездят кататься. Тятя скажет "Ну, девки, обихаживайте сани". Спустит сани. Мы их вымоем, маслом вышаркаем гарным, чтобы светлые были. "Ну, а сбрую?" И сбрую вычистим. Пуговицы все. В пятницу скажет "Ну, поезжайте кататься". В пятницу в Филино, в субботу в Василево, а в воскресенье в Карповское. Поочередно ездили кататься. А в воскресенье масленицу жгли. У нас посреди деревни пруд - некопанный, озеро. В середку пруда таскают, всего натаскают - лому всякого, корзины старые, доски... вот это накладывают. А в середине жердь в лед воткнута, замерзла уже... Доверху накладывают. Зажгут все, как и пожар. Ну, в середке пруда, так никакой страсти нет. Это масленицу жгут. Кричат "Молоко горит! Молоко горит! Молоко горит! Девчонки, молоко горит! До пасхи не будет молока! Теперь молоко будет плохое". А в понедельник (чистый) на ефимоны. Ой, народу... У нас церковь-то собор большой. И целый собор на ефимоны. Все мужчины. С четырех часов. Ефимоны все четыре дня. А в среду да в пятницу - обедни, их часы у нас называли. "К часам-то пойдете?" - "Пойдем". - "Пойдемте к часам". Первая неделя поста - школьники исповедуются. Школьники со всех школ - с Василева, с Алексеева церковная наша школа. На второй неделе исповедуются молодухи. Годов тридцати. На третьей неделе - молодежь - девки, ребята. В

пятницу исповедь делали вечером Бывает, в девять часов вечера от исповеди идут домой. Все исповедуются, очередь. Всё по одному человеку исповедуют, не было общей-то исповеди. А отец Протоиерей детушек, школьников, этих по пять человек исповедовал. Придут, бывало: "Ну, что батюшка спрашивал?" Батюшка спрашивал: репку не воровали ли, горох чужой не ходили ли... А я-то - ходила... Ох, службу я любила. Я с семи годов ни одной службы в церкви не пропускала. Тятя с вечера спросит "Кто пойдет в церковь к утрене?" - "Я пойду". - "Голован-то я знаю, что пойдет. Тебя не спрашиваю". Он меня утром до церковного поля всегда провожал. У нас волков было много - стаями ходили. Так я весь пост среду и пятницу выхожу. У нас и вся деревня очень верующие были. В церковь все ходили, и мужики... В праздники, в воскресенье, как река течет. И мужики, и бабы. Справа это был - мужской придел. Александра Невского. Тут все одни мужики стоят, целый придел и возле. А слева - бабий придел. И все целая церковь народу. А перед Пасхой у нас всю избу перемывают. На вербное воскресенье. Потолок, стены, все... Сначала песком натрут, потом водой да мылом. Изба желтая-желтая. А воздух какой! Тут маленькую железную печку вытаскивают, рамы выставляют. И тут Тятя развешивает по стенам картинки. У нас картинок много. Тятя любил картинки покупать. Все больше богородичные, с икон. Помню, Козельская Божия Матерь... Млекопитательница... Скоропослушница... Запечная - он все покупал. Варвары великомученицы тут житие, Георгия Победоносца... Это большие картины у нас были. Исцелителя Пантелеймона... У нас, бывало, придет Евгения-слепушка, принесет картинки. "Ну, дядя Николай, будешь покупать?" - "Буду, буду, погоди, вот у меня еще такой нет. Надо вот эту купить". Евгения эта, старая девица она была. Слепая, ей мачеха глаза выжгла табаком нюхательным. Так она и жила, ее кормили. И по монастырям она ходила, и в Заоникову пустынь, и в Прилуки... Павлов монастырь, Обноры - везде она была. И на клиросе пела. Вот она картинки и носила. Тятя, бывало, всю избу на Пасху картинками завесит. И висят они до Троицы. А от Рождества висят до Крещения. У нас и иконы хорошие были. Семистрельная Божия Матерь, Георгий Победоносец, Спаситель, Смоленская... А потом медные, старые. Два креста медные. У нас кивота была сделана. В деревне у всех кивоты были. У нас боженка звали. И в избе, где иконы, у нас табак не курили. Тятя и сам курил, но в избе никому не даст. Укажет на боженку: "У меня вот, видите?" На Страстной у нас мужики говели. Но до четверга еще все работали. У нас если Тятя в четверг исповедуется, так мы все в среду выпаримся. В печке. У нас все в печке парились.

Пойдет он за соломой в гуменник - в печку овсяную солому подстилают, как парятся. Вот пойдет он за соломой: "Ой, девчонки, как я сейчас чего видел!" - "Чего, тятя?" - "А вот видел, сидит кукушка на гуменнике, и весь нос в молоке. Так и текет. Завтра уж на сарай прилетит". А сарай у нас ближе гуменника. А мы верим, я побегу к Панковым. "Девки, у нас кукушка уж на сарае". - "И мы поглядим, может, у нас тоже, поглядим". - "Вот и сходите". В великий четверг и в субботу приобщаются только мужики. Мужики говели. А на ночь уже все пойдем к заутрене. Мама обряжается, готовит всего - и мясо тут, и студень, - придет к обедне. А мы с Тятей идем к заутрене. Отстоим заутреню, обедню. Придем, еще темно. Гостинцев нам принесет Тятя. Пряников, конфет. А мне грушевого квасу. Я сроду нечередная. Мне пряников да конфет не надо. Возьмет с собой ручонку такую деревянную с крышечкой: "Надо, - скажет, - Головану купить грушевого квасу". Вот приходим из церкви и разговляемся. Сначала освященное яичко. Три яичка на всех разрежут. Всем подадут разговеться яичком. И тут уж все разговляются. Творогу-то кадка за пост накопилась, творогу много - четыре коровы. В церковь три дня ходят в Пасху. И все крестный ход во все три дня. На третий день у нас крестный ход кругом ограды - у нас Иверская Божия Матерь. А потом духовенство по всему приходу с иконами ходили, Христа славили. И вот в который день к нам в деревню с иконами придут, тут и гости приедут, вся родня. -Ну, и нищие тут, конечно, Тятя ведь всех пускал. Сестры мне говорят. "Господи, и в праздник-то такой докою нет. Гостей столько, а тут еще и нищие. Хоть бы ты, Санька, сказала тятю". А я и бухнула отцу "Вот и в Пасху-то все нищие. Хоть бы в праздник дали отдохнуть". А Тятя взглянул на меня, да и потихоньку так говорит "Жидка у меня подпора-то... Ой, смотри, сама не напросьись ночевать". А у нас в деревне мало кто пускали нищих ночевать. Так, кусок подадут, а ночевать не пустят. А Тятя всех пускал. У нас и цыгане ночевали. И не воровали ничего никогда. Было раз, я шла, смотрю, а нищий забрел в наш гуменник и овес щекотит себе в мешок. Я пошла Тятю и сказала. А он: "Ну и чего там. Много ли он ошелушит? Поди два снопа, не больше. У нас не убудет. Не обедняем". Было, татары по миру ездили на лошадях, бедные. Тоже у нас ночевали. Был у нас дедушка Митрий нищий. Об ем даже ругались. Вот он к нам пришел. Выпарился в печке, Мама ему собрала - он болел. Вот и лежи, дедушка. А Алексей Иванович, покойник, Серов, он вот как Тятя, все с нищими. Наши-то уехали, я не знаю, куда они уехали, а Алексей Иванович пришел да и увел дедушку Митрия к себе. Ой, Тятя пришел - расстроился. Что же это? А потом помирились они: "Полно,

вместе будем хоронить". Вместе с Алексеем Ивановичем и хоронили, верно, что вместе. Ну, ведь не такие похороны, как теперь, что надо вина ящики... У нас как ночуют, все в печке парятся. Старухи приходят, усталые: "Как я и устала". - "Печку сберу, - Мама скажет. - Полезай в печку, попарься". Полежут, попарятся, и хорошо. Утром встанет "Я и отдохнула, и все у меня прошло даже". А милостыньку нищие продавали. Собирали куски-то. Насбирает он в корзину. Бывало, Фле-гон... Он к нам придет в калошах, рубашка ластиковая и часы: "Дяденька Николай!" - "О, Флегушка пришел!" - "Пришел, пришел. Возьмешь куски?" - "Да возьму. Ваган-ко уж ждет". Это лошадь у нас. "Тридцать копеек корзина". Ну, копейка фунт был. Милостынька... Выкладывает все, садится чай пить. "Мне покрепче". Чаек любил. А вина не пил, нет. А чаек уж пьет он... А то еще Паша-король был. Это - блаженный. Этого все уважали. Он такой был - ради Бога. Он меня любил, и я его без ума любила. Идет: "Сашенько-о!" А я ползаю. Я с повита упала и долго потом ходить не могла, все ползла. Скажет "Милая моя. Все ползаешь? Поди-ка и жопенку занозила?" Этот полезет в печку париться, да и меня парит. Выпарит, эдакую связку кренделей принесет, на меня наденет. Как бусы. Много у нас ночевали, ходили. Потом какой-то Алексаша ходил. Этот еще много предсказывал. Тяте всю жизнь сказал. До капли... Идет "Ну, Миколушка, - он так Тятю звал, - я пришел". - "Вот и хорошо, что пришел. Раздевайся". У нас Тятя вообще бедных жалел. У нас рядом сироты жили - три брата да сестра. Придут к нам. А тут же дядя родной богатый жил. К нему никогда не ходили, к нам придут "Дядя Миколай, дай мерочку овса". Тятя скажет "А чего ты с мерой-то будешь делать?" - "Да хоть полоску посеять". - "Нечего тут с мерой делать. Голован, пойди насыпь им из большого засека, это семенной-то". Насыплем им мешок. А осенью придет который-нибудь помочь нам молотить рожь. А то еще дедушка Алексей с бабушкой Катериной у нас на задах жили. Это пастух был. Он женился в нашей деревне. И брат у бабушки богатый был - Мохов. У нас только у четверых столько земли было. Потому что одиночки. Землю-то делили на каждого брата. А у нас - одиночки. И вот дедушка Алексей взял евонную сестру Катерину. А ведь раньше болезнь катарак не признавали. А у нее катарак, и на оба глаза. Она чуть-чуть вот только солнышко видела. Ослепла. У нее двое деток - обедняли. Он стал пасти. Земли нет, а надо ему поставить келью, домик. А раньше земель-то как дорожили! Чтобы лишнюю охалку сена-то не потерять... Гребнев пустил его пожить. Эту келью поставили ему. Дедушка Иван Гребнев. А потом: "Нет. Вот ходит тропа... И на тропе никакая трава не растет. Да и келья. Нет.

Убирай келью!" Тятя приходит со сходу: "Мать, дедушку Алексея дедушка Иван прогоняет. Куда его? Не пустить ли к нам?" - "А вот у нас огород-то... Вот тут отгородим. Вот и ходят пускай... Да и грядки пускай тут вскопает". Тятя пошел: "Давай к нам в огород". - "Ой!" - в ноги повалился. - "Не надо, не надо". Тут поставили евонную келью, отгородили ему. Канаву Тятя прокопал, чтоб вода стекала. У нас они и жили до конца. И он все пас, он всю жизнь пас. Как ослепла бабушка Катерина, он все пас. А сыновья по работникам. Степанушке у нас жил три года, пока мы с Галинкой маленькие были. Он непохоже, что у нас и работник был. Он начнет командовать. Нам достанется, еще и набьет. Ему Тятя так и наказывал, как куда пойдет "Ты, Степанушко, им не давай воли". Он и командует. Он шестнадцати годов к нам пришел и жил до самого призыва. А уходить - так ревел. Последнюю зиму ревел. Тятя говорит "Ну, Степанушко, теперь у нас уж девки подросли, справимся". Сидит да ревет. Тятя говорит "Ну, что сделать, уж коль так? Оставайся, живи уж. Что с тобой сделаешь?" - "А я, - говорит, - Ваганко-то, лошадь, люблю больно". - "Ну и живи". Еще зиму и жил. А Парменушко, другой брат, гармонист был хороший. Гармонь он на кружевах выплел. Купил себе, кружева плел... Да, Парменушко и Степанушко... Обоих их убили в первую войну. Так уж в войну все это и началось. Помню, пришел к нам Алексей Гусев, он еще нам по родне. А тут газета, в ней написано - явление Божией матери на войне. Николая Николаевича портрет. Тятя читает. "Видно, - говорит, - есть еще и благоразумные воины". А Гусев выхватил газету у Тяти из рук, да и изорвал всю. "Это все вранье!" - кричит. Тятя схватил полено да и за ним. "Тятя, Тятя, ты что же?" - "А почто он газету схватил да изорвал?" Ой, ужас... А уж в семнадцатом году началось. Назаписывались в партию, кричат "Все поровняем!" Из себя воображали невесть чего:

Бога нет, царя не надо,

Мы на кочке проживем!

Напьются пьяные и поют. И тут приехали из города трое - два мужчины и наша же учительница Апполинария Яковлевна. Приказ: выносить икону из школы, безо всяких яких! Большая была икона Александра Невского. Но уж ее выносили с молебном,

после обедни. А учительнице Апполинарии не нравилось, что с молебном. Молебен отслужили в церкви и пошли за иконой. Еще отец Протоиерей был жив - он ста трех годов умер... Ой, как все ревели! Кричали! Стыдили эту Апполинарию: "Ты что делаешь-то?" А она одно: "Приказ. Везде вытащим! Не будет икон нигде!" Ох, как она резала! Ужас! Так это все было дивно. Женщина и так... Она у нас не учила, она в Василеве учила... Что и делала! А тут кричат "Не пустим теперь детей в школу!" Так все плакали, как икону выносили, все плакали. А больше всех кричали три Николая - Тятя, Николай Панков и Юров Николай. А ночью их всех и увезли. А тогда всех расстреливали, вот и думали, что их теперь расстреляют. А через неделю их отпустили, только каждый день на допрос гоняли. И приходит к нам дедушка Иван и говорит "Колюшка, поедем". - "Куда?" - "В Мытниково". - "Почто?" - "Сегодня продажа будет. Знаешь, какая мебель будет продаваться - красного дерева. Поедем!" - "Нет, - Тятя говорит, - не поеду. Не надо мне. Сегодня поедете покупать, а завтра у вас все отберут". - "Что ты?! Что ты?! Они там господа, а мы-то что? Мы рабочие люди. Да разве это мыслимо?" А полгода не прошло, у него все отобрали. А то: "Они бары, нечего их жалеть". А тут приехали латыши хлеб отбирать. Целый отряд. Рукава-то засученные, руки-то голые. Ужас! Такая страсть была Наши-то перепугались. "Турки, - кричат, - турки приехали! Будут всех стрелять!" Все побежали... Чего мы понимали тогда? У них и морды-то не эдакие совсем. И расстреляли они учительницу, священника дочку. Она из Грамотина. У них три дочки было, сын один - Петро Михайлович, Мария Михайловна, Екатерина Михайловна и вот эта - Александра Михайловна. Она - самая младшая. Отец у них уже помер, брат там служил - отец Петр. Фамилия им - Студицкие... И он от священства тут отказался. Там в Грамотине два священника служили, Архангельский и Студицкий. А Архангельский, отец Иван, он не отказался. Ну, уж он старый священник был... А Александра Михайловна, учительница-то, только всего и сказала 'Надо молебен отслужить. Бог нам и поможет. Может, уедут латыши'. Только и сказала. И тут же они ее и забрали. Увезли с самого разу. Потом на второй день отпустили. Только она домой дошла, опять являются. Опять увезли. Она говорит "Дайте мне только переодеться". Только и сказала. Надевает белое платье. Пошла. "Ну, простите, - говорит, - все". Поклонилась всем. И повел ее латыш. Как сейчас его вижу - хая широкая, долгоносый. Брал ее замуж. "Все, - говорит, - простим. Поди за меня замуж". - "Нет, - говорит, - стреляйте... Только не в лицо стреляйте". Много их тогда, двенадцать человек расстреляли. В один день. Это только в Колодине. И всех в одну

могилу. И увезли латыши у нас весь хлеб до капли. Лошадь Ваганко у нас взяли. Корову белую взяли. И быка. Быка-то Тятя больно жалко было, кудреватый весь, не этой породы. Тятя пошел покупать лошадь - без лошади нельзя. Хорошую опять купил, не любил он плохих лошадей. В деревне Хреново. Там купил. Говорят "Дяденька Николай привел лошадь хорошую. Четырех годов". И эту увели. Пришли, все опять описали до капли. Ну, за эту деньги выдали. Ваганко бесплатно взяли, а за эту деньги выдали. И в тот год на Троицу я в монастырь ушла, я на Троицу там осталась. А на четвертый день Троицы приехали к нашим да нашли пять мешков хлеба убранного. За это уж все отобрали. Квашенка растворена, а замесить нечего. Не оставили. Тятя тут же поехал в Вятку за хлебом. Ведь семья. Два мешка привез из Вятки. Туда ездили за хлебом, в Вятке было хлеба много. А последний раз я Тятю видела Великим Постом. Они с Мамой ко мне в монастырь приезжали. А он как приедет, первым делом к Манечке юривой идет. А она у нас всем все предсказывала- И Тятю любила. И вот приехали они с Мамой. Манечка его на лавку усадила; "Хороший, дяденька Николай, ты хороший". Он: "Я опять к вам скоро приеду, все буду ездить, пока живу". - "Нет, не приедешь, - говорит, - больше". Маме говорит "А ты его спеленай". Тятя говорит "Я вот только посеюсь и опять приеду". - "Нет, - говорит, - не приедешь. Больше ты не приедешь к нам"... И получилась у него скоротечная чахотка, в две недели свернула его. И тут прихожу я в церковь - она плачет, подходит ко мне. Я говорю: "Что ты, Манечка, плачешь?" - "Как же мне не плакать, у меня Тятя помер". Я говорю: "Ну, так уж и время". - "Да нет, - говорит, - не время. Ему бы еще надо жить". И заплакала. А я: "Да уж не расстраивайся". - "Как же не расстраиваться-то. Ведь он еще молод. Семья..." (А у Мамаы четверо осталось.) А потом я через два дня прихожу в церковь, аккуратно его в этот день хоронили, Манечка подает мне просворку. "Запиши в помянник, сегодня похоронили". И опять заревела. Это уж я потом все поняла. Мне и письмо пришло, да мне матушка Игуменья не отдали. "Не надо, - говорит, - ей сказывать это". Потом еще письмо пришло, и это не подали. Третье письмо уж мне подали. А он ведь меня ждал, послал за мною. И перед самой-то смертью я ему привиделась. Тут пришла к нему Агния, из нашего монастыря монашина, он ее увидел: "Ой, милая моя, ты и пришла". - "Тятя, - говорят, - ты чего?" - "Да вы разве не видите? Санька пришла". А я ему послала просворок. "Матушка ты моя, как я тебя жду-то... И просворочку мне принесла". А сестра Лидушка, ей два года было, подошла к нему, да и тянет просвору: "Это крестная мне послала". - "Нет, - он говорит, - это мне". Вот и все, и больше не сказал ни слова. Как

Тятю схоронили, так у Мамаи еще корова была, лошадь... Потом лошадь взяли. У Тяти лес был, роща. Большая она была. Недалеко от деревни. Бывало, дрова пойдем пилить, Тятя скажет "Тут не валите! Повалится на дерево, так сделает царапину. Этот лес у меня на пятистенки". У нас двор был новый, а дом-то старый, вот он и хотел новый пятистенок ставить. Вот и поставил... УЖ его в живых не было, поехали рубить нашу рощу. А Костя Евгеньев: "Погодите! Стойте! Стойте!" Вперед поехал. Подъезжает к нашему дому, остановил лошадей всех. Слезает, под окошко топором стучает "Тетка Пелагея!" Она говорит "Чего, батюшка?" - "Ведь вашу рощу поехали рубить". Она говорит "Нашей рощи теперь нет. Все ваше. Поезжайте, с Богом". А потом у наших корову забрали, да и Маму увезли. Ну, тут вся деревня стала хлопотать. Четверо деток осталось. Галина, старшая, шестнадцати лет. Тут корову отдали, да и Маму отпустили. Две недели всего она просидела. Только из своего дома выгнали. В сторожку четыре семьи поставили жить. Сторожка-то длинная. Еще и издевались: "Тетка Пелагея, мы тебя все-таки уважаем Вот тебя к окошку. Жить-то". - "Мне, - говорит, - везде хорошо. Слава Богу. Спасибо". А я дома не бывала целых пять годов. Все из монастыря не отпускали. А тут приехала, пошла поглядеть на место наше. Двор стоит. Дом увезли, уж не знаю куда. А двор у нас новый был - окошки большие прорубили. Тут колхоз коров наставил. Восемь коров тут стояло. И ничего нашего нет. Только смотрю, кукла наша деревянная - дядя Алексей сделал - Агаша Ломоноса на земле валяется. Я подняла ее, да и говорю: "Тебя-то, милая, никто не взял. Никому ты не понадобилась. Потому что ломоноса". И вспомнилось мне, как, бывало, собирается Тятя зимой в лес по дрова. Отрежет большой кусок хлеба, посолит. Завернет в бумагу, положит за пазуху. "Это, - скажет, - я лисичке от вас передам. А она вам своего хлебца пришлет". Вот приедет из лесу домой, мы к нему: "Тятя, Тятя, привез?" - "Привез, привез. Лисичка вам хлебца послала. Больно уж хорош у нее хлебец". И делит нам кусок на всех. Мы едим: "Ой, какой у лисички хлеб хороший. Тебе, Мама, так не испечь". - "Ну, - Мама скажет, - у лисички и печка-то не эдакая..."

декабрь, 1985 г.